

Борис Могилевский
Вадим Прокофьев

Узник "Косого капонира"







Борис Могилевский
Вадим Прокофьев



Издательство
«Советская Россия»
Москва
1974

ЗКП(092)
М74

58280

М $\frac{70803-286}{М-105(03)74}$181—74





О КНИГЕ

Повесть «Узник «Косого капонира» посвящается Борису Жадановскому — руководителю восстания Киевского гарнизона в 1905 году.

Владимир Ильич Ленин писал: «Вооруженное восстание в этом последнем городе делает, видимо, еще шаг вперед, шаг к слиянию революционной армии с революционным пролетариатом и студенчеством»[1].

Образ подпоручика Жадановского в чем-то перекликается с Оводом, Ярославом Домбровским, с Павкой Корчагиным. Разные эпохи, иная обстановка, но та же цельность характера, революционная самоотверженность, высокие и чистые помыслы.

Минули годы и годы, но память народная вечна — в Киеве улица, по которой вел восставших саперов Борис Жадановский, названа его именем. В Ялте на набережной возвышается гранитная стела, на которой высечены имена борцов, отдавших жизнь за установление власти Советов, — среди них имя Бориса Жадановского.

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 12, стр. 123.

ГЛАВА I

Ноябрьское утро никак не может проснуться. Серенькое, сочащееся мелким холодным дождиком, оно на весь день оставит чувство уныния, сонливость и беспричинное раздражение.

Инженер-капитан Петр Андреевич Жадановский злится уже с утра. Денщик плохо вычистил сапоги и не направил бритву — капитан порезался, подбривая бороду. А ведь ему сегодня надлежит явиться к харьковскому гарнизонному начальству...

Черт знает что! Жадановский подходит к зеркалу — так и есть, снова на порезе выступила кровь. Придется заклеить пластырем.

Жадановский службист, хотя больших чинов и не выслужил, а борода уже с проседью. В инженерных войсках чины сами в руки не даются. Уйти бы в отставку подполковником, хоть пенсия мало-мальски приличная будет. В последние годы он все чаще и чаще думает о пенсии.

Но до пенсии еще далеко. Да и время сейчас такое, что в любой момент можно из армии вылететь. И уж, конечно, без пенсии. Вылетел же его сослуживец и друг Андрей Пятинский. Отказался идти усмирять бунтовщиков. Хорошо, что под суд не отдали, наверное побоялись...

В этом 1905-м, и особенно после царского манифеста 17 октября, без судов расправляются. Только и слышно — погром в Одессе, избиение гимназистов в Курске, на Кавказе не утихает межплеменная резня. В Москве убили ветеринара — 200 тысяч участвовало в похоронах!

В Харькове тоже неспокойно. Заводы бастуют. Рабочие раздобыли где-то оружие и в открытую формируют свои дружины. Того и гляди на улицах пальба начнется.

Сегодня гарнизонное начальство, видимо, будет допытываться, куда исчезли винтовки со склада инженерного имущества? А он и сам не знает, куда они подевались. И винтовок-то было всего пять штук, старых берданок. На склад они попали — неизвестно когда

и зачем. Никому не нужные, лежали себе и лежали. И вдруг пропали. Об этом доложил унтер, кладовщик. Пришлось писать рапорт. И напрасно. С рапортами никогда не следует торопиться. Когда уже отослал по команде, просмотрел инвентарную ведомость склада — винтовки в ней не значились. А теперь сыр-бор разгорится. И не дай бог, обнаружат эти берданы при обыске у каких-нибудь мастеровых!.. Вот тогда от пенсии останутся одни мечты.

Ольга Николаевна, жена Жадановского, сразу почувствовала, что супруг не в духе. С ним это случалось редко. Хотя он и не отличался мягкостью характера, был строг, но справедлив.

За последние месяцы муж издергался. Ведь интеллигентный человек, а никак не может понять, к чему все эти забастовки, стачки. Почему их знакомые, почтенные адвокаты, инженеры, врачи, так возбуждены. Вслух и не стесняясь костят батюшку царя и радостно приветствовали манифест 17 октября. Даже красные банты по этому поводу надели... Ненадолго, правда. Как начались погромы, быстренько сняли.

А вот она понимает. И сочувствует. Недаром в последние годы именно она настояла на том, чтобы из семейного обихода были изгнаны такие махрово-реакционные издания, как комаровский «Свет», «Новое время». Теперь она зачитывается «Русским богатством», «Образованием», «Русскими ведомостями». И дети от нее не отстают. А уж если совсем откровенно, то это она старается не отстать от детей.

Они выросли как-то незаметно. Боренька офицер, пошел по стопам отца, подпоручик-сапер. Младшего — Мишку тоже отдадут учиться в кадетский корпус, ну, а девицы — эти вертопрахи, увы, бесприданницы. Значит, им самим придется на хлеб зарабатывать, вот и тянутся к учебе, жадны до всего нового.

Петр Андреевич живет по заветам отцов и дедов своих. Религиозен и ненавидит дух критики. И это в такое-то время, когда критикуют все и вся. Критика стала признаком хорошего тона. Дети не в отца. Они уже начинают ниспровергать авторитеты. И отцовский тоже. И она вместе с ними. Петр Андреевич все это болезненно переживает, но пока про себя. Главное же, он очень боится за Бориса. Младшие — они под боком, под присмотром, а Борис в Киеве...

Она тоже тревожится. Такое время настало, того и гляди рабочие восстанут и... Боря в стороне не останется. Он тоже, как и Андрей Александрович Пятинский, откажется усмирять бунтовщиков.

Ей запомнился разговор Бориса с отцом, когда летом этого года Боря приехал домой после окончания инженерного училища.

— Я никогда не буду солдафоном,— горячился Борис.— Я буду для своих подчиненных просто товарищем, а командиром лишь в те минуты, когда придется применять на деле свои знания. Я хочу видеть в солдатах таких же людей, как и я сам. Буду говорить с ними

на «вы», никогда не крикну или, упаси боже, ругнусь... В саперных войсках это тем легче, что там и офицеры культурнее, нежели в пехоте или кавалерии.

Отец слушал с улыбкой. А потом не выдержал...

— Если ты будешь так себя вести, Боря, то сразу же окажешься в ложном положении. Солдаты твое «вежливое» обращение сочтут за чудачество и за твоей же спиной над тобой и посмеются. Никакого авторитета в их глазах ты не приобретешь. А офицеры примут тебя за выскочку. Могут и приказать — не валять дурака. Не подчинишься, придется из армии уходить. Русский солдат не немец, не француз. Да и в немецкой армии говорят солдатам «ты».

Борис тогда впервые заспорил с отцом, и это поразило Петра Андреевича более всего. А уж какое на сестер произвело впечатление!

Раньше с отцом никто никогда не спорил. На этот счет у них в доме строго. Теперь нет-нет да надерзят. И делают по-своему. В дом приглашают людей, не спросив на то разрешения. Этого и она не одобряет.

Петр Андреевич вошел в столовую. Вся семья уже сидела за завтраком, но не начинали — ждали его.

Ели молча, чувствуя, что отец не в духе и лучше не разговаривать.

Когда уже кончали пить чай, кто-то позвонил у парадного. Открыл денщик.

Из передней донесся громкий разговор.

Денщик вошел в столовую и, растерянный, остановился у двери.

— Ты что, Василий? — Петр Андреевич хмуро посмотрел на денщика. Опять непорядок, сколько раз говорил этому обалдую, что в комнаты ему заходить неположено...

— Ваше благородие, там какой-то господин оставил визитную карточку, велел кланяться и передать, что он очень сочувствует вашему горю, вечером зайдет непременно...

— Что ты мелешь?.. Какому горю? Дай сюда карточку и закрой дверь!

Денщик передал карточку и поспешил на кухню.

— Александр Николаевич Поливанов... Господи, что это ему вздумалось? Не с похмелья ли? Замечаю, попивать со своими судейскими начал, не к добру, не к добру все это!

В это время у парадного опять позвонили. Кто-то долго топтался в прихожей. Потом в столовую вошел сослуживец Петра Андреевича, молодой еще офицер, подпоручик Зверев.

— Ольга Николаевна... Петр Андреевич... Зинаида Петровна... Да как же это случилось? Когда... В уме не укладывается, ведь мы же с Борисом...

Петр Андреевич не дал ему договорить...

— Извольте пояснить, Константин Иванович, что с Борисом? Что у вас «в уме не укладывается»?..

Зверев не ответил. Он только сейчас заметил, что семья Жадановских мирно сидит за столом, пьет чай. Лица у всех спокойные, по крайней мере были, когда он вошел. Никто не плачет...

— ...Позвольте... Петр Андреевич, ведь вот, в газете...

Жадановский поднялся, взял из рук Зверева газету, которую тот протянул капитану:

«Киевская газета» от 24 ноября 1905 года.

«Убитые скорбью отец, мать, сестры и брат извещают родных и знакомых о безвременной кончине горячо любимого сына и брата Бориса Петровича Жадановского...»

Петр Андреевич прочел это извещение вслух и почувствовал, что у него подкашиваются ноги. Опустился на стул... И уже не услышал, как вскрикнула, упала в обморок Ольга Николаевна, заревел Мишка, забегали дочери...

Зверев понял, что он лишний. И в таком же недоумении поспешил ретироваться.

Петр Андреевич открыл глаза. Он лежал на диване в своем кабинете. Что же с ним произошло? Почему Василий опять в комнате, зачем у него в руке полотенце и как противно он шмыгает носом?

И в этот момент вспомнил...

Борис! Погиб Борис! Но почему? Как погиб? Боже мой, он лежит, а что же с Оленькой?..

Петр Андреевич тяжело поднялся с дивана, держась за стенку, вышел в коридор, вошел в спальню.

Ольга Николаевна уже пришла в себя и плакала. Тихо, но так безутешно, что Петр Андреевич не подошел, не спросил. Зина у окна еще и еще раз перечитывает то роковое сообщение...

— Папа, почему ты скрыл от нас, что Борис умер? Когда? Отчего? Где его похоронили?..

Петр Андреевич торопливо подошел к дочери.

— Дай сюда газету...

«Убитые скорбью... извещают...»

Но он никогда никого не извещал и не давал этого объявления! Он ничего не знает о смерти Бориса. Господи, да что же это такое! Может быть, есть другой Борис Петрович Жадановский, фамилия в Малороссии распространенная... Да и газета киевская, при чем тут Киев? Хотя да, Боря-то в Киеве... Но ведь там у них нет родственников. Ошибка! Какая-то страшная, нелепая ошибка!..

— Оля, Оля, Зина, успокойтесь! Здесь ошибка, дикая, невообразимая ошибка...



* * *

Он проснулся ночью. Очень хотелось пить и страшно болела грудь где-то там, с левой стороны и ближе к плечу. Пошевелился, пытаясь перевернуться с правого бока на спину...

— Тише, тише, вам нельзя ложиться на спину, вы задохнетесь...

Комната осветилась тусклым светом ночника, и он увидел ноги. Девичьи ноги и туфли с немного сбитыми каблуками.

Такие же туфли и тоже с вечно сбитыми на сторону каблуками были у мамы. Она часто говорила, что нужно их снести к сапожнику, но забывала это сделать, она мало заботилась о себе. Все силы и время отнимала большая семья.

— Пить... Я очень хочу пить...

Рука с тонкими длинными пальцами поднесла к его губам чашку. В ней был клюквенный морс. Такие же руки у Зины, сестры. Только Зинаида терпеть не могла всяких маникюров и длинных ногтей... Мать называла ее нигилисткой, отец же всегда заступался, считая, что его дочери не должны быть белоручками.

— Спасибо! Скажите, где я?

— Лежите, лежите, вам нельзя говорить... Лучше всего постарайтесь уснуть.

Какой знакомый голос! Он так похож на голос Катеньки Сурко, Зининой подруги. В то счастливое лето, после окончания Полтавского кадетского корпуса, он вместе с сестрами и Мишкой жил на даче под Харьковом. Корпус он окончил по первому разряду с правом поступления в специальные военные училища без экзаменов, а потому наслаждался отдыхом и постепенно привыкал к жизни без барабана, бившего поутру, без этого противного офицера-воспитателя, подполковника Риттиха и ротного, полковника Юркевича.

Они заморозили детскую душу, заставили расти скрытным, сторониться бойких кадетских коноводов.

— Как вас зовут?

— Катя.

— Катя, я узнал вас по голосу. Я всегда вспоминал то лето третьего года, когда вы гостили у нас на даче... Помните, как было хорошо! И помните, каким суровым бывал отец ваш, полковник Сурко, когда приезжал навестить и учинял «генеральскую инспекцию».

— Тише, вам нельзя говорить... Моя фамилия не Сурко, а Менцер. И я никогда не гостила у вас на даче... У вас, наверное, поднялась температура, я сейчас поставлю градусник.

Екатерина Ивановна Менцер, сестра милосердия, уже много дней и ночей не отходила от постели раненого. Рана у него опасная, в грудь, прострелено легкое. Температура все время скачет. Когда

она немного понижается, больной открывает глаза. Но заговорил он только сегодня. Заговорил вполне осознанно. А раньше, как только температура повышалась, начинал бредить, потом впадал в беспамятство...

Наверное, и сейчас она подскочила, и он снова вспомнил о даче, зовет какую-то Катю. Раз вспомнил, значит, начался бред.

Екатерина Ивановна даже себе не хотела признаться, что эта Катя с дачи в последние дни ее раздражает. Только в последние дни... Ну, конечно, дело обычное, молоденький кадетик влюбился в гимназисточку, может быть, первый раз влюбился и больше потом не влюблялся, даже будучи офицером. Вот потому и вспоминает в бреду одно только имя — других не было.

Она почти ничего не знает об этом офицере. Ей известно только, что его скрывают от полиции, что его офицерское обмундирование забрал из лечебницы на Мариинско-Благовещенской улице денщик и что по паспорту он мещанин из города Изюма — Петр Николаевич Самойленко. Но в бреду он называет другие имена, может быть, и свое подлинное, ей незнакомое.

Екатерина Ивановна, конечно, знала, что порученный киевским комитетом РСДРП ее заботам раненый офицер должен стать нелегальным и иметь чужие документы. Но в комитете ей настоящего имени Самойленко не назвали, а она привыкла не спрашивать. Конечно, худо будет, если полиция нагрянет с обыском сюда на опытную сельскохозяйственную ферму Политехнического института, а больной начнет бредить... Правда, заведующий фермой, Богоявленский, на квартире у которого и лежит Самойленко, все время начеку. Да и профессор Тихвинский, подыскавший это пристанище, тоже. Он даже поселился тут же на ферме и каждый день навещает Самойленко.

— Катя! Екатерина...?

— Ивановна. Но вы называйте меня Катей. Сейчас я посмотрю, какая у вас температура... 37,7... Лежите спокойно, тогда и температура совсем спадет. Хотите еще пить?

— Спасибо, Екатерина Ивановна! Катенька!.. Мне тоже так больше нравится. Знаете, в третьем году я познакомился с одной Катей. Это была чудесная девушка, и я в нее по-мальчишески был влюблен. А она нет... Она говорила, что любовь — глупости, что сейчас молодежи не до любви, что все свои силы она должна отдавать революции, как это делали Софья Перовская, Вера Фигнер, Вера Засулич. А я, признаться, тогда был совсем темненький. И даже в боженьку еще верил... Или нет, в боженьку уже, пожалуй, не верил. Верил в справедливость, честность, был ультрапатриотом.

— Вы опять разговариваете, а вам нужно молчать. Спите!

Он замолчал. Но спать не хотелось. Очень болела грудь и правый бок, который, как он теперь понял, отлежал.

Интересно, как выглядит эта Екатерина Ивановна? Он смутно помнит, что из лечебницы, где врачи скорой помощи вытащили пулю, его забрали две какие-то женщины. Своих имен они не назвали, и он так и не знает, у кого провел первые дни после ранения. И сколько дней тоже не знает, как не знает — какое сегодня число.

— Катенька, а какое сегодня число?

— Второе декабря.

— Катенька, скажите, это вы забрали меня из лечебницы скорой помощи?

— Нет, нет, не я. И я не знаю, где вы провели первые десять дней после ранения. Я знаю только, что на той квартире прислуга проболталась о раненом офицере, и вас перевезли сюда...

— Куда — сюда?

— На ферму института. Но вы будете спать? Я тоже посплю, ведь сейчас еще только три часа ночи...

— Покойной ночи, Катюша, я не буду больше вас беспокоить.

Ночник погас. Боль стала сильнее. Чтобы не думать о ней, чтобы не нервничать, он стал вспоминать хорошее, радостное, иначе боль не заглушить. В темноте ему вдруг стало страшно, что сознание вновь покинет его. Нет, нет, кошмары можно отогнать.

А много ли он за свою короткую жизнь видел хорошего?

Только в семье. Господи, как он соскучился по отцу, матери, сестрам, Мишке-карапузу и даже по денщику Васе! Этот денщик был его мамкой и дядькой. В старых семьях военных, где из поколения в поколение сыновья шли по дорогам отцов, денщиков выбирали, что называется, на всю жизнь.

Отец держал Василия в строгости, в комнаты не пускал, разглагольствовать не позволял. Но доверял полностью.

И Василий прижился в доме, стал своим. Мать выучила его грамоте, и надо было видеть, как этот, уже немолодой солдат все свое свободное время запоем читал. Когда кончился срок службы, Василий, круглый сирота, так и остался у них в семье. По-прежнему не заходил в комнаты, был немногословен, почтителен, но его уже тяготит должность барского холуя. Грамотный, он мог бы найти себе подходящую работу, жениться. Надо будет поговорить с отцом...

Поговорить? Во-первых, когда-то они еще увидятся! Наверное, как только он поднимется на ноги, придется уехать за границу. И пробыть там до тех пор, пока окончательно не окрепнет.

А во-вторых, еще неизвестно, захочет ли отец после всего, что произошло, разговаривать с ним? Отец человек суровый, старого закала. Для таких отказаться от сына трудно, но еще труднее простить офицера-сына, нарушившего присягу царю.

Правда, за последнее время отец немного изменился. Это особенно бросилось в глаза в прошлом году, когда началась русско-японская война.

Несчастный 1904 год!

Япония без объявления войны напала на Россию. Боже, что тут началось!.. Откуда взялось столько «застольных патриотов», так лихо и так пьяно в банкетном угаре расправлялись они с «этими макаками». «Патриотам» не нужно было идти на войну, и это еще больше подогревало их воинственный пыл.

Зато среди юнкеров Николаевского инженерного училища начавшаяся война сразу выявила «истинных» и «квасных».

Юнкерам было предоставлено право пойти на войну или по вакансиям (их на училище выдавалось немного), или добровольцами.

И оказалось, что те, кто еще вчера в дортуарах горячо витийствовал о службе во имя отечества, сегодня предпочли помалкивать, вакансий не брали, добровольно не высовывались.

Он же твердо решил: его место там, на Дальнем Востоке, на полях Маньчжурии. Нет, это решение не было ложно понятым чувством «долга». И патриотизм у него не квасной. Он — военный, сапер. Его знания могут найти применение только на войне. А часто ли случаются войны? Последняя была в 1877—1878 гг., когда он и на свет еще не появился. В мирное время он живет на всем готовом, живет не за счет батюшки царя, за счет народа — теперь-то он хорошо просвещен в сих материях. Живет и ничего народу не возвращает взамен. Значит, только во время войны он сможет погасить свой долг.

Примерно с такими мыслями ехал он в родной Харьков на рождественские вакации 1904 года. И был уверен — кто-кто, а такой верный служака, как его отец, поддержит сына. Не его теории, конечно, а желание «исполнить долг». Мечтал он и об отличиях — какой юнкер втайне не тешит себя такими мечтами. А как, вероятно, сладостно услышать: «Вот молодчина, этот не перепугался, пошел на войну». Ну, и прочие приятные слова.

Отец окатил ушатом холодной воды. Никаких вакансий, никакого добровольчества. Сиди, учись и не дури, не захламляй голову всякой высокопарщиной — «долг»... «работа» и прочая ерундистика.

Обрывки мыслей бегут, скачут, сталкиваются друг с другом. Здесь и тревога за семью, каково им там в Харькове. Знают ли, что приключилось с ним?.. И, конечно, беспрерывные споры с отцом роятся в его объятом жаром мозгу. Он рвался на войну с Японией добровольцем. Теперь-то он знает, что еще год назад был глуп. И все эти высокопарные словеса о «неоплатном долге» перед отечеством мало стоят... о каком отечестве идет речь — царской России?.. чем хуже самодержавию, тем лучше народу и поражение царской армии на Дальнем Востоке приблизит революционный взрыв...

Ну да ладно, не стоит продолжать мысленный спор с отцом. Тот ведь оказался прав. Когда в начале января нового, 1905 года он возвращался с вакаций в Петербург, война преобразила некогда сонные, тихие станции. Шум, гам, пьяные песни и неутешные рыдания,

плач детей и хриплые окрики унтеров врывались в вагон, стоило только поезду подойти к перрону. Уже год шли непрерывные проводы новобранцев и запасников. Их провожали не только матери, жены и дети, провожали и представители «общества». На каждой станции они выползали из станционных буфетов и ресторанов, разопревшие, лоснящиеся, в шубах нараспашку, неистово кричали «ура», слезливо лобызались с таким же пьяным «христолюбивым воинством». Тут же длинногривые, захмелевшие батюшки осеняли крестным знамением теплушки, и снова «общество» уползало в ресторанные норы.

Так было и днем 9-го, когда он выехал из Харькова. И вдруг на следующий день все изменилось. Целую ночь поезд где-то простоял. Целую ночь были крики и плач, но куда исчезли представители «общества»? Не было видно и жандармов. Потом, утром, поехали дальше. Но, не доезжая Тулы, на каком-то полустанке вновь остановились и больше уже не двигались. Сначала решили — «забастовка». К ним привыкли, но потом по вагонам поползла страшная, невероятная весть. Он не мог, не хотел верить... Вчера, в воскресенье, в Петербурге царские опричники расстреляли мирную манифестацию рабочих, направлявшихся к Зимнему дворцу, чтобы подать царю-батюшке нижайшее прошение.

Тысячи раненых и убитых... Так по крайней мере уверял телеграфист с полустанка.

Едва доплелись до Москвы, да и то только потому, что сзади их пассажирский подперли воинские маршруты. И дело чуть не дошло до драки.

Ночь. Первопрестольная напоминала город, который осадил неприятель.

Пассажиров из вокзала не выпускали. Говорили, надо ждать утра. Всюду патрули. Конные, пешие, поголовно у всех проверяли документы.

Его пропустили — предписание и увольнительная юнкера были в порядке. На площади Курского вокзала ни одного извозчика. Пришлось пешком тащиться на Николаевский. Благо, не так уж и далеко.

Николаевская дорога работала исправно. И 12-го, опоздав на сутки, он был, наконец, в Петербурге.

Только там смог прочесть газеты.

Но что газеты... Друг и «хранитель дум» Борис Зубков вернулся из отпуска в субботу. И в воскресенье 9-го отправился на улицы. Его чуть не подстрелили. А начальство засадило на губу.

Зубков уверял, что в это Кровавое воскресенье было убито и ранено не менее пяти-шести тысяч рабочих, их жен и детей.

Страшно!

* * *

Вот и вспомнил о «приятном и радостном»...

За окном декабрьское утро. Легкий южный морозик — окна чуть-чуть прихватило, но они плохо пропускают свет.

Он, наверное, все же спал и утопил во сне ночные кошмары. Боль не отступила, но теперь он уже и не знает, какой бок болит больше. Перевернуться бы на спину!..

Кто-то тихо ходит по комнате. Но ему снова видны только ноги. На сей раз они не стройные и не девичьи — две трубы давно неглаженых брюк и широченные растоптанные штиблеты.

А где же Катя?

Ему показалось, что он произнес эти слова вслух. Нет, показалось. Наверное, опять жар. Ему и душно и зябко. И не хочется открывать глаза, все равно он видит только ноги...

В комнату вошел еще кто-то

Тихий, приглушенный шепот.

Но когда у тебя жар, шепот звучит как полковая труба и гулко отдается в голове.

— Скажите, доктор, почему так упорно держится температура? Его все время лихорадит.

— Боюсь, что процесс обострился, подозреваю гнойный плеврит. Когда проснется, выслушаю и тогда уточним.

— А если ваши опасения подтвердятся?

— В этой обстановке серьезной операции произвести нельзя, а без операции не обойтись.

— М-да, положение!

Он все слышит. Он все понимает. Но ему кажется, что говорят о ком-то другом. И разговор происходит в мире других измерений.

Ему бы сейчас немножечко солнца!

Борис Жадановский заставил себя открыть глаза, заставил повернуться на спину. И увидел испуганное лицо профессора Тихвинского, потом какого-то незнакомого человека в белом халате, увидел, как в комнату вбежала красивая молодая женщина, почувствовал прикосновение ее рук.

Вот и солнце...

И не нужно обманывать себя, забиваться в пещеры «приятных воспоминаний».

— Профессор, скажите, что с моими саперами? Поддержали ли восстание другие воинские части киевского гарнизона, где Борис Зубков, где Баранов?

Жадановский задохнулся. Страшная боль полоснула грудь.

Он не слышал ответа профессора.

Профессор сам ничего не знал о судьбе восставших саперов и руководителей этого восстания.

Он знает главное — восстание раздавлено. Саперов никто не поддержал. Арестованы сотни солдат.

Но разве можно это сказать больному?

А Борис уже снова бредит. И снова видит дом, Харьков, отца, мать, сестер. Где-то в подсознании бьется мысль — семья встревожена его молчанием, а может быть, все знает. И... Потом эта мысль куда-то уплывает. И он опять ясно видит тот день, когда они приехали в Киев...

ГЛАВА II

Сентябрь. Наверное, нет лучшей поры. На улицах Киева еще по-летнему пышны кроны деревьев, но уже осыпаются каштаны. Чуть ветер — и они дробно обрушиваются на тротуары, озорно скачут по мостовым, заполняют водостоки низких крыш. Мальчишки набивают карманы каштанами, насыпают их в картузы, фуражки и спешат в глухие переулки, безлюдные дворы, чтобы с ходу вступить в «кровопролитные бои».

Русско-японская война закончилась тяжелым поражением царской России.

Мальчишки «переигрывают» Мукденское сражение, и мощное «ура» заглушает «банзай». Да и вряд ли в боевых порядках голоштанных «чудо-богатырей» кто-либо выкрикнет это ненавистное слово.

Его узнали в России недавно, но сразу же возненавидели.

Сентябрь — первый месяц учебы. Но в киевских гимназиях пустуют многие парты, особенно в частных, дорогих.

Дети бедняков, с окраин в гимназиях не учатся. Но горят желанием «начистить рожу» гимназистам-барчукам.

В пятом году все это дворовое воинство обзавелось рогатками. Недалеко от Жандармских казарм, в районе киевской крепости, в этот погожий сентябрьский день шло особо ожесточенное сражение. Дрались «куропаткины» и «некуропаткины». «Некуропаткинскому генералу» подбили глаз каштаном, и он, временно, пока не выплачется, выбыл из боя. Ну, прямо, как старик Маневич, сменивший Куропаткина в Маньчжурии и слезливо вопрошавший, «за что его командовать выставили».

Ранение «генерала» не внесло замешательства в ряды его армии, и сражение достигло своего апогея. Смолкли «выстрелы», противники сошлись врукопашную и вывалились на мостовую Московской улицы, прямо под колеса лихачу «на дутиках». Гнедой жеребец взвился на дыбы, чуть не опрокинул легкую коляску, кучер как-то удержался на облучке, но седок вылетел на пыльную мостовую. Это был офицер в форме саперных войск, с маленькими усиками, длинным тонким носом и тяжелым подбородком — подпоручик Замбржицкий.

Он основательно стукнулся о булыжник коленкой, взвыл от бо-

ли и, пока остолбеневшая от неожиданности босоногая орда стояла с открытыми ртами, вскочил, схватил за вихры первого подвернувшегося под руку мальчишку и, отчаянно ругаясь, начал драть буйную, грязную шевелюру. «Чудо-богатырь» заголосил. Офицер поднял стек, который он так и не выпустил из рук при падении, хотел ударить и... вдруг как-то странно запрокинул голову, фуражка, как лягушка, подскочила кверху и покатилась по мостовой... Здоровенный каштан, пущенный из рогатки, угодил подпоручику прямо в лоб. Жертва вырвалась из рук подпоручика, и «поле боя» моментально опустело.

Борис Жадановский, чертыхаясь, в который уже раз заглядывал под кровати своих сожителей по коммуне в надежде отыскать сапожную щетку.

Шум и крики за окном оторвали Бориса от поисков. Он отодвинул газету, заменявшую коммунарам штору. В окно пахнуло пылью. А когда осела пыльная завеса, Борис с удивлением увидел почти под самым окном своей квартиры Константина Замбржицкого.

Что за наваждение. Или это от сегодняшней жары? Борис не так бы удивился, предстань перед ним... ну хотя бы гоголевский кузнец Вакула или еще бог знает кто...

Но Константин!

Они учились вместе в Николаевском инженерном училище, но Замбржицкий был курсом старше. Из выпускников прошлого года он один, каким-то непонятным образом попал в гвардию. И исчез... Никто ничего толком о нем не слыхал. Вообще случай почти невероятный — сапер, и вдруг гвардия? В Российской империи не было гвардейских саперных бригад.

Жадановский недолюбливал Константина. А почему, собственно? Пожалуй, он и сам не знал, что ответить на это. Замбржицкий был велеречив, вспыльчив и страшно любил спорить. Борису, систематически читавшему социал-демократическую литературу, штудировавшему «Капитал» Маркса, имевшему друзей среди революционно настроенных студентов университета и технологического института, не раз приходилось схватываться с Замбржицким в политических перепалках. У юнкера Константина в голове была каша, хотя он и не прочь был подкраситься в «розовенькое» и пофрондировать.

— Константин! — Борис машинально окликнул подпоручика.

Замбржицкий, разглядывавший что-то на левой ноге, вздрогнул, выпрямился и... увидел в окне Жадановского. Лицо перекосила улыбка. И трудно было понять — то ли он обрадовался Борису, то ли...

— Боря, каким ветром тебя занесло в эту убогую, пыльную юдоль печали?..



Константин, как всегда, был цветист на слова, но в голосе слышалось плохо скрытое раздражение.

— Но что произошло? У тебя весь лоб в крови!

— Пустяки. Лошадь чего-то испугалась и понесла, а я задумался, ну и результат!..

Замбржицкий почувствовал облегчение оттого, что сумел так ловко найтись. Не рассказывать же о проигранном сражении с мальчишками.

— Чего же ты стоишь? Заходи. Смотри, у тебя и галифе на коленях лопнуло...

Вот черт, дернула нелегкая за язык. Завтра по всему гарнизону станет известно о падении подпоручика пана Замбржицкого... с подушек коляски лихача. Кар-тина! Но что он мог еще придумать?

— Не беспокойся, я живу рядом, а галифе сегодня же снесу шельмецу портному... Ведь, каналья, клялся, что это лучшая лондонская диагональ... Увидимся... Пока!

И Константин, не дожидаясь ответа, быстро свернул в переулок. «Гвардейской выправки» и терпения хватило всего на несколько шагов. Поняв, что Жадановский уже не может его увидеть, Замбржицкий сгорбился, припал на ушибленную ногу и поплел-

ся вдоль забора, оглядываясь,— не дай бог, опять налетишь на кого-либо из знакомых.

Благополучно добравшись до своей квартиры, подпоручик первым делом подошел к зеркалу. Матка боска! Эти негодяи подставили ему такой «фонарь», что дня два-три придется сидеть дома. А он сегодня зван к пани Зосе...

Отыскав в столе медный пятак, Замбржицкий прямо в кителе повалился на постель, не переставая поминать всеми нелестными именами «этих сопляков».

На голос подпоручика из кухни выскочил денщик. Он не слышал, как барин вошел в квартиру. Увидев своего хозяина в таком истерзанном виде, по-бабьи всплеснул руками и бросился стаскивать с подпоручика сапоги.

— Тише, дубина. Почисть сапоги да возьми галифе и снеси этому прохвосту портному, как его, э... черт...

— Лурье, ваше благородие.

— Да, да, этому Лурье и скажи, что если через два дня он не сошьет новые, то я приду сам...

— Ваше благородие, он меня не послушает, вишь, на галифах цельный кусок выдран.

— Пошел вон, болван! «Кусок выдран»... Каналья портной из гнили сшил, так и скажи...

Денщик поспешил исчезнуть с глаз разгневанного подпоручика, он хорошо знал его тяжелую руку.

Замбржицкий залез под одеяло, решив, что в его положении сейчас лучше всего заснуть. Все одно из дома не выйдешь, хотя в запасе есть еще парадная форма.

Но сон не шел. В комнате душно. Под одеялом жарко и очень болит голова и разбитая коленка. Подпоручик вертелся с боку на бок и беспокойные мысли отгоняли сон.

Оказывается, в Киев прибыли три выпускника Николаевки. Скверно! Меркулова он встретил сегодня днем, от него узнал, что и Баранов тоже в Киеве, а вот Жадановского он не ожидал. Меркулов как будто поверил в его басню о переводе из гвардии в армию... «За нежелательные высказывания». А вот поверит ли Жадановский? Ему-то известны подлинные настроения и взгляды подпоручика? В саперной бригаде о причинах его перевода в армию, наверное, знает только командир бригады полковник Немилов. Пожурил при знакомстве, потом вспомянул свою молодость и этак, неуклюже, намекнул, что и он, будучи подпоручиком, «шалил». Ужели этот раздобревший полковник тоже жулил, играя в карты?

И как все глупо получилось! Он никогда, нет, право, никогда бы не стал пользоваться портсигаром, если бы позарез не нужны были деньги. Оказывается, все заметили, что его вечно тусклый серебряный портсигар — единственная семейная реликвия, вдруг засиял.

И, видимо, многие знали этот фокус. А он еще столько тренировался дома! Учился быстро распознавать карту, отраженную в портсигаре, когда сдаешь партнерам. Хорошо, что не побили, а ведь могли... Подполковник Заварзин вступился.

Замбржицкого изгнали из гвардии и с тем же чином перевели в армию, в саперные части. Столицу пришлось покинуть. Замбржицкий был и тому рад — ведь он боялся, что за шулерство его просто выставят из армии.

Подполковник Заварзин тогда в день «эвакуации» из Питера намекнул, что подпоручик может неплохо подрабатывать и «другим коленкором». Нужно только иметь голову, присматриваться к своим новым сослуживцам да развязывать им языки, а самому... Ну, подпоручик понимает. Замбржицкий тогда опять сглупил, состроил обиженную физиономию. Подполковник же только расхохотался. Потом посуровее напомнил подпоручику, как, будучи еще юнкером, тот доносил своему ротному об антиправительственных разговорах среди некоторых юнкеров. Черт, и откуда это ему известно? Хотя ротный был тоже из «подметок».

В общем, договорились. И даже выпили.

* * *

Сапожной щетки Жадановский так и не обнаружил. Идти в пыльных сапогах представляться ротному? Кто его знает, может, солдафоном окажется, как и батальонный. А батальонный сухарь чинодрал какой-то. Руки не подал. Цедил сквозь зубы. Небось солдатам самолично их пересчитывает. На прощание два пальца сунул. Потных. Тьфу, и сейчас противно!

Но где же, наконец, эта щетка?

Жадановский еще раз оглядел свою комнату, зашел в комнаты Меркулова и Баранова. Провалилась! Вот и еще один довод против его решительного нежелания брать денщика.

Еще несколько дней назад, когда они только сюда вселились, он убежденно говорил: де, мол, институт денщиков — пережиток крепостничества, с ним нужно покончить. Денщик — профанация, а не воинское звание. Каждое государство вправе отрывать от полезного труда молодых людей, но и оно не вправе делать их няньками и лакеями. Солдат должен быть солдатом, а не кухаркой...

Ну, в общем, все ясно, брать денщиков преступление.

А в квартире грязь, а в квартире пыль, и на столе гора немытых тарелок.

И куда-то задевалась щетка!

Хлопнула дверь. В комнату ввалился Баранов, за ним вошел Меркулов.

— Борис, ты еще не представлялся ротному?

Меркулов не договорил. Он еще не освоился с той вольностью в высказываниях, которая стала привычной для Жадановского и Баранова. Они, не стесняясь, критиковали начальство, да что там начальство, весь государственный строй сверху донизу.

Меркулов, конечно, симпатизирует им, и ему приятно их возмущение, но он против крайностей.

Между тем Баранов вдруг вскипел. Очки, которые делали его похожим больше на студента, нежели на офицера, моментально съехали к кончику носа.

— Наша третья саперная бригада такая клоака, что другой такой не сыскать. В только что формирующихся частях так всегда бывает. Командиры других подразделений спешат сплавить сюда самых негодных офицеров. Ты вот на батальонного жаловался. Он еще ничего, по крайней мере откровенная собака. А вот ротные — это, я тебе доложу!.. У нас в третьей штабс-капитан Смирнов. Герой-портартурец. А на поверку — зверь. Или вот второй капитан — Шнейвас. Хитрый карьерист. В роте у него каждый шпионит за каждым. Чуть что — выживает безо всяких. Такого на войну — тут же в лазарете окажется.

Зато солдаты ничего, сознательных побольше, чем в иных частях. Один вольнопер из бывших студентов. Он, по-моему, и в армию-то пошел, чтобы от полиции скрыться. Форменный революционер...

— Ты, я вижу, уже все успел разнюхать...

— Постой, я тебе главного еще не сказал. Такой пассаж!

— Знаю!

— Что ты знаешь? Не можешь ты знать!

— А вот догадываюсь, ты Замбржицкого встретил?

— Чур-чур... Сатана, чернокнижник! Но откуда тебе известно, что Константин сюда пожаловал?

— Никакой чертовщины. Это гвардейское золотце только что у меня под окном на четвереньках ползало, за лоб держалось и всю свою и чужую родословную поминало!

— Чудеса! А я час назад с ним нос к носу... И глаза у меня на лоб. Что, думаю, за диво? Гвардия, паркетный шаркунчик и вдруг в армейской робе?.. Ручку подает, улыбается, то да се. Поговорили, в общем. Намекнул, что из гвардии за недозволенные высказывания и крамольные мысли изгнан.

— Вот как? Интересно бы узнать, не в гвардии ли он их поднабрался? Что-то в училище у него не мысли, а хлебная тюря в голове пузырилась. Хотя и «выражался»...

— Я, брат, тоже в крамолу не очень-то поверил. Но сделал вид. Эх, чует моя душа, что настоящим крамольникам с этим экс-гвардейцем нужно поосторожнее.

— Согласен. Меркулов, ты ведь его тоже помнишь?

— Как же, как же! Завидовал удачнику. Вот только знакомство у нас шапочное. Здрасте — до свидания...

— А что это за новое упражнение по фрунту «шагистика счетверенясь»?

— А ну его, Замбржицкого, к бису. Надобно об ужине подумать.

И наступило неловкое молчание. Идти куда-либо в «заведение» им было не по карману, жалованье подпоручика на такие походы явно не рассчитано. Сухомятка, всякие там колбасы да сыры с чаем, надоела.

— М-да!..

Баранов вскинул очки.

— А что, господа офицеры, не кажется ли вам, что мы в положении тех трех щедринских генералов, которые без мужика прокормиться не могут? Денщика нам взять все-таки придется, несмотря на все твои, Боренька, красивые теории.

Бог ты мой, что тут началось!

Маленький, тоненький Жадановский задиристо наскакивал на широкого, выше среднего роста Баранова. Эта стычка напоминала бой воробья с петухом.

Казалось, вот сейчас Баранов сгребет своего щупленького оппонента и... выкинет в окошко.

Меркулов смеялся до слез. И пропустил суть спора. А когда вытер глаза, то с удивлением обнаружил, что Баранов смиренно слушает Бориса и поддакивает ему...

— ...он будет четвертым членом нашей коммуны. Полная свобода отлучек. Питается из нашего общего котла. И, господа офицеры, с каждого по рублю в месяц денщику.

— Уговорил!

— Это еще не все. Будет стыдно, если мы, три образованных человека, позволим нашему новому члену коммуны оставаться «серой скотинкой». Мы должны с ним заниматься.

— Слушаемся, вашеродие!..

— Ну вот! А по такому случаю сегодня, в последний раз, мы имеем право истратить...

— Месячное жалованье денщика!

Они еще не вставали, когда в дверь кто-то постучал. Этак осторожно, робко...

«Кого бы в такую рань»,— подумал Жадановский и неохотно вылез из-под одеяла, накинул халат.

В комнату вошел солдат. Широкоплечий, неуклюжий, с рыхлым бабьим лицом.

— Так что явился, ваше благородие, как приказано!

Голос у солдата сиплый и дрожит.

«Ну и Аника-воин!..— Жадановский тут же спохватился.— Солдат как солдат. Что ему нужно?»

Но тут же понял — из роты прислали денщика.

Выползли из своих комнат Баранов и Меркулов, а солдат все стоял по стойке «смирно», не смея даже глаз скосить на вошедших.

— Как ваше имя?

Солдат растерянно моргал белесыми ресницами. Никто еще не обращался к нему на «вы», поэтому он и не знал, что отвечать.

— Ну как тебя зовут? — Баранов с трудом сдержался, чтобы не расхохотаться. Цивилизовать такого — много придется набить мозолей.

— Так точно-с, звать рядовым Жуковым, ваше благородь!

— Ну, что вы стоите, Жуков? Опустите руку, присаживайтесь. Вас прислал старшина?

— Так точно-с, значится, денщиком к их благородию подпоручику Жадновскому...

Баранов и Меркулов уже не могли больше сдерживаться.

— Уморил, чертушка! Их благородие подпоручик не жадный, а зовут его Борисом Петровичем. Кстати, а как вас величать по имени-отчеству?

— Никак нет, рядовой Жуков!

— Да это мы уже слышали, зовут, зовут-то вас как?

— Иваном, сыном Николаевым,— Жуков был растерян. Господские причуды, «вы» да имя-отчество. От таких добра не жди. Эн вон тот, очкастый, небось зубы скалит, а как что, так по зубам. А ентот, щупленький, наверное, с подсидом...

— Присаживайтесь, Иван Николаевич. И расскажите нам о себе.

Жуков не сел. Он только опустил руку, переступил с ноги на ногу.

«Чего рассказывать-то, не у попа на исповеди...»

— Вы из какой губернии, Иван Николаевич?

— Мы-то?

Жадановский начал терять терпение. Мелькнула мысль — а не слишком ли он был самонадеян, когда говорил о необходимости развивать таких вот, как этот Иван, Николаев сын?

Пока Жадановский предавался не очень-то радужным размышлениям, Меркулов сумел разговорить Жукова. Правда, трудно было назвать их беседу «задушевным разговором».

— Значит, вы русский, хотя и родились под Полтавой?

Жадановский встрепенулся.

— Вот как, бывали в Полтаве?

— Так точно-с, бывал. Батька на ярмарку брал...

— Я ведь тоже, можно сказать, полтавский, учился там в Петровском кадетском корпусе.

Но Жуков не проявил особой радости от встречи с «почти земляком».

— А ваш отец крестьянствует?

— Так точно-с, крестьяне мы. Значит, по землепашеству.

Так слово за словом, вытягивая каждое, как гвоздь, друзья узнали, что мать Жукова надорвалась и умерла, что, кроме него, в семье еще шестеро; младшенькая с дедом по селам ходит, христовым именем питается, а бабка летось сгинула, пошла с христианами на церковь милостыню собирать, да так и по сей день ни слуху ни духу.

Когда иссякли вопросы, Ивана отпустили на кухню, а сами пошли одеваться.

Не успели умыться, причесаться, денщик доложил:

— Так что изволите завтракать?

— Так-то, брат Борис, вот и наша коммуна приобрела скатерть-самобранку. Одного не пойму, чем этот чародей нас кормить собирается? Насколько мне известно, в доме ни крошки.

— Не извольте беспокоиться, ваш благородие, там на полке крупа, значитца, была, а сало у меня завсегда с собой. Так что каша с салом... Первейшее кушанье!

— Ишь ты, Цицерон! Ну что же, каша так каша. Самая солдатская еда!

ГЛАВА III

Сегодня он наконец встретится с ротой, с солдатами. Со своими солдатами.

Жадановский знал, что для первого раза его обязан сопровождать ротный командир. И, конечно, станет следить за каждым шагом, каждым словом молодого офицера. Ну и черт с ним! Все равно он не отступится от того идеала офицера, который уже давно сложился в его представлении.

И все же тревожно. Наверное, только потому и вогнал Жукова в трепет. Денщик опоздал с самоваром, и Жадановский, наспех глотая чай, ухитрился пролить целое блюдце на новенький мундир...

Баранов и Меркулов уже побывали в ротах, и им некуда спешить. Теперь они от души потешались над своим товарищем.

— Сгиньте, сатанинские отродья! Ну что я буду делать с этим мокрым пятном на мундире?

Жадановский запустил в Баранова подушкой.

Жуков, испуганно выглядывая из кухни, неодобрительно качал головой. «Чудят баричи. Одно слово — пацаны». Жуков чувствовал себя стариком с этими офицерами, хотя они были старше его.

Ротный уже дожидался Жадановского. Этот вновь испеченный подпоручик при первом же знакомстве не понравился капитану. Маленький, щупленький и, видно, интеллигентик, хотя командир бригады уверяет, что он из потомственных саперов.

Вырождается российское офицерство, вырождается.



Солдаты выстроились на плацу. Выдался по-настоящему осенний, пасмурный день, моросит беспрестанно дождь. С Днепра задувал холодный сырой ветер. Он легко проникал через обветшалые, выгоревшие гимнастерки, потертые штаны. Солдаты поеживались, хмурились. Скорей бы в казарму.

Саперы не гвардия. Обмундированы кое-как. Самая рвань, не годная к употреблению, сбывалась интендантами в саперные части — мол, все одно раздерут — служба такая.

Невыспавшимся после ночных караулов, еще не завтракавшим, так как кухни в Жандармских казармах не было, саперам приходилось десять верст киселя хлебать — ходить в Никольские и там дожидаться, пока «откушают» свои. Зло берет. А тут еще эти построения.

Фельдфебель топорщил тараканьи усы и зло шипел, заметив, что из строя то и дело вылезал какой-нибудь нерадивый. Вот-вот пожалует капитан. Им что, а он отдувайся. Капитан помешан на шагистике, ну, а из саперов какие уж там строевики...

Увидев приближающихся офицеров, фельдфебель, выпучив глаза, рявкнул «смирно» и подскочил с рапортом.

Капитан выслушал фельдфебеля, буркнул:

— Знакомься, подпоручик Жадановский...

Борис протянул фельдфебелю руку...

Удар грома или спустившийся с ближайшей колокольни живой ангел — вряд ли больше поразил бы фельдфебеля, солдат, да и самого капитана, нежели эта протянутая рука. Фельдфебель с ужасом смотрел на узкую ладонь подпоручика, словно перед ним была гремучая змея. Солдаты застыли.

— Здравствуйте, господин фельдфебель!

Борис сделал шаг вперед и буквально силой всунул свою руку в огромную лапищу старого служаки. Фельдфебель пробормотал что-то среднее между «здравия желаем» и «покорнейше благодарим».

— Здравствуйте, господа!

Солдаты продолжали стоять молча. Никто из них и не принял на свой счет это обращение — «господа».

Жадановский вопросительно взглянул на фельдфебеля.

— Люди, ваше благородие, не понимают...

Борис оглянулся на капитана.

Так, так!! Этот верзила, портартурец капитан как-то съежился, нахохлился... и потерял весь свой бравый вид.

— Рота, напра-а-во! Левое плечо... вперед! Ша-а-гом ...арш! — Голос у капитана хриплый, срывающийся.

Когда рота ушла в казармы, капитан с яростью хлестнул себя по сапогу неизвестно когда и где подобранным прутом.

— Борис Петрович, я полагаю, вам понятна вся неуместность, я бы даже сказал дикость, вашего обращения с нижними чинами?

— Господин капитан! Я попросил бы вас прежде всего изменить тон в разговоре со мной. Я вежлив с солдатами и не желаю быть похожим на вас!

— Подпоручик, позвольте...

— Не позволю! Вы требуете, чтобы я по традиции «тыкал» солдат. Я не считаю приемлемой для себя такую традицию. Если бы я думал иначе, то не пошел бы на военную службу. Честь имею!

Борис понимал, что он нарушает уже не традицию, а субординацию, и ротный ему этого не простит. Ну и черт с ним! Не те времена настали!

Делать в роте больше нечего. Но и идти домой не хочется.

Борис решил побродить по Киеву, как следует познакомиться с «матерью городов русских». Раньше ему доводилось бывать здесь только проездом, час, от силы два. Конечно, погодка не для прогулок. Но дело идет к зиме, и, может быть, лучшей и не будет. И едва ли найдется у него другое свободное время, чтобы гулять? Вряд ли!

Борис спустился на Крещатик, дошел до Владимирской горки. Долго стоял на берегу Днепра. Он не замечал холодного ветра, срывавшего с деревьев желтые листья, не всматривался в живописный ковер Подола. Знакомство с городом сегодня, видимо, не состоится. Голова занята другим.

На днях студенты Киевского университета, бунтующие еще с февраля 1905-го, заявили, что прекращают бастовать, но не для того, чтобы учиться. «Мы открываем высшие учебные заведения не для казенных занятий, а для нужд народа». Студенты явочным порядком предоставляли аудитории университета для проведения митингов и собраний.

Борису хотелось побывать на этих митингах и не только послушать ораторов, но, главное, наладить контакты с руководителями и организаторами таких сходок. Через них установить связь с социал-демократическими ячейками города.

В общем, он приехал в Киев с намерением «делать революцию». И теперь искал единомышленников.

Конечно, они были и среди его сослуживцев-саперов. Баранов и Меркулов — «само собой разумеется». Но оказывается, что и поручик Пилькевич настроен очень прогрессивно.

Несколько дней назад он заглянул в «коммуну» и застал Жадановского за занятиями с Жуковым. Вот уж истинно — смех и грех — взялся он не за свое дело. Казалось, чего проще, покажи буквы, растолкуй, как они складываются в слога, как составляются слова — и готово!

Но у Жукова мозги покрыты мозолями. Да и учитель из подпоручика оказался не лучшим. Зато у обоих упрямства хоть отбавляй! Жуков активно сопротивляется своему просвещению, Жадановский упорно внедряет в него премудрости букваря.

Пилькевич послушал, послушал, да и покатился со смеху. Пришлось отправить денщика на кухню.

— Осел, форменный осел!

— А вы что хотите, вундеркинды — явление не частое, да и возраст у Жукова отнюдь не киндерский...

— Но если армия хоть наполовину состоит из таких Жуковых, мы так и не доживем до революции.

— Наполовину, говорите? Нет, ваше благородие, в армии Жуковых значительно больше. К счастью, революцию делают не одни они. Ее делают рабочие. Зато Жуковы обладают одним счастливым свойством, они, как деревенские бабы, легко поддаются общему настроению. То воют, аж за околицей слышно, то всей деревней песни поют. А ведь это создает атмосферу!

— Так вы что ж, на стихию Жуковых рассчитываете? Стихия без сознания — только темная сила, она способна крушить, но не создавать. Она изменчива, как ваши бабы. И сегодня крушит помещика и таскает урядника за усы, а завтра лупцует революционеров-пропагандистов, осмелившихся «выразиться» в адрес батюшки царя...

— Не утрируйте, пожалуйста. Я не за стихию, я возлагаю надежды именно на сознательную часть армии и прежде всего имею в виду флот и наши инженерные войска...

В это время пришел Баранов и новый коммунар Борис Зубков. Не раздеваясь, сразу влезли в спор. Оказалось, что они уже успели прощупать настроения солдат своих рот. В телеграфной роте, где служил Баранов, нашлась подходящая публика. «Публика» связана с кем-то из гражданских, получает от них листовки, которые и дает читать солдатам.

Борис замерз. Он не помнит, чтобы в конце сентября было так холодно и так часто шли дожди. Дождевые полосы заштриховали серый горизонт над Подолом, скоро он прольется и здесь, на Владимирской горке, хлестнет по Крещатику. Вот уж некстати. Зубков еще вчера говорил, что они должны встретиться в полдень на вокзале, чтобы отправиться на дачу к какой-то там генеральше.

Темнит Зубков. Наверное, упомянул генеральшу только потому, что Жуков не закрыл дверь на кухню, а там все слышно.

Баранов и Меркулов давно уже махнули рукой на денщика, величают его на «ты», да еще и посмеиваются над Борисом, над его «пожалуйста» и «будьте добры». Жуков шарахается от «вежливостей», как лошадь от стаи волков...

Жадановский вышел на Крещатик. Извозчика бы найти, а то пешком до вокзала... он может и опоздать.

Вид главной улицы Киева его озадачил. Право, когда час назад он здесь проходил, не было конных городовых, у ворот домов не стояли тумбами дворники с медными бляхами. И пешеходов почти не видно.

Извозчиков тоже. Попрятались, канальи! Да, революция меняет не только людей, она придает новый облик и городам.

Запыхавшись, ввалился Борис в здание вокзала. Последнюю версту бежал, вызывая настороженные взгляды патрулей и редких прохожих. Зубков, завидев Бориса, рванулся к выходу на перрон, поезд вот-вот отойдет.

Едва отдышался — пора выходить. Оказалось, что станция Святошино почти рядом с Киевом. И дача генеральши Атласовой тоже недалеко от станции.

Все же — генеральша! Значит, Зубков не темнил. Но тогда какого лешего их туда несет.

— Потерпи немного. И проветрись, а то все еще пунцовый, словно целое утро сивухой накачивался. А ее превосходительство — женщина светская, деликатная. Я ей о тебе наговорил столько шарману!..

Генеральская дача оказалась простой пятистенной избой. Правда, с большими окнами, пристроенной открытой верандой и маленьким застекленным балкончиком.

Пожилая женщина в простом черном платье встретила их в столовой. Крепко пожала руку смутившемуся от неожиданности Борису — он-то готовился «приложиться»!

— Чувствуйте себя как дома, а меня извините, я сейчас покончу с обедом и буду в вашем распоряжении.

Борис огляделся. Столовая занимала большую половину дома, в нее выходили двери еще двух комнат. Одна из дверей была открыта, и Борис увидел письменный стол, полки с книгами, а рядом, так не гармонировавший со всей обстановкой, белый застекленный шкафчик с какими-то металлическими инструментами. Так вот оно что! Генерал Атласов не «настоящий» генерал, он, видимо, врач в генеральских чинах. Это в корне меняло дело, теперь становилось понятно, почему генеральская «дача» — обычная изба. И эти книги, и та простота в обращении, которую Борис почувствовал, едва успев познакомиться с хозяйкой. Вполне вероятно, что доктор-генерал и не дворянин по происхождению, а какой-нибудь разночинец, своим умом и трудолюбием дослужившийся до высоких званий. Наверное, они далеки от революционных дел и просто добрые, приятные люди.

Но Жадановский на сей раз ошибался. Зубков привел его не просто к добрым друзьям. Собственно, он и сам недавно познакомился с Атласовой. Жена дивизионного врача, женщина уже пожилая, Атласова на склоне лет загорелась жаждой освободительного подвига. Генеральша свято чтила память народовольцев — Перовской, Фигнер, Прибылевой-Корбы, Геси Гельфман. Увы, и их, и ее пора уже миновала! Пора героических одиночек, добровольных смертников ради будущего. Теперь в освободительное движение вовлеклись сотни тысяч людей. Генеральша уже стара, чтобы выступать на митингах, ей не под силу шагать в рядах демонстрантов. Но это и не обязательно.

У Атласовой обширные связи среди самых различных оппозиционно и революционно настроенных кругов. Она приятельница Елены Шибинской, живущей тут же на даче рядом. Через Шибинскую знакома с руководителями Киевского комитета РСДРП.

Обо всем этом Зубков успел шепнуть Борису, пока хозяйка возилась на кухне. Естественно, что Жадановский ожидал, что едва они усядутся за стол и пройдут первые минуты взаимной неловкости, столь обычные для начала знакомства, начнется беседа. Умная, острая, быть может, зондирующая. Ведь не водку же их пригласили пить?

Но обед прошел как обычная будничная трапеза. Вежливые вопросы о родных, знакомых. Учтивые ответы. Обмен общеизвестными новостями с примесью местных сплетен. Банально!

В конце обеда появился и сам хозяин. На вид ему уже за шестьдесят. Немного тучный, он комично замахал короткими ручками, когда подпоручики вскочили из-за стола и вытянулись по стойке «смирно».

— Господа, господа, так и подавиться недолго. Вы уж извините старика, погода окаянная уложила в постель. Лежал, читал, да и уснул незаметно. Надеюсь, не откажетесь от рюмки коньяку, ну и милости прошу курить...

«Господи боже, теперь уж и не сбежишь,— подумал Жадановский,— ну ладно, пропишу я Зубкову ижицу!..»

И снова Борис ошибся. После рюмки коньяку генерал пожелал всем приятного вечера и скрылся в своем кабинете.

А вечер действительно оказался приятным. Разговор стал более откровенным. Борис уже не жалел, что приехал.

Хозяйка мало-помалу начала убеждаться, что молодые офицеры настроены революционно, готовы к действию, но не знают, где им приложить свои силы. Она осторожно рассказала им о забастовках, митингах, столкновениях с войсками, которые имели место в Киеве летом пятого года, когда Жадановского и его друзей еще не было здесь. Показала несколько номеров газеты «Пролетарий». Увидев газету, Борис перестал слушать и, как не старался быть вежливым и учтивым, все же в конце концов уселся поближе к свету и целиком ушел в чтение. Его не тревожили до тех пор, пока он не отложил газеты.

— Ну, Боренька, пора и честь знать. Благодари нашу хозяйку и поспешаем. Жуков-то небось страдает по своему учителю, он уже «аз» уяснил, пора переходить к «буки»...

— Борис Петрович, мне рассказывали, как вы оборвали этого хама и садиста ротного! Я целиком с вами. Но, Борис Петрович, постерегайтесь, человек он злой, мстительный и неблагородный. Он пойдет на любую мерзость, чтобы досадить вам...

— Не страшно! А от своих принципов я не отступлюсь!

Замбржицкий не удивился, когда однажды утром денщик подал ему конверт, на котором не было ни марки, ни адреса, а просто стояло «Его благородию подпоручику Замбржицкому в собственные руки».

Подпоручик торопливо разорвал конверт.

«Господин подпоручик!

Не сочтите за труд зайти сегодня, 27 сентября, по адресу: Московская ул., 26, квартира статского советника З. Игнатенко.

Ротмистр...

P. S. Было бы желательно часов около 12».

Ровно в двенадцать Замбржицкий осторожно стучался в дверь, на которой красовалась медная пластинка, возвещавшая, что здесь проживает статский советник З. Игнатенко.

Дверь отворилась, и Замбржицкий от неожиданности попятился... Перед ним стоял франтоватый офицер с ротмистрскими погонами.

— Прошу, подпоручик! Вы пунктуальны, а ныне это редкое достоинство среди молодых людей.

Замбржицкий растерянно переступил порог. В коридоре тускло мерцала угольная лампочка, но даже ее слабого света хватало на то, чтобы заметить слой пыли на полу, на какой-то громоздкой тумбочке, на зеркале, в котором из-за той же пыли ничего нельзя было разглядеть.

— Не обессудьте, квартира, так сказать, необитаема. А самому недосуг... Прошу в кабинет!

В кабинете стоял стол, кресло и два стула. В углу — сейф довольно внушительных размеров и, видимо, еще новенький

— Присаживайтесь, Константин Альфонсович! Вы удивлены?

— Признаюсь...

— Понимаю, понимаю... Поверьте, в иные времена я бы не стал вас тревожить. Но сегодня каждый преданный престолу и отечеству человек... Мы деловые люди и не будем попусту терять время. Меня зовут Александром Александровичем. Из Петербурга мне сообщили, что вы настоящий верноподданный... И мы... гм... хотим попросить вас оказать нам услугу...

Замбржицкий понял все, как только увидел жандармский мундир. И о какой услуге пойдет речь, он тоже догадывался. Ну что ж, раз ротмистр утверждает, что это разговор между деловыми людьми, значит, и нужно переводить его на деловую почву. Он поудобнее уселся на стуле, вытащил портсигар.

— Разрешите?

Ротмистр улыбнулся. Его тоненькие усики опустились книзу, вытянулись в линию.

— О, какая прелестная вещица!

Ротмистр взял портсигар, повертел его в руках и, как бы между прочим, поправил перед его зеркальной крышкой усы.

Замбржицкий почувствовал, как кровь бросилась в голову. «Знает, все знает, жандармская шкура!» И подпоручик понял, что если деловой разговор и состоится, то цену назначать будет не он, а этот пронырливый ротмистр.

— Константин Альфонсович, мне нет необходимости говорить вам о том тяжелом моменте, который переживает ныне Россия. Возмутительные бунты из среды мастеровых перекинулись и на армию. Прискорбные события на «Потемкине», возмущение в Севастополе, Гродно. Э, да мало ли... И мы не можем допустить, чтобы самый надежнейший оплот престола — армию разъедала ржа анархии. Дело в том, что и среди офицеров есть элементы разложившиеся, поддавшиеся пагубной пропаганде неверия и смутьянства.

— Александр Александрович, насколько я понял, вы хотите, чтобы я назвал тех офицеров, которые, по моему мнению, плохо влияют на солдат? Извольте!

— Не торопитесь, не торопитесь! Мы и без вас знаем эти имена. Но нам сейчас важнее выявить их связи. Связи с гражданскими лицами из революционного подполья.

— Да, но я не вхож в круги этих преступных элементов...

— Насколько мне известно, вы учились вместе с подпоручиками Жадановским, Барановым и Меркуловым. Давайте считать наш разговор простым предисловием к очень нужной, полезной и, я бы сказал, верноподданнической деятельности. Надеюсь, вы поняли, о чем я вас прошу? Да, кстати, подпоручик Пилькевич, так же, как и вы, заядлый биллиардист... Нет, нет, я прекрасно понимаю ваши затруднения и прошу — вот пятьдесят рублей...

Замбржицкий не шел — летел домой! Пятьдесят рублей лежали у него в кармане! И они стоили всего лишь расписки...

Жуков сегодня получил увольнительную на весь день и месячное жалованье — целых четыре рубля! Три ему выдали его «баре», а рубль полагался денщику за два месяца с ротной канцелярии. Вчера вечером Борис Петрович, вручая деньги, посоветовал сходить в город, потолкаться среди народа, послушать, о чем говорят.

«Известное дело — барские причуды. Ну разве можно цельный день таскаться без дела? И кого слушать? Мастеровой, он все по-своему понимает, ему, вишь, волю подавай, а царя-батюшку к тудыткиной матушке посылает... Этого бы мастерового — да к нам, в деревню! Враз бы мозги вправили, узнал бы, что значитца жить да землицу пахать! Ему, вишь ли, «долой самодержавие»! А не разумеет, что у христианина один заступник перед барином — царь. Несурьезные люди... Да и господа офицеры тоже хороши! Эн вон, чего о царе

говорят... А ведь и сами из господ, только драненьких... Вот помещик — дело иное.

Намедни, когда он в отпуске был, в их деревне помещичье имение жгли, так там все чин по чину. Барин вальяжный. К нему так, с огоньком, без предупреждения ни-ни. Значит шабры — это те, которые деревенские головы, всем миром ввалились. Шапки поскидали — самого подавай! Ногу об ногу скребли, пока пожаловал.

«В чем дело, братцы?» — Вопрошает, значитца. А шабры ему этак солидственно:

«Так что, уж не взящите... Много вами довольны. А только придется поджечь. Как полагается, известное дело для порядку... Потому как всех теперь жгут... Вы,— грят,— сделайте милость, без греха чтобы...»

Барин, известное дело, в голос: «Что вы,— грит,— братцы, зачем же жечь, если не за что?» А шабры, значит, свое, улещают, чтобы указал, чего без греха пожечь можно... Вот как дело-то деется. Это тебе не с флагами по улицам шастать!»

Жуков и сам не заметил, как стал говорить вслух. А когда опомнился, заметил, что на второй койке каморки, которую он занимал под лестницей, сидит и во все уши слушает денщик штабс-капитана Смирнова — Шишкин. Ворюга, под стать своему капитану.

— Ну и пожгли?

— А как же, все как на миру порешили.

— Потом небось казаки весь мир пороли?

— Не без того... само собой...

— Эх, деревня ты, Жуков! Лучше скажи, чего с деньгами-то делать будешь? А то давай завернем, тут недалеко...

— Тебе бы только по маленькой! Непутевый! Деньги я в деревню пошлю. Сосчитал — за три года службы на телку и соберется...

— Ну и дурак! Телка! Околеет твоя телка. Небось сами лебеду с крапивой лопаете, а телку зимой соломой с крыши кормите?..

— Ишь ты, а откель знаешь? Ну и кормим! Господь бог до греха не допустит, да вот и мои баре говорят, вскорости закон такой от царя выйдет — всем землицы поровну...

— Дожидайся от царя!

Шишкин зевнул и снова завалился спать.

Жуков аккуратно завернул деньги в тряпку, снял фуражку, заложил в нее свое богатство, перекрестился и вышел на улицу.

ГЛАВА IV

Борис зачастил к генеральше Атласовой.

Золотая киевская осень уже кончилась, и Атласовы, заколотив избу, перебрались в город. Городская квартира генерала разительно отличалась от «дачи». Огромная, с полутемными коридорами, в кото-

рых не разглядеть потолка и не различить стен, так как их заслоняют стеллажи и шкафы, набитые книгами. В комнатах, куда ни повернись — книги, книги и старинная, добротная многопудовая мебель.

В столовой большущий скрипучий стол, над которым нависла тяжелая бронзовая люстра с шелковой сборкой. Люстра ярко освещает стол, но углы стираются в серых сумерках комнаты. Все в этом доме массивно. Трехведерный тульский самовар со множеством медалей сияет, как какой-нибудь отставной унтер при полном параде.

За столом священнодействует хозяйка. Генерал, как всегда, или у себя в кабинете, или на службе.

Когда Борис первый раз появился в этой квартире, его усадили рядом с немолодым уже человеком, который сдержанно подал руку, представился:

— Андрей Алексеевич!

«Странно,— подумал Борис,— обычно при знакомстве называют фамилии». И как бы подтверждая это правило, сосед слева широко улыбнулся, привстал в полупоклоне:

— Пономарев!

Борис понял, что генеральша не случайно усадила его между этими двумя на первый взгляд столь разными людьми. Он даже догадывался, кто они. Конечно, если Андрей Алексеевич не считает нужным называть свою фамилию, Борис не станет его расспрашивать. Жаль, нет Зубкова — он назначен в патруль.

— Борис Петрович, вам тоже приходится слоняться по Киеву и наводить порядок?— Пономарев с улыбкой поглядывал на Жадановского.

— Пока бог миловал. Но если назначат, откажусь под любым предлогом.

— И напрасно, молодой человек, напрасно! — Голос у Андрея Алексеевича оказался глухим, возможно он был простужен.

— Разве вам неизвестно, что сегодня Киев объявлен на военном положении, со всеми вытекающими отсюда последствиями? Начальником охраны назначен командир 21-го армейского корпуса генерал Драке...

— Как же, как же, пока я сюда добирался, раз пять останавливали, документы проверяли, а кое-кого и обыскивали.

— Андрей Алексеевич, вчера ночью были проведены аресты, кто-нибудь из наших друзей пострадал?

Андрей Алексеевич с укоризной посмотрел на хозяйку. Ну разве можно заводить такие разговоры в присутствии посторонних? Генеральша рассмеялась.

— Ах, мой милый конспиратор! Ну разве не вы называли мою квартиру «маленьким штабом революционной связи»? Вот вам и еще одна связь, связь с молодыми, пылкими и не очень-то осторожными офицерами. Что же, осторожность, как и опыт, приходят с годами.

Ведь вы тосковали, что у вас пока одни солдаты да вольноперы, а офицеров — раз-два — и обчелся. Перед вами офицер, и один из самых лучших, доложу я вам.

Пономарев смеялся, видя, как Андрей Алексеевич пытался остановить хозяйку очень выразительными жестами. Потом не выдержал:

— Да будет вам, Андрей Алексеевич, я уже наслышан о подпоручике и уверен, что военная организация Киевского комитета сделала сегодня ценное приобретение.

Борис почувствовал себя неловко — из-за него такой сыр-бор разгорелся. Генеральша, конечно, права, если все время оглядываться да по слову на ушко шептать, так в одиночестве и останешься. Нет, он уверен — революция требует смелых людей, людей, готовых пренебречь опасностью и увлечь за собой. Именно в таком духе он и высказался. Путано, но зато пылко.

Генеральша откровенно любовалась Борисом. По лицу Пономарева было трудно понять — одобряет он или осуждает молодого оратора. Андрей Алексеевич сидел хмурый, а потом и вовсе встал и начал прощаться.

Борис тоже вскочил, ему захотелось проводить нового знакомого. Этак безопасней, тем более что сегодня в городе патрулируют саперы.

— Нет, нет, господин подпоручик, я доберусь сам. К сожалению, днем я не знал, что город объявлен на военном положении. Честь имею...

И Андрей Алексеевич растворился в полутьме коридоров.

Наступила неловкая пауза. Борис так и остался посреди комнаты. Как все глупо, нелепо получилось! Ведь Атласова пригласила его, чтобы познакомить с руководителями военной организации РСДРП, это именно то, чего им до сей поры недоставало. До сих пор они варились в собственном соку — вели среди солдат агитацию на свой страх и риск. И, конечно, с точки зрения конспирации они допускают массу ошибок...

А что хотел сказать Андрей Алексеевич, возражая Борису, когда тот заявил о своем нежелании принимать участие в патрулировании города. Что значит «напрасно»?

Невеселые размышления Жадановского нарушил звонок у входных дверей. Через минуту из коридора раздался певучий голос генеральши:

— Прошу, прошу, профессор! Вы, как никогда, кстати.

— Значит, милая хозяюшка, иногда бываю и не кстати?

В столовую вошел пожилой человек, с первого взгляда его никак уж нельзя было причислить к профессорскому клану. Сухопарый, очень небрежно одетый, с густой шапкой седеющих волос, чисто выбритый, он скорее походил на поэта-неудачника.

— Тихвинский, Михаил Михайлович. Рад познакомиться с сапером. Мы, можно сказать, коллеги. Моя специальность — взрывчатые

вещества. Вам, насколько я понимаю, приходится и взрывать, и обезвреживать взрывы?

Борис смешался. Почему этот профессор подошел именно к нему и заговорил так, словно никто за столом его не интересует?

— Михаил Михайлович, я понтонер, так что взрывы не моя стезя. Но, конечно, знаком, кончал Николаевское училище.

— Прелестно, прелестно! Буду иметь вас в виду.

Опять загадка. Но расспрашивать Борис постеснялся. Сегодня он уже выступил...

Жадановский поспешно начал прощаться. Напутствуемый хозяйкой, взявшей с него слово, что на этой неделе он непременно будет, и обязательно со своими друзьями, поспешил к выходу. Скоро комендантский час, и лучше не попадаться...

Вечерний Киев затаился. Почти не видно пешеходов. На улицах одни патрули, да у будок сдвоенные посты городовых. Около оперного театра Борис наткнулся на казачью цепь.

— Господин подпоручик, соблаговолите пройти вон в тот переулок, здесь не приказано пускать...— Здоровенный вахмистр занимал чуть ли не половину тротуара.

— Но что случилось?

— Так что, ваше благородие, бунтовщики-забастовщики глотки драли... Ну их, известное дело, рассеяли, а сей минут облава по домам. Зачинщиков арестовывают...

— Благодарю, вахмистр!

Борис вышел на Крещатик. Главная улица была ярко освещена газовыми фонарями, а в обычные дни они горели через один. Но и здесь было пусто. Впрочем... Жадановский пригляделся. Поперек улицы медленно двигались две шеренги дворников. Метлы в их руках, словно косы у косцов. И вместе с пылью, желтоватыми листьями, перелетали с места на место, раздирались в клочья, взмывали вверх сотни листовок. Иногда метла отшвыривала грубый ботинок, калошу, измятый картуз. За метельщиками шел следующий ряд. И если первый напоминал косцов, то второй воскрешал знакомые с детства картины — бредут по пахоте с лукошками сеятели и бросают, бросают в землю пригоршни зерна. Но дворники разбрасывали речной песок, который везли на трех здоровенных подводах, занявших поперек весь Крещатик.

Борис был настолько поражен этим зрелищем, что подошел к краю тротуара. И тут же к нему кинулся полицейский.

— Проходите, ваше благородие, здесь стоять не разрешается.

Но Жадановский уже успел разглядеть темные пятна на торцовой мостовой. Кровь! Значит, здесь стреляли! Может быть, и его саперы наводили винтовки на безоружных людей...

Борис круто повернулся и бегом бросился вверх к Софийскому собору.

«Стреляли! Стреляли! Стреляли!..» — стучало у него в голове. А он распивал чай и за плотными шторами генеральской столовой даже не слышал выстрелов! Какой позор!

Жадановский кусал губы, чтобы не расплакаться.

Жуков выбрался из казармы и направился на Крещатинскую. В другое бы время он обошел эту главную улицу Киева — на ней всегда полно офицеров, и солдаты не столько идут, сколько стоят во фрунт. Чуть зазеваешься — и пропал, без наряда оттуда не возвратишься.

Денщик, выросший в деревне, не мог себе и представить, что в Киеве имеется не одна, а десятки почтовых контор. А почтовую контору на Крещатике Жуков запомнил, когда ходил с Борисом Петровичем. От него и узнал, что здесь можно деньги отдать, адресок написать (если писать научишься, наставлял подпоручик), а родственники получат. Эвон как!..

Так, рассуждая то вслух, то про себя, денщик с опаской, оглядываясь, добрался до Бибиковского бульвара. На Крещатинскую не вышел, а двинулся параллельно ей, по Ново-Елисаветинской, пересек Фундуклеевскую, выбрался на Васильевскую и только собрался свернуть направо, как услышал цокот множества копыт. Оглянулся и обомлел: прямо на него во всю ширину улицы и даже по обоим ее тротуарам скакала казачья сотня!

«Батюшки свет, эндак раздавят и не чохнутся!..»

Жуков заметался, бросился вниз по Васильевской и с разбегу налетел на городового. Тот от неожиданности хрюкнул, присел, но уже в следующую секунду Жуков почувствовал увесистую руку фараона. Фуражка слетела с головы, из нее выпала заветная тряпица с деньгами и прямо под копыта лошадей...

Не помня себя, Жуков рванулся. Шарахнулись лошади, казак огрел его нагайкой. Больше Жуков уже ничего не помнил...

Он пришел в себя от криков, которые огласили Крещатик. Только теперь денщик разглядел, что на улице полно народу и все больше мастеровые. Они что-то кричат, откуда-то сверху сыплются какие-то листки...

«Господи, помоги и помилуй... пресвятая мать богородица...» Жуков привычным жестом хотел осенить себя крестным знамением и вдруг обнаружил, что в кулаке зажата тряпка с деньгами. Забыв о криках, толпе, казаках, он сделал несколько шагов, еще не понимая, где он и что с ним.

— Назад, хамская морда!

Жуков остановился и только сейчас почувствовал боль. Левый глаз заплыл, в боку словно черти цепами горох молотят... «Да что ж это такое, никак, казачьи лошади ребра переходили?»



Справа, слева, кругом стояли городовые. Казачья же сотня врезалась в толпу на Крещатинской. Здоровенные фараоны выхватывали из этой толпы каких-то людей, заламывали им руки и волокли на тротуар, сюда, где стоял и Жуков. Цепь городовых размыкалась, а потом снова, с сабельным лязгом, смыкалась, словно запирала пойманных на ржавый замок.

Жуков прислушался и стал различать отдельные выкрики.

— Товарищи! Товарищи! Не разбегайтесь! Они не посмеют стрелять!

— За шинельку, за шинельку, тяни его книзу!

— Калошами их, калошами... Господи, вот так! Вот так!

— Ой, родненький, убили, зарезали!.. Васька, Васька, да где ты, окаянный?

И вдруг, перекрывая эти крики, вопли, воздух разорвал залп. Словно лопнуло огромное полотнище...

Толпа ответила истошным воем. Заметалась, прорвала цепь городовых и жандармов. Она подхватила Жукова и понесла, потащила. А где-то сзади хлестали выстрелы. Залпов денщик больше не слышал, но россыпь щелчков раздавалась и сбоку и спереди.

Только к вечеру Жуков, растерзанный, без фуражки, с подбитым глазом и порванным рукавом шинели, добрался до Жандармских казарм. Он не осмелился в таком виде заходить в роту и решил идти прямо на Московскую, в квартиру своих офицеров.

«Они, в обчем, ничего! Не гляди, что баре, а простого человека очень даже уважают. Особливо его благородие, Борис Петрович. В прошлый раз заместо букваря книжицу какую-то мудреную читал, отчего простому люду на свете худо живется...» Слушал он вполуха, но когда о сельчанах стал читать, то все честь по чести, как на духу сказано.

Жадановский несколько раз дернул колокольчик, прежде чем ему открыли. В дверях стоял Баранов.

— Борис, что случилось? На тебе лица нет...

Не отвечая на вопрос товарища, Жадановский, не переступая порога, выпалил:

— Ты сегодня где был?

— Как — где? Ходил в казармы, потом сидел дома, обед готовил, у Жукова-то увольнительная...

— А где Зубков?

— Не знаю. Как ушел с утра, так и не появлялся. И Меркулова нет, я думал, он за тобой увязался... Кстати, Жуков еще не вернулся, а ведь у него увольнительная до 18 часов, как бы под комендантский час не угодил.

Жадановский ничего не ответил, прошел в комнату и, как был в шинели, фуражке, так и уселся на кровати.

Баранов прошел следом. Он еще никогда не видел Бориса таким расстроенным. Бледный, а в глазах застыла боль.

— Ну что с тобой? Что случилось, наконец? — Баранов так резко махнул рукой, что очки, державшиеся на честном слове, так как он недавно сломал дужку, соскользнули с носа. Борис успел их подхватить. И, может быть, это непроизвольное движение стряхнуло с него оцепенение.

— Ты слышал стрельбу? Сегодня вечером...

— Слышал, но не вечером, а днем. Ныне каждый день стреляют. А что?

— Я видел Крещатик, залитый кровью... Я разговаривал с «могильщиками»...

— Борис, Борис, очнись, какие могильщики на Крещатике?

— Да, да, все эти жандармы, городовые, дворники — они могильщики, они заметали, засыпали следы своих преступлений. У них под ногами была кровь....

— Ничего не понимаю...

В это время тихонько звякнул звонок парадного. Баранов смолк,

прислушался — может, показалось? Нет, вот опять кто-то тихо-тихо дергает ручку. Баранов бросил взгляд на Жадановского, но тот ничего не слышал. Голова его опустилась, руки бессильно уперлись в кровать.

Баранов пошел открывать.

— Где же ты, сукин сын, пропадал?

— Так что, ваше благородие, не извольте гневаться. Я, значитца, пошел до конторы, деньги на телку отсылать...

— Какую еще там телку, что ты мелешь? Господи, а фонарь кто тебе поставил? А ну дыхни, дыхни, я тебе говорю!

Услышав голос денщика, Борис встал, снял шинель, фуражку, вышел в переднюю... Вид Жукова сразу напомнил о Крещатике.

— Как это случилось, Жуков?

И денщик, путаясь, не находя слов, рассказал молодым офицерам о своих одиссеях. Жадановский слушал молча, сжав кулаки так, что ногти впились в ладони. Когда Жуков кончил, в комнату вбежал Меркулов. Шинель нараспашку. Огляделся.

— Фу ты, чтоб вас, напугали! Э-ге, милейший Жуков, ну и чудотворный же у тебя лик!..

— Кто это тебя напугал?

— Жуков, братец, поди-ка ты умойся и приведи себя в божеский вид.

Подождав, пока денщик скроется, Меркулов разделся, вытер вспотевший лоб.

— Кто напугал, спрашиваете? Да вы и напугали. Подхожу к дому — во всех окнах свет, дверь настежь... А ведь сегодня целый день я только и слышу от вернувшихся с патрулирования — на Крещатике стреляли, возле оперного казаки «лозу рубили», вокзальные бастуют. Арсенальцы митингуют, на Подоле аресты, говорят, что даже монахи из Лавры предъявили келарю экономические требования и, пока их не удовлетворят, отказываются молиться богу. Вот я и подумал, не накрыли ли уж вас архангелы?

— Не смешно!

— Да где уж там веселиться...

— Куда Зубков запропастился?

— Он сдает наряд. Наверное, сейчас явится.

Зубков явился не сейчас. Был уже первый час ночи, когда Борис Зубков тихо стукнул в окно комнаты Жадановского.

Усталый, грязный, он долго фыркал у рукомойника, испытывая терпение товарищей. Наконец, заговорил:

— Сегодня я словно заново в купели искупался. Такого нагляделся — на всю жизнь...

— Расскажи толком.

— А толком, так слушайте. Вышел я с нарядом сначала к вокзалу. Сперва на улицах было пусто. И что примечательно, ни гудков фабричных, ни рабочих, как в воскресный день. И паровозы не дымят.

Все бастуют,— рабочие, конечно. Потом, этак часикам к девяти-десяти, гляжу, появились какие-то группки молодых людей. И мастеровые, и студенты, куда же без них? Человек по двадцать-тридцать. Подходят к какой-то мастерской, а та работает. Ну, они, значит, в ворота. Я постоял с нарядом, подождал — что же, думаю, дальше будет? Солдаты мои тоже во все зенки глядят. Ну, валяйте, решил, учитесь, учитесь, мотайте на ус. Гляжу, минут через десяток из ворот возвращаются мои молодчики, а с ними и мастеровой люд. Ловко! Прикрыли мастерскую. Мастеровые кто куда, а некоторые присоединились к той группке. Я за ними. Оглядываются, но идут. Так они закрыли несколько магазинов, до смерти перепугали часовщика, отобрали у почтальонов подсумки, а почту на замок... Вышли к Бибиковскому — трамвай. Только тронулся. Не тут-то было — догнали. Остановили. Ну, а дальше форменное безобразие — давай бить стекла. Все до одного начисто порушили. Но и этого им показалось мало, откуда-то приволокли оглоблю да как шарахнут по проводам! Потом трамвай и вовсе завалили... Позже я повстречал Пилькевича — оказалось, подобное творится всюду. Подходили такие же группы и к почте, но там стояли миргородцы — известный полк, черт бы их побрал! И вот еще, полюбуйтесь! — Зубков вытащил из шинели свернутую «Киевскую газету».— Читайте!

Жадановский прочел:

«Ввиду состоявшегося соглашения издателей, редакторов, сотрудников и наборщиков газет «Киевская газета», «Киевские отклики», «Киевское слово», «Киевские новости», мы временно прекращаем выпуск газет, ограничиваясь лишь выпуском телеграмм, имеющих отношение к нынешнему освободительному движению».

— Здорово! Товарищи, так ведь это революция!

Меркулов вскочил и, видимо, собирался сказать еще что-то, но его встретили хохотом. Даже Жадановский улыбнулся.

— Открытие! Эврика, браво, подпоручик!

— Зубков, а где ты был, когда расстреливали митинг на Крещатике?

— Значит, это правда?

— Правда. Я видел, как вечером засыпали песком кровь. Да и наш Жуков в самое пекло угодил, едва ноги унес. Но он сам видел, как стреляли.

— Нас отправили на товарную станцию. Да, кстати, вы знаете, начальство не на шутку струхнуло. На усиление гарнизона переброшены в Киев два батальона Ровенского полка, эскадрон бугских драгун и конно-горный дивизион. Говорят, в конном строю идет 2-я сотня 12-го Донецкого полка...

— Товарищи, я думаю, что вооруженного восстания не миновать. И дело нашей чести привести сапер не на сторону генерала Драке, а на сторону рабочих.

Жадановский обвел притихшую компанию внимательным взглядом, словно ожидая, что кто-то будет возражать, оспаривать. Но в ответ каждый только кивнул.

Усталые, они легли спать. Завтрашний день мог таить любые неожиданности.

ГЛАВА V

Рано утром 18 октября Жадановский построил на плацу свою роту. Солдаты стояли угрюмые. Они не выспались, так как до полуночи расчищали подъездные пути, заваленные шпалами, опрокинутыми вагонами.

Глухое недовольство среди солдат уже не раз в эти дни выливалось в прямое неповиновение офицерам. В казармах были найдены листовки.

Жадановский понимал, что помимо него и его друзей среди саперов действуют и другие люди, связанные с Киевским комитетом РСДРП, его военной организацией. А может быть, это дело рук социалистов-революционеров? Сейчас трудно разобрать, кто в какой партии состоит, кому сочувствует. Даже их коммуна по своим, так сказать, партийным симпатиям неоднородна, хотя никто из них формально не входит ни в одну из партий. А почему?

Борис чувствовал острую неудовлетворенность от своей, весьма ограниченной, деятельности офицера, сочувствующего социал-демократам. Он приглядывается, с солдатами он на «вы», и теперь они уже не шарахаются от «чудного» подпоручика, признали за своего, идут к нему со своими бедами и вопросами. Просят прочесть письма из деревни. Доверяют ему свои солдатские надежды на облегчение службы и лучшую долю простого человека. А ему не терпится открыто броситься на борьбу с тем социальным злом, которое уже понятно не только офицерской коммуне, но и солдатам. Этому злу не устоять перед натиском молодых сил.

Борис задумался, забыл, что построил саперов. И понапрасну держит их на пронизывающем ветру. Им холодно. Обмундирование на них еще летнее, да к тому же драное. Будь его воля, он бы сейчас их распустил, но ротный приказал построить и дожидаться его распоряжений.

Вот, кажется, и настал тот час, когда ему предстоит решать. Или — или! Ведь, наверное, понтонеров сегодня пошлют патрулировать город. А значит и его, дежурного по роте. Отказываться! Отказаться не трудно, сославшись на недомогание. Но солдаты все равно пойдут. С другим офицером пойдут. И еще неизвестно, как они будут себя вести, если офицер, его заменивший, прикажет стрелять. А может быть, прав Андрей Алексеевич, не нужно отказываться от этих «прогулок». Во всяком случае, он не подаст команды «пли!». И солдатам

полезно поглядеть да послушать, о чем говорится на митингах. Ведь ораторы на них не казенные, свои же, рабочие.

Просматривая как-то в ротной канцелярии солдатские ведомости, он подсчитал, что среди солдат 58% рабочих, 19,5% крестьян, 16% служащих, прочих же около 7%. Эти 58% вчерашних кузнецов, слесарей, столяров — плоть от плоти тех, кто сегодня бастует и митингует, кто идет по улицам и открыто требует: «Долой самодержавие!»

— Господин подпоручик! Вас до себя их благородие, господин капитан требуют!

Фельдфебель гаркнул так громко, что Борис вздрогнул. Оглянулся. Фельдфебель стоял красный и, вместо того чтобы «есть глазами начальство», улыбался во весь рот, растопырив свои пушистые усы.

— Здравствуйте, фельдфебель! Что случилось?

— Здравия желаем, ваше благородие! Не могем знать. Но приказали немедля!

Жадановский поспешил в ротную канцелярию. Когда он уже подходил к казармам, сзади, там, где остались солдаты, послышался шум, потом несколько охрипших голосов выкрикнули «ура!».

В канцелярии полно офицеров, тут же писаря, свои и чужие, да и офицеры тоже из других рот.

— Господин капитан...

— Борис Петрович, да опустите вы руку. Поздравляю, Борис Петрович, с конституцией, пожалованной народу его императорским величеством!..

Капитан последние слова произнес уже стоя и даже, как показалось Борису, заученными фразами. «Наверное, успел уже поздравить многих».

Поздравление с конституцией в устах этого махрового монархиста звучало как издевательство, и Жадановский несколько растерялся. Он машинально пожал протянутую руку, сделал шаг назад. Его окружили поручики и подпоручики. Из бессвязных фраз он, наконец, понял, что о царском манифесте 17 октября эти люди узнали еще утром, но газет ни у кого не оказалось, ближайшая ротная канцелярия, где могли быть газеты, была канцелярия роты понтонного батальона, вот они и сбежались сюда.

За эти полтора месяца офицерская молодежь сумела оценить начитанность подпоручика, его умение отвечать точно, ясно, оценила и его логичность в споре. А ведь они не раз, эти споры, вспыхивали, когда молодые офицеры собирались небольшими группками. Естественно, их интересовало мнение Жадановского относительно конституции.

— Господа, господа, но я еще ее не читал! Одолжите газету...

— Борис Петрович, прочтете позже, я вызвал вас потому, что сегодня вы дежурный по наряду. Вам надлежит немедленно приступить к патрулированию. Ваш район: университет — площадь возле город-

ской думы. Можете в двух словах объяснить нижним чинам, что царь даровал свободы, но в подробности не вдавайтесь. Именно сегодня надлежит быть предельно бдительным. На улицах возможны нежелательные эксцессы.

Жадановский выскочил из канцелярии. Он прихватил с собой газету и теперь, на ходу, читал:

«Мы, милостью Божию...»

Хорошее начало для «конституции»!

«Свобода слова, собраний...»

Ветер рвал газету из рук. Борис успел прочесть еще пункт о созыве Государственной думы. Поздравлять солдат или не поздравлять? Что эта конституция — очередной обман, в том нет сомнений. Но как это разъяснить солдатам? А они уже знают, фельдфебель успел рассказать.

Решил, что на плацу он разговаривать с солдатами не станет. А в городе поговорит, не со всеми конечно, а с теми, на кого можно положиться.

Киев бушевал! Киев ликовал! Киев разбился на партии, группки, союзики.

Многотысячная толпа собралась на Подоле возле сквера на Александровской улице. То тут, то там слышались песни. Появились и красные флаги. Пока их еще было мало. Но вскоре над толпой заколыхались, затрепетали на ветру узкие красные полотнища на добротных древках. Оказалось, что вездесущие мальчишки догадались взобраться на дома, разукрашенные царскими флагами, ободрать с них белые и синие полосы, оставить только красные. Чем не знамена?!

И, конечно, у мальчишек на груди, на лацканах потертых пальтишек, курточек распустились первые красные банты.

С Подола и из районов вокзала, от Политехнического института и с далеких окраин на Крещатик, к Думской площади стекались тысячи людей.

Жадановского и его солдат людской поток закружил, рассеял. Вскоре Борис оказался в одиночестве. Он был со всех сторон стиснут возбужденными киевлянами. На площадь набилось не менее двадцати тысяч, и уже нельзя было пройти и по прилегающим к ней улицам. А люди все прибывали и прибывали.

Давно стоят трамваи. На их крышах удобно расселись гимназисты, студенты, даже барышень туда втащили. Балконы забиты, телеграфные столбы оккупированы пацанами. Они дерутся за место повыше, соскальзывают вниз, вновь карабкаются — гвалт стоит неимоверный.

Три часа дня.

Толпа поет. Толпа кричит. И все чаще, все настойчивее и громче слышится «Долой царя!», «Да здравствует демократическая республика!».

Жадановскому захотелось пробраться к зданию думы, с балкона которой зазвучали речи ораторов. Он тоже скажет слово солдатам, их здесь немало. Он видит и офицеров с красными бантами на бортах шинелей. Он скажет, что конституция — это обман. И... долой самодержавие.

Борис отчаянно заработал локтями, кому-то наступил на ногу, извинился... Потом наступал еще и еще, но уже не извинялся...

Вот он у входа в думу. С балкона чей-то уверенный, хозяйский голос говорил о манифесте. Ветер доносил слова и только отдельные фразы: «проклятое самодержавие», «царская ложь», «идемте все к тюрьме, освободим борцов революции».

Площадь ответила могучим ревом, задвигалась, заколыхалась. Борис понял, что опоздал, больше ораторов слушать не станут — наступило время действий. Он хотел повернуться, чтобы идти вместе со всеми, да не тут-то было! Толпа втиснула его в двери думы. Внутри, на лестнице, на площадках второго этажа, валялись сорванные со стен царские портреты, тут же стояла, причем кверху ногами, царская корона и царские вензеля, снятые с балкона. Вместо царских регалий на балконе водрузили красное знамя.

В зале толпилась масса народу. За одним столом шла запись добровольцев в народную милицию, за другим записывались в боевую дружину.

На офицера посмотрели хмуро, тем более что Борис не догадался раздобыть красного банта. Здесь ему пока делать нечего, нужно выбираться на улицу. Гул толпы теперь звучит уже тревожно.

Борис покинул здание думы как раз в тот момент, когда в толпу митингующих на полном галопе с диким гиканьем и свистом врезался эскадрон казаков.

Началась паника. Люди бросались в разные стороны и наталкивались на таких же мечущихся, шарахающихся, что-то кричащих. Но крики, свист и стоны заглушил раскатистый залп — рота солдат Миргородского полка появилась на площади так же внезапно, как и казаки.

Проклятья раненых, истерические вопли... И Борис снова увидел кровь на мостовой...

Войска окружали здание думы. Жадановский поспешил затеряться в толпе.

«Вот она, цена «свободы»! Вот она, «конституция» в монархической редакции!» — с горечью думал Борис. Но ведь это было только начало.

Поздно вечером, когда солдаты разошлись по казармам, в квартире коммунаров собрались офицеры, чтобы сообща выработать хоть какой-нибудь план действий на будущее.

Из города до них доносился неясный шум, он был похож на отдаленные всплески ветра, подвывающего в теснине ущелий. Но выстрелы, долетавшие издалека, свидетельствовали о том, что это разбушевалась не стихия, что трагедия, начавшаяся днем, продолжается.

Саперы застыли у открытого окна. Они не могли понять, что же происходит на улицах ночного Киева после дневного побоища на Думской площади?

Замбржицкий был так напуган размахом манифестаций, забастовок, демонстраций этой недели середины октября 1905 года, что подал рапорт о болезни и вот уже второй день отлеживался дома. Страх, только страх руководил всеми его поступками. И заснул подпоручик, наверное, от страха.

А проснулся оттого, что кто-то очень непочтительно тряс его за плечо. В комнате было уже темно и только в открытую дверь просачивался слабый свет керосиновой лампы, зажженной в коридоре.

— Вставайте, подпоручик, вставайте, или вы хотите проспать грандиознейший спектакль?..

— Простите, что вам надо и с кем имею честь?.. Ни черта не видно... Петр! Петр!

— Ничего, ваше благородие, сами оденетесь.

— Но я болен... И по какому праву...

Неизвестный зажег спичку, и Замбржицкий увидел склонившиеся над ним пышные усы и аксельбант, который болтался у самого его носа. «Из полиции, а может быть, и жандарм»,— с испугом подумал подпоручик.

Штабс-капитан, казалось, не слушал стенаний «больного». Он оглядел комнату и бесцеремонно подошел к большому венскому шкафу. Распахнул дверцы...

— Не богато живете, пан подпоручик! Ужели у вас это единственный штатский костюм? — Штабс-капитан снял с вешалки вполне приличную черную тройку, которой так гордился Замбржицкий.— Костюмчик не приспособлен для сегодняшнего бала, хотя вам и отводится роль только зрителя. Но в мундире на представление идти негоже...

— Да скажите же, наконец, в чем дело? Или я буду вынужден попросить вас оставить меня в покое...

— Не торопитесь, подпоручик, лучше подумайте, не найдется ли у вас какой-нибудь куртки и старых галифе. Фуражку без кокарды я видел в прихожей, она годится. Вам приказано сегодня, завтра и, может быть, даже 20-го быть на улицах.— Штабс-капитан вспомнил об открытой двери, подошел и со злостью захлопнул.— Сегодня уже начались беспорядки в еврейских кварталах, и все истинно правос-

лавные будут сводить счеты с этими христопродавцами. Но мы также знаем, что на некоторых заводах спешно сколачиваются рабочие дружины. И здесь не обошлось без участия офицеров. Вам следует приглядываться, нет ли знакомых, но в драку не встревайте... Хотя, кому я это говорю? — Штабс-капитан минуту помедлил, хотел еще что-то прибавить, но потом махнул рукой и, не прощаясь, вышел.

Замбржицкий в одном белье сидел на постели и, хотя в комнате было тепло, его трясло. «Значит, мои услуги жандармы расценивают не выше, чем услуги простого филера, ведущего наружное наблюдение! Мотаться по улицам, где идет пьяный черносотенный погром!.. Ну нет, господа хорошие, не такой дурак, этак и под пулю угодить можно... А что! За милую душу».

Замбржицкий вскочил с постели, выволок из сундука старый, пропахший табаком пиджак, такое же древнее пальто и крадучись, чтобы никто не заметил, выскользнул из дома.

На него сразу обрушился шквал звуков, столь непривычных для ночного города.

На улицах творилось что-то невообразимое. Пьяные ломовые извозчики, мясники, трактирщики, переодетые в штатское полицейские (их можно было узнать сразу) врывались в дома, и из окон летели вспоротые перины, пух, как саван, покрывал улицы, он цеплялся за потные всклокоченные волосы громил, метельно взвивался из-под ног. А из окон летели столы и комоды, стоял неумолчный звон бьющегося стекла.

И крики. Страшные, нечеловеческие крики. И нельзя было понять, кричит ли женщина или ребенок, старик или мальчик.

Подпоручик едва успел отскочить, когда из окон чуть ли не ему на голову выкинули шифоньер. Вслед за шифоньером падала девушка, почти ребенок.

Ее крик на мгновение заглушил вопли улицы.

Замбржицкий закрыл глаза, чтобы не видеть кровавого месива. Но в этот момент кто-то схватил подпоручика за воротник. Замбржицкий инстинктивно рванулся.

— А, иудина душа, врешь, не уйдешь!

Но погромщик просчитался, подпоручик от страха рванулся, побежал. А сзади вновь рассыпались горохом револьверные щелчки.

Жадановский не мог больше стоять у окна и безучастно слушать стон улицы. Было ясно — в Киеве с благословения самодержавия черносотенная «мещанская громада» учинила погром.

— Ну чего мы ждем? — Зубков со злостью захлопнул окно.

— А что ты предлагаешь? — Баранов стоял в нерешительности.

— Конечно, мы можем выйти на улицу, но ведь у нас нет даже личного оружия...

Жадановский отошел от окна.

— Нужно этот варварский погром превратить в преддверие вооруженного восстания!

— Сказанул! По-моему, наше место сейчас в казармах. Солдаты наверняка взволнованы, сбиты с толку и некоторые из них тоже не прочь оказаться среди громил. Мы должны разъяснить им адский смысл этой монаршей провокации.

— Я слыхал, что саперов сегодня запрут в казармах, на караулы поставят только унтер-офицеров. Вряд ли мы проберемся.

— Друзья, да ведь сегодня дежурят Меркулов и Пилькевич!

Действительно, как они могли забыть об этом...

Шел уже двенадцатый час ночи, но Жандармские казармы не спали. Жадановский беспрепятственно вошел в помещение своей понтонной роты. Завидев Бориса, солдаты стали подходить к нему, окружили. Борис видел их возбужденные лица и понял, что перед его приходом солдаты о чем-то спорили.

Жадановский огляделся. Далеко не все солдаты его роты в этот час оказались в казарме. Фельдфебель Лукин, в прошлом рабочий Южнорусского завода, один из немногих социал-демократов среди унтер-офицеров, показал Борису глазами на какого-то плюгавенького солдатика, которого раньше Жадановский никогда в роте не видел. Этого следовало ожидать — охранка явно засылала в солдатские казармы своих соглядатаев и они могли натворить много бед.

Между тем фельдфебель что-то сказал солдатам, и они умолкли. Один из солдат выскочил из казармы и через несколько минут появился в сопровождении дежурного фельдфебеля Коровина.

— Вот, господин фельдфебель, тут чужой...

Фельдфебель Коровин давно уже был на примете у Бориса. Но если с Лукиным они успели ближе познакомиться через Шибинскую, то Коровин держался в присутствии офицеров несколько скованно и был скуп на слова. Он никогда не дрался, не ругался и редко прибегал к дисциплинарным взысканиям. К такому стоило приглядеться.

Коровин не церемонился с замухрышкой, и через минуту того в казарме не стало. Тогда Лукин подошел к Борису.

— Ваше благородие!..

— Опять...

— Виноват, господин подпоручик! Вот солдаты любопытствуют, за что бедняков убивают, последнее барахлишко отнимают, а полиция да городовые стоят и только рожи в ухмылке скалят?..

— Господин подпоручик, как это так? С утречка под красными знаменами ходили, «ура» кричали, свободу, мол, царь пожаловал, конституцию... тьфу, пропасть! А когда кто-то из господ прохожих просил полицейских угомонить громил — те ответствовали — «не велено вмешиваться». А кто не велел? Неужто сам царь?

— Конечно, друзья мои. Царский манифест — это обман, страшный обман. На что царь рассчитывает — вот он дал конституцию, свободу собраний, слова, вчера только дал, а сегодня — погромы. Де, мол, не нужна России, русскому народу никакая свобода, никакая конституция. И бей революционеров, а заодно и евреев, армян, татар и всех, кто не православный и не верноподданный батюшки царя.

Солдаты молчали, еще у многих из них жила наивная вера в доброго царя. И многим из них еще не верилось, что царь приказал «не вмешиваться», разрешил погромы. Вот почему Жадановский и кружок революционно настроенных офицеров не были уверены в том, что солдаты могут поднять восстание, вот почему они все свои надежды связывали только с рабочими. И это было их ошибкой, их заблуждением, которое и привело к тому, что солдаты так и не поняли смысла событий. Но тогда, в этот страшный вечер и страшную ночь 18 октября, и Жадановский еще не понимал главного — как соединить силы армии и рабочих дружин в единую мощную силу, способную пойти на штурм самодержавия.

— Господин подпоручик,— Лукин отвел Бориса в угол казармы,— я когда уже возвращался, нос в нос столкнулся с подпоручиком Замбржицким.

— Замбржицкий был среди тех офицеров, которые командовали солдатами, охранявшими погромщиков?

— То-то и оно, Борис Петрович, что подпоручик был как бы вне себя. Да и не при мундире, а в пальтах и фуражечке. И сдается мне, он никак отдышаться не мог. Я, знамо дело, его не приветствовал, тем паче услышал разговор двух каких-то, видно фабричных. По ихнему получается, что подпоручик наш бежал от громил, а те за ним гнались, да на ребят из рабочей самообороны напоролись. Ну, знамо, ребята их из револьверов шуганули. Ума не приложу, вот и решил вам рассказать.

— Подпоручик, говоришь, был в штатском?

— Этакое захламленное обличье у пана подпоручика было, что я и то едва признал, а глаза, как у неживого.

— Послушайте, Лукин, а ведь громилы его, наверное, за еврея приняли, не иначе.

— Ваша правда, очень он даже походил, но с чего бы ему переодеваться понадобилось?

— И я об этом думаю. Вот что, на всякий случай предупреди, кого найдешь нужным, чтобы при подпоручике меньше высказывались. Сейчас у нас в казарме языки развязались и это, конечно, хорошо. Но и шпиков в казарме тоже порядочно, да и среди офицеров найдутся.

— Это точно, Борис Петрович. Вроде того плюгавого, что сейчас Коровин погнал. По шеям бы надобно было наложить. Думаю, Коровин не сплошал.

— Еще одна просьба: надо завтра же газеты в казарму принести, особенно «Киевское слово», там, наверное, сегодняшние злодеяния как следует распишут.

— Навряд ли, Борис Петрович, знакомые типографские сказывали, что бастуют они.

— Забыл. Ладно, о газетах я постараюсь позаботиться сам, а вы, Лукин, поговорите с теми из солдат, которые совсем запутались с этим манифестом.

— Всенепременно, Борис Петрович. Разрешите идти?

— Идите, Лукин. До свидания.

19, 20 и даже 21 октября погромы в Киеве не утихали. Газеты не выходили, а слухи были самые противоречивые. Говорили, что только 19 октября было убито и ранено 170 человек, разгромлено более 500 квартир, мастерских и лавок. Черная сотня работала вовсю не только в Киеве, но и по всей России.

Жадановский и его друзья несколько растерялись. С одной стороны, эти страшные погромы, с другой — новая волна стачек и забастовок.

В октябре эти стачки достигли размеров единой всероссийской, и бастовали не только рабочие, забастовкой были охвачены чиновники и учителя, артисты и почтово-телеграфные служащие. Иногда доходило и до курьезов. Большевистская листовка рассказала о «стачке» полицейских филеров,— и они предъявили требование — повысить оплату за всякого выслеженного революционера!

Несколько дней назад, когда Борис встретился с Андреем Алексеевичем на конспиративной квартире, которую содержит сапожник Подградный, неподалеку на Московской улице, тот предупреждал об опасности кровавой расправы черной сотни со всеми неугодными ей лицами. Явочную квартиру указал ему тот же Андрей Алексеевич, когда они познакомились поближе и когда осторожный Андрей Ванновский (такова была фамилия Андрея Алексеевича) убедился, что молодой саперный офицер хотя и горяч и в голове у него бродит хмель героизма одиночек, но, безусловно, предан идее революции и ради нее готов идти на любое испытание.

Сейчас Борис решил во что бы то ни стало вновь повидаться с Андреем Алексеевичем, получить от него более точные инструкции относительно того, что же офицеры должны делать дальше.

Перед тем как отправиться на квартиру к Шибинской или генеральше, где, как он знал, часто бывает руководитель военки, Жадановский зашел в казарму. Он обещал подменить на дежурстве Зубкова.

К своему удивлению, в казарме он застал человек десять саперов, рассевшихся на двух койках и слушавших восседавшего на табурете



какого-то дядю в домотканом размахае, в стоптанных сапогах. Что-то знакомое почудилось Жадановскому в лице этого крестьянина, когда тот обернулся на скрип дверей.

«Неужто он?» — Борис вспомнил фотографию, которую недавно рассматривал капитан Смирнов и которую тут же спрятал, завидев подходившего подпоручика. Но Борис успел разглядеть и лицо и, главное, подпись под фотографией, сделанную крупным четким писарским почерком «Федор Николаевич Петров». Именно потому, что Смирнов так поспешно сунул карточку в карман, Борис понял — на ней запечатлен отнюдь не родственник...

— Кто такой?

— Так что земляк ко мне приехал, господин подпоручик,— ответил вскочивший с койки солдат Григорьев. Жадановский знал, что Григорьев коренной киевлянин, и это еще больше укрепило его в убеждении, что сей крестьянин здесь не просто гость.

— Прошу пройти со мной.

Крестьянин нехотя сполз с табурета и проследовал в караульное помещение. Теперь Борис разглядел непрошеного посетителя. Конечно же, это Петров, зрительная память у Бориса была очень цепкой.

— Неужели вам самому надо приходить сюда? Разве нельзя сделать иначе?

«Крестьянин» удивленно поднял брови.

— За вами тут охотятся, ваши приметы известны некоторым офицерам, да и фотокарточка ваша имеется, Федор Николаевич!

— Если вы меня знаете, господин подпоручик, то, наверное, известна и моя фамилия?

Интеллигентная речь крестьянина рассеяла сомнения Бориса.

— Я знаю только, что вас зовут Петровым Федором Николаевичем...

Достаточно было произнести эту фамилию вслух, как Жадановский вспомнил, что Андрей Алексеевич говорил о Петрове — одном из руководителей Киевской социал-демократической организации, называл его старейшим членом партии. Именно с Петровым и хотел его познакомить Ванновский.

— Федор Николаевич, прошу вас поверить мне на слово, я ваш друг и единомышленник, прошу вас скорее покинуть казарму. Вас тут давно ищут. Я очень рад знакомству и хотел бы поддерживать его в дальнейшем.

— Не возражаю,— просто ответил крестьянин.

Договорились встретиться завтра же у памятника Владимиру — крестителю Руси.

Собираясь на свидание, Федор Николаевич мысленно корил себя за необдуманно назначенное место встречи. Эта горка неудобна тем, что если за тобой следят филеры, то не уйти — в гору ведет всего одна

узенькая тропка, а крутой обрыв к Днепру зарос непроходимым кустарником. Да и вряд ли удастся поговорить по-настоящему, кругом люди и среди них «подметок» более чем достаточно.

Подпоручик явился минута в минуту, но сразу не подошел. Пропустил вперед какого-то офицера с дамой, едва откозыряв, и только тогда, когда парочка скрылась за поворотом, направился к Петрову.

— Давайте отойдем в сторону, мне бы не хотелось, чтобы поручик, только что прошествовавщий мимо нас, заметил...

— М-да, ну и местечко мы избрали... Но делать нечего. Вам известно мое имя, а мне ваше нет.

— Жадановский, Борис.

— Уж не скрывайте, как вас по батюшке?

— Петрович.

— Так вот, Борис Петрович, вы вчера меня озадачили. Признаюсь, были у меня и скверные мысли насчет того, что вы пытаетесь через меня проникнуть в наши партийные организации — видите, я не скрываю...

Жадановский покраснел, смешался. Он не ожидал, что его поведение может быть расценено и так. Ну и поделом! Этот умудренный революционер преподнес ему еще один урок конспирации. Словно угадав мысли Бориса, Петров с хитрой улыбкой развел руками, как бы приглашая оглядеться вокруг.

— Хотя здесь, на этой Владимирской горке, издавна бытует партийная явка, во что трудно поверить, для продолжительной же беседы место не самое лучшее.

Борис эту откровенность понял как приглашение к разговору. Он рассказал о себе и о своих друзьях, беспартийных революционерах. Не таясь, поведал об их общем желании связать себя с партией.

— Э, молодой человек, в России много партий, а теперь будет и еще того более. И не все даже социал-демократы одинаковы. Вы небось слыхали о большевиках и меньшевиках. Так и те, и другие эсдеки, да выглядят по-разному... Но, право, давайте серьезный разговор перенесем в более удобное место.

— Я знаю такое — на квартире генеральши Атласовой.

— Вы знакомы с милейшей докторшей? Ну что же, я ведь тоже не чужд медицине и посему вхож к генеральше. Но на сегодня хватит, познакомились, поверили друг другу — и это много, право, очень много.

ГЛАВА VI

Профессор Тихвинский нагрянул средь бела дня. Борис был дома, «коммунары» в казармах, а Жуков ушел к землякам.

— Борис Петрович! Принимаете?

— Но профессор...

— Вас интересует, нет ли за мной жандармского хвоста? Как будто нет, хотя я потому и торопился к вам, что эти хвосты не дают мне работать и из Киева придется уезжать.

— Все же неосторожно!

— Знаю, но другого выхода не было. Я на несколько дней отбываю в Питер и не позже, чем в девять вечера сегодня же, а до того хочу проехаться с вами на опытный сельскохозяйственный участок Политехнического института.

— Но, право, профессор, сейчас уже ноябрь и на участке ничего не растет, кроме жухлой ботвы и сорняков.

— Конечно, конечно, Борис Петрович, ни огурчиков, ни помидорчиков или там тыквы, редиски, баклажанов мы не обнаружим. «Студентиозусы» — народ вечно голодный, все подобрали и давным-давно слопали. Но есть там небольшая сторожка. Так вот именно в ней и выращивают самые удивительные овощи.

Борис понимал, что профессор говорит загадками не случайно. И не следует сейчас задавать вопросов, но не утерпел.

— Но какое отношение может иметь саперный офицер к сельскохозяйственной продукции?

— К той, что выращиваю я, — самое непосредственное. Только, господин саперный офицер, вам не мешает сменить обличье. Надеюсь, у вас найдется штатский костюм?

Борис растерянно посмотрел на Тихвинского. Штатского костюма у него не найдется, да и к чему он ему? Тихвинский, не ожидая такого оборота, задумался.

— Может быть, костюм есть у кого-либо из ваших друзей? Я слышал, вы коммуной живете.

— Да, у Меркулова есть штатский костюм, но...

— Понятно. Вот ведь незадача. А в шинели с погонами вам действительно нечего делать на грядках опытного участка.

— Знаете, профессор, у меня сохранилась старая кадетская шинелька. Она уже трепаная-перетрепанная и без погон, да и пуговицы оторвались.

— Гм! За неимением... Но разве она вам не мала?

— А я, к сожалению, не расту.

— Переодевайтесь!

Через полчаса они уже сидели в закрытой пролетке. Извозчику указали маршрут, на котором вряд ли попадутся патрули. Встреча с ними была бы для Бориса катастрофой. Но, как говорится, бог миловал. Доехали благополучно.

Опытный участок производил унылое впечатление. Голая земля, местами чуть прикрытая пожухлой желтовато-сизой ботвой. От дождей грядки превратились в черноземную грязь. Вокруг пусто, и только ветер здесь хозяйничает, как ему заблагорассудится. Посреди участка торчит неказистая сторожка. В ней всего одна комната да малень-

кая кухонька. Но Бориса поразила обстановка этой убогой сторожки. Через всю комнату тянулись длинные столы и только у стен оставались узкие проходы. На столах какие-то колбы, реторты, змеевики. А на кухне, рядом с плитой, водопроводный кран, раковина. Меньше всего Борис рассчитывал увидеть здесь водопровод — это удивило больше, чем загадочные колбы.

— Борис Петрович, времени у нас в обрез, так что буду краток. Это и есть бомбовая мастерская, святая святых нашей военной организации.

Здесь не только приготовляется взрывчатка и выращиваются некие овощи в виде симпатичнейших бомбочек, но в этой мастерской, под руководством опытнейших химиков, учатся несколько молодых людей. Их покой охраняют студенты. Кстати, вы, наверное, и не заметили этих стражей?

— Признаться, нет...

— Оно и понятно. Сейчас осень и на огородах делать нечего. Летом же студенты, из числа тех, кого мы привлекаем к нашему делу, копаются себе в грядках, работают на сельскохозяйственных машинах, но зорко поглядывают по сторонам. К сторожке незамеченным не подойдешь — вокруг ни кустика, ни рощицы. А вот осенью стражам приходится несколько хуже. Сидят в копнах, вон эти копешки сена, видите.

Борис глянул в окно и действительно увидел, что вокруг сторожки стоят несколько копен сена. Но людей он так и не заметил.

— Сейчас здесь пусто. Ученики и учителя уехали. Новую бомбу из панкластита испытывают.

— Из панкластита? Признаюсь, подрывное дело я в училище изучал достаточно, но о панкластите слышу впервой.

— И не могли слышать, Борис Петрович. Я изобрел эту взрывчатку и изготовил первую ее партию только неделю назад.

Теперь Борис вспомнил свою первую встречу с профессором у генеральши Атласовой, вспомнил, как Тихвинский обрадовался, узнав, что имеет дело с сапером. Ужели он собирается на время своего отсутствия поручить ему заведование бомбовой мастерской? Как бы угадав мысли Жадановского, профессор успокоил его.

— Борис Петрович, я хочу, чтобы вы прочли нашим «слушателям» несколько лекций по взрывному делу. Предвижу, в грядущих боях придется нам не только метать бомбы, но и подрывать неприятельские укрепления, мосты, железнодорожное полотно. А кто же лучше саперов знает все эти премудрости.

— Я готов, профессор, могу начать хотя бы завтра.

— Нет, дорогой мой коллега, завтра меня уже не будет здесь. Так что мы сегодня и покончим с формальностями. Скоро вернутся наши бомбисты, я вас представлю, а там уже договаривайтесь сами.

Действительно, не прошло и получаса, как в сторожку по одному

стали заходить какие-то молодые люди. Увидев Тихвинского — почтительно здоровались и молча рассаживались на табуретах, стоящих около столов.

Последним в сторожку вошел пожилой человек. Посмотрел на Тихвинского, пожал руку. Было заметно, что профессор при виде этого человека весь подобрался и с плохо скрываемым беспокойством спросил:

— Илья Иванович, ну и как?

— Превосходно. Все наши расчеты и самые смелые предположения оказались превзойденными. Взрывная сила вдвое большая. Так ахнуло, что и нас в разные стороны раскидало. Дерево с корнем. Воронка, как от снаряда тяжелого калибра.

Ученики словно ждали этих слов. Заговорили разом.

— Я всю обратную дорогу с перепугу заикался.

— Наше счастье, что она, окаянная, стукнувшись о ствол, отлетела в сторону, не дай бог, упала бы ближе к нам — крышка, гроб!

— Товарищи, товарищи, минуточку внимания.— Тихвинский поднял руку. Сейчас он действительно походил на профессора, который требует тишины, чтоб начать лекцию.— Сегодня я привел сюда нашего единомышленника, саперного офицера. Он прочтет вам несколько лекций по подрывному делу и проведет практические занятия. После этого будем считать, что курс вашего обучения завершен, и вы разъедетесь кто куда. Из Петербурга торопят, там позарез нужны специалисты.

Илья Иванович перебил.

— Простите, профессор, но эти «специалисты» пока еще опасны только друг для друга и бесполезны в деле изготовления бомб. Пользуясь случаем, хочу публично пожаловаться на учеников — они лихачи какие-то, сливают кислоты на глазок, с гремучей ртутью обращаются так, словно это сладкое желе. У них 80 шансов из 100 первыми отправиться к праотцам. Их еще учить да ругать нужно. Только боюсь, я не успею, взорвут и себя, и меня.

Тихвинский нахмурился.

— Илья Иванович, что случилось?

— Э, да что там говорить. Не далее как вчера зарядили пироксилином оболочку, вставили запал. Михайлов сконструировал. Осталось обмотать бомбу проволокой, для прочности. Тут-то и нужна была сугубая осторожность. А «изобретатель» этак по-ухарски поет себе какую-то разудалую песню, да и наматывает, да и поджимает. И вдруг слышу, внутри бомбы что-то легонько треснуло. Все ясно — стеклянная трубка. В ней кислота. Кислота сейчас капнет на бертолетову соль. Бомба рванет, а от детонации рванет и наша сторожка, ведь она начинена взрывчаткой по самую притолоку. Михайлов так и застыл. Господа ученики брюхом полы утюжат. Обошлось. Трубка только треснула, капля кислоты зависла на стекле.

«Милое дело,— подумал Борис,— с такими учениками дорога в рай и впрямь сократится вдвое».

С лекциями Борис управился быстро. А вот организовать «практические занятия» ему так и не удалось. События помешали.

Россия тружеников митинговала и бастовала. Русские социал-демократы — большевики готовились к решительным схваткам с царизмом. Сколько ни была бы мощной волна забастовок, стачек, уже октябрь показал, что без вооруженного восстания нельзя сбросить самодержавие.

Перед большевиками стоит один кардинальный вопрос — на чьей стороне будет армия. Пока армия на стороне царизма — восстание обречено на провал. Киевский комитет РСДРП усилил работу в войсках и особенно среди саперов.

Теперь уже Борис не чувствовал себя одиноким, действующим на собственный риск и страх. Правда, он еще не очень-то разобрался в ожесточенных спорах, которые разгорались между меньшевиками и большевиками. Но уже по одному тому, что большевики выступали за вооруженное восстание, симпатии Бориса были на их стороне.

В саперных батальонах с каждым днем нарастало недовольство «нижних» чинов службой, казарменным бытом. То обед солдатам приготовят из тухлого мяса, в другое время саперы просто не стали бы есть, а теперь каждый, даже самый забитый солдат знал, как ответили на червивый борщ матросы броненосца «Потемкин».

Только успокоились после волнений, вызванных недоброкачественной пищей, пришло волнующее известие — 26—28 октября в Кронштадте военные моряки выдержали целое сражение с царскими войсками. Восстание подавлено, матросов ожидает расправа. Но в Киеве стало известно, что рабочие Петербурга потребовали отмены военно-полевого суда и объявили забастовку протеста.

А через несколько дней солдат взволновали вести из далекого Владивостока. Похоже, там тоже началось восстание гарнизона, частично укомплектованного из солдат, только что вернувшихся из Маньчжурии, после бесславной войны с Японией.

Ноябрь месяц называли «месяцем солдатской революции». И действительно, 14-го восстание в Севастополе, в тот же день забастовали артиллеристы Гродно. 15 ноября «Киевские новости» напечатали требования артиллеристов, предъявленные начальству.

Газета нарасхват. Об этих требованиях только и разговоров в саперных казармах.

16 ноября Баранов пришел домой в страшном возбуждении.

— Вы тут, голубчики, прохлаждаетесь. А знаете ли, что сейчас выкинула 3-я рота понтонеров?

Жадановский поперхнулся чаем.

— Не знаете? Солдаты ведут дело к бунту. Да, да, сами ведут, без вас, господа офицеры! Явились из Никольских казарм, куда ходили в полном составе, и давай им ротного.

— Как, в полном? Да ведь там, в Никольских казармах, сразу на всех и еды не хватит, приготовить не сумеют.

— Вот, вот! На это солдатики и рассчитывали. Ужина не хватило. Значит, можно поднять «волынку», вызвать офицеров.

— Не понимаю, зачем им понадобились в таком случае офицеры?

— Ай, ай, какой недотепа! Да в Киевском гарнизоне уже два дня только и говорят, что о требованиях гродненских артиллеристов. А солдаты думают, что наше начальство газет не читает, об этих требованиях ничего не слыхало.

— А вот как буза начнется, офицеры явятся. Им тут и зачитают.

— Когда я домой собрался, каптенармус Трубицын из газеты требования переписывал. Я через плечо заглянул: «во-первых, одежда плохая, во-вторых, не выдают чаю и сахару, в третьих, судков нет, в-четвертых, задерживают выдачу жалования и денежные письма, в-пятых, рота просит командира на совет, а он не идет...»

— Но ведь это черт знает что! — Жадановский выскочил из-за стола.

— Мы рассчитывали на восстание рабочих. Да, да, рабочих. Солдаты к восстанию, к сознательной борьбе пока еще не готовы.

— Боренька, они тебя о готовности не спросили, а взяли да взбунтовались.

— Но это же гибель. Это провал!

Конечно, провал. Как ни молоды были «коммунары», сколько бы они ни жаждали подвигов во имя революции, но и они прекрасно понимали, что возможное восстание саперов — это только небольшой эпизод в начале великой борьбы за свободу. И пусть оно обречено на неудачу, оно необходимо.

Говорить было не о чем. И никто больше не притронулся к чаю. Пузатый самовар пофыркал, пофыркал и остыл.

Было уже около двух часов ночи. Третью роту сморил сон. Никто в эту ночь не дневалил, никто не скомандовал — «Отбой». И всюду горел свет. Солдаты расселись по своим койкам. Кто-то откинулся на подушку, иные клевали носом, вздрагивая каждый раз, когда в коридоре раздавались шаги.

Ровно в два, когда, казалось, никто уже больше не заглянет в казарму, застучали приклады, послышался четкий перестук каблуков.

— Ротный! — Крик оборвался. В казарму вошел в сопровождении патруля штабс-капитан Смирнов.

Проснулись дремавшие. Кто-то вскочил и по привычке вытянулся. Но большинство солдат остались сидеть на своих койках.

Штабс-капитан молчал. Но потому, как налились кровью его глаза, солдаты поняли, их благородие на пределе и, видимо, прежде чем направиться в непокорную роту, он выпил для храбрости. И теперь гнев, ярость, хмельная злоба сковали его язык. От Смирнова в этот момент можно было ожидать всего чего угодно. Патрульные попятились к двери.

Штабс-капитан так и не проронил ни слова, крутанул на каблуках и вылетел из казармы.

С минуту стояла тишина.

— Чистый аспид. Черт из преисподней.— Казарму прорвало. Все разом загалдели, заговорили и поэтому никто не обратил внимания на вестового. Стараясь перекричать орущих солдат, он даже покраснел от натуги.

— Кучеренко, Степанов, Прокопенко — к ротному живо!

— Ну, ребята, не выдавай.

— Вестимо, не выдадим!..

— Вы ему там все и объясните!

— Особливо про робу.

— Роба, шут с ней, все одно казенная, а вот харчи...

— Вы ему, живодеру, от обчества заявите, де, мол, не желаем, чтобы он ротным был.

И сразу казарма стихла.

Обмундирование, еда — все это не выходило за рамки требований, которые предъявлялись солдатами в этом беспокойном 1905 году.

Но сместить ротного?!

— Ну, братцы, заварилась каша. Идол ротный, гляди, хочет нас арестовать. Ежели мы ему нужны, нехай собственной персоной в роту пожалует. Так и передай его благородию. Иди, иди, вестовой, докладывай!

Придет ротный или не придет?

Нет, не пришел. Зато вновь прискакал вестовой.

— Так что всем троим до канцелярии приказано явиться.

— Ты, холуйская морда, а ну, говори, штабс-капитан патруль задержал?

— Не, отправил. Но лют дюже. Мне за вас, варнаков, промеж глаз врезал!

Когда солдаты вошли в ротную канцелярию, Смирнов набросился на них с площадной бранью.

— Бунтовать вздумали! Скоты! Сгною на каторге. Смирно! — захлебнулся штабс-капитан, заметив, что Кучеренко с бумагой в руках сделал шаг в его сторону.



Кучеренко, спокойно, с достоинством и не обращая внимания на беснующегося ротного, стал зачитывать пункт за пунктом солдатские требования.

Это вконец распалило Смирнова. Он прохрипел:

— Начальством не довольны? Отказываетесь государеву службу нести? Вам и командир роты не подходит, разжаловать меня, сукины дети, хотите...

— Так точно, ваше высокоблагородие, рота не желает иметь вас своим командиром.

Ротный командир рванул из кобуры наган:

— Под арест мерзавца! На колени! Застрелю!

В казарме услышали голос Кучеренко:

— Хлопцы, выручайте!

В казарме началось что-то невообразимое. Шум из ротных помещений ворвался в ротную канцелярию. Штабс-капитан Смирнов струхнул. Хлопнул дверью. И еще долго на улице раздавались его проклятия.

Фельдфебель, сопровождавший ротного, появился в спальне:

— Ротный приказал сказать, что арест отменяется, потому что нету местов для арестованных.

— Братцы, у нашего героя животик подвело.

— Медвежья болезнь, знамо, враз в берлогу загонит.

— Вот что значит всем миром. Обчество великая сила!

— Эй, хлопцы, на том свете отсыпать будете, а теперь нам надобно в оба глядеть, как бы начальство на кривой не объехало.

В эту ночь 3-я рота так и не успокоилась.

17 ноября чуть свет в казарме появился подполковник Гласко.

— Фельдфебель, строй роту!

Саперы неторопливо поднимались с коек. Выстроились кое-как. Но подполковник сделал вид, что не заметил вызывающего поведения солдат.

— Фельдфебель, назначай в караул.

Фельдфебель Коровин переминался с ноги на ногу, стоял красный. Потом, забыв о чинопочитании, буркнул:

— Так что не хотят идти в караул.

— Что ты сказал?

— Не пойдем в караул!

— Хватит над нами издеваться.

— Караул, слушай мою команду, два шага вперед, ар-ш!

Не дружно, вразброд, но назначенные в караул солдаты вышли вперед. Еще минута, и настроение роты переменится, верх возьмет привычка к подчинению.

— Рота, два шага вперед, ар-ш!

Подполковник так и не заметил, кто подал команду. Но рота четко, как на учениях, сделала два шага вперед, и назначенные в караул солдаты снова очутились в общем строю.

Целый день в Жандармских казармах царило оживление.

Офицеры куда-то подевались, солдаты шмыгали из роты в роту. К вечеру, когда прибыл командир бригады полковник Немилов, нервы у всех были взвинчены до предела.

На приказ построиться солдаты ответили отборной руганью. Немилов, растерянный, стоял посреди двора. В голове билась трусливая мысль: «Вот сейчас какой-нибудь ненормальный схватит винтовку и пальнет. Да, да. Теперь им только и осталось — стрелять по начальству».

Немилов круто повернулся и чуть ли не бегом бросился в канцелярию.

Борис в этот день не находил себе места. Бунт в 3-й роте застал кружок офицеров врасплох.

Что же делать?

Уже день клонится к вечеру, а офицеры так и не определили

своего отношения к событиям в роте. Коммуна разбрелась по своим комнатам и каждый делал вид, что занят чем-то очень важным, но все думали только об этом.

Стук в дверь.

Жуков посмотрел на Жадановского.

— Откройте!

В комнату вошел Ванновский. Не здороваясь, не присаживаясь, он с порога заявил:

— Завтра восстание саперной бригады.

— Как — завтра? Вы с ума сошли. Но мы не готовы. Нет плана.

— Мы тоже не готовы. События перехлестнули через нас. Сегодня вечером на Московской, 31, прошу быть обязательно. А пока обдумайте свои варианты.

ГЛАВА VII

Было уже очень поздно, когда совещание закончилось. Его участники по одному и парами покидали квартиру сапожника.

Ночь выдалась по-осеннему темная, моросил противный холодный дождь. Порывы ветра то и дело распахивали полы шинели, швыряли в лицо пригоршни брызг. Но Борис не замечал ненастья, темноты. Он спешил домой к друзьям. В эту ночь им уже не придется спать. Хотя на совещании и был выработан приблизительный маршрут движения вооруженных солдат по улицам Киева, но именно приблизительный. И теперь ему, «командующему на случай столкновения с правительственными войсками», надлежит продумать этот маршрут в деталях.

— Борис!

Жадановский вздрогнул от неожиданности и мысленно обругал самого себя. Задумался «командующий». А надо было идти и приглядываться к темноте. Хорошо еще, что окликнул его Меркулов, а не жандармский патруль.

— Что случилось, почему ты здесь?

— Случилось, не случилось — об этом потом. Я окликнул тебя потому, что ты напоминал лунатика, а ведь луны и в помине нет. Тебя шатает из стороны в сторону, идешь, бормочешь что-то. Я за тобой уже минуты две-три следую.

— Ты прав, я веду себя неосмотрительно. Давай-ка немного попетляем по улицам и переулкам, а потом пойдем домой.

— Ты это сделай обязательно и собственные следы хорошенько проверь, а я спешу, в казарме там, брат, такое творится, прямо командуй: «в ружье и на штурм!»

— Погоди, я прямо с совещания и в казарму не заглядывал.

— Фью! Наши солдатики продолжают бастовать. Разобрали

ружья, патроны, дневальных выставили. Но ты мне не сказал, если это не секрет, конечно, что решили делегаты воинских частей?

— Жаль, что не был, но от тебя секретов нет. Завтра утром выступаем. Постараемся поднять пехоту и артиллеристов. Саперы, наверное, уже знают о решении выйти на улицы, к ним должен был зайти фельдфебель Коровин и оповестить.

— Что ж, в добрый час! Может быть, я так и не вернусь домой. Тогда до утра. Но и ты не ляжешь?

Меркулов исчез в каком-то переулке.

Борис прошел мимо своего дома. В окнах коммуны горел свет. Значит, Зубков или Баранов уже дома. Это хорошо. Они ушли от Подградного раньше, чем он. Нужно все обсудить, отработать, так сказать, диспозицию. Друзья помогут. Жадановский задумался и не обратил внимания на то, что кто-то в нахлобученной на лоб фуражке обогнал его и скрылся в парадном.

Борис не сомневался — выступить нужно, но восстание требует серьезной подготовки — политической и военной. Об этом пишут в большевистских газетах. Даже планы, применительно к конкретным городам, предлагают. А тут — никаких планов, так — «маршрут надежды». А надежда на то, что к саперам присоединятся пехотинцы, артиллеристы, казаки. Надо прямо сказать, надежда не велика.

Рабочие присоединятся — вот это вполне реальная сила. Но ведь рабочие не имеют оружия. И если произойдет столкновение с правительственными войсками, несколько тысяч безоружных людей будут только помехой саперам.

И все равно — отступать нельзя. Пусть завтра его ждет гибель. Ну и что? Революция — это та же война, только гражданская, а на войне не бывает без жертв. Но если эти жертвы принесены во имя великой цели, то они зовут на борьбу, а не на панихиду.

Замбржицкий в эту ночь на 18 ноября «случайно» оказался невдалеке от дома Жадановского на Московской улице. Перспектива провести ночь на киевских улицах ему мало улыбалась. Даже его необжитая комната в эту холодину казалась желанным приютом. Замбржицкий поднял воротник, надвинул на глаза фуражку, засунул руки в карманы, сгорбился.

Свернул на Московскую и услышал:

«...Завтра утром выступаем. Постараемся поднять пехоту и артилл...» Ветер отнес конец фразы. Но Замбржицкий узнал голос Жадановского. Потом другой голос:

«Тогда завтра утром в роте и встретимся...» И тоже знакомый голос, но чей? Он подождал, пока офицеры разошлись в разные стороны. Неизвестный свернул в переулок, а Жадановский пошел дальше по Московской улице. Стараясь ступать как можно осторожнее, Замбр-

жицкий двинулся за Борисом. Ошибиться он не мог, голос был Жадановского. Правда, очень темно и трудно что-либо разглядеть, но впереди явно Борис, его легко можно признать по невысокому росту. Самый маленький офицер в гарнизоне. Замбржицкий все же решил убедиться, что идет за Борисом — это сделать нетрудно. Если это Борис, то он должен войти в парадное следующего дома. Но офицер прошел мимо. Замбржицкий всполошился, прибавил шаг, обогнал впереди идущего офицера и, нырнув в первый же подъезд, быстро оглянулся. Жадановский. Сомнений нет! Но странно, почему он спускается по Московской. Скоро Замбржицкий потерял из виду Жадановского, но слышал его шаги. Но вот смолкли и шаги.

«Что за наваждение? Куда это его понесло в первом часу ночи?» Замбржицкий хотел уже выйти из подъезда, когда вновь услышал шаги. Теперь они приближались. Нетрудно было догадаться, что Жадановский, чего-то опасаясь, на всякий случай «очищается». Замбржицкий усмехнулся, знакомство с жандармами обогатило его лексикон. Но он тут же погасил усмешку — если Борис действительно опасается слежки, то насторожен, значит, мог заметить, как он его обогнал и юркнул в подъезд. Менее всего ему сейчас хочется встретиться с Жадановским.

Но опасения Замбржицкого оказались напрасными.

Тогда подпоручик вспомнил услышанную фразу о завтрашнем выступлении. Она означала только одно — солдаты покинут казармы и с ними будут офицеры вроде этих Жадановского, Пилькевича и их дружков.

Замбржицкий выбрался из парадного и осторожно подошел к освещенному окну в комнате Жадановского.

Подпоручик хорошо запомнил это окно. Именно в нем он увидел Жадановского в тот несчастный день, когда вылетел из пролетки и принял бой с мальчишками.

Сейчас окно закрыто, а по стеклу стекают ленивые ручейки дождевой воды. Они создают причудливое преломление предметов, которые находятся в комнате. Холостяки-офицеры не позаботились даже о занавесках.

В комнате было тепло, на столе уютно посвистывал самовар. Борис, напившись чаю, почувствовал, что устал и страшно переволновался за этот день. Его клонило ко сну.

А спать нельзя. Да если бы он и прилег, то, наверное, не уснул бы, это только так кажется, что сейчас нет ничего желаннее сна.

Какой уж тут сон!

Баранова и Зубкова даже знобило от нетерпения. Сколько, наконец, можно пить чай, это просто издевательство — по-московски тянуть с блюдечка и так неприлично чмокать от удовольствия.



— Ладно, вижу вы уже слюной изошли. А ну, где там план Киева, помните, в первые дни приезда купили.

— Жуков в него селедку завернул.

— Ты с ума сошел.— Борис даже вскочил из-за стола. И сонливость слетела. Ему показалось, что вот теперь действительно все пропало, если нет плана города.

Зубков и Баранов смеялись... Уж очень комичное зрелище представлял сейчас этот разомлевший от чая и жары полководец.

Им все было известно, кроме плана демонстрации. Борис успел сказать, что после чая они должны наметить маршрут движения саперов. Ну, а селедка — это месть за долгое чаепитие.

Баранов сжалился, достал с этажерки план Киева. Это была литографски хорошо выполненная, многоцветная и даже понорамная карта. Баранов хотел было развернуть план на столе, но для этого нужно было унести чашки, самовар, сахарницу... Зубков достал кнопки, приколол план к стене.

Замбржицкий понял, что топтание под окном никаких новых сведений ему не даст. Потом не видно Меркулова. Теперь Замбржицкий догадался — это Меркулов разговаривал с Борисом на улице. Второй час ночи, завтра, вернее, уже сегодня, выступят саперы, в этом не может быть сомнения, а он притаился у окна. Нужно бежать, предупредить начальство. Именно сейчас, ночью, это произведет эффект. И когда с бунтовщиками расправятся, вспомнят и о нем. Замбржицкий вплотную подошел к окну, чтобы, на всякий случай, убедиться хотя бы в том, что главные зачинщики на месте и гоняют чаи... Дождь прошел, по стеклу уже не струятся мутные ручейки, кое-где образовались островки чистого стекла и можно отчетливо разглядеть все, что делается в ярко освещенной комнате.

Подпоручик прилип к окну, забыв о возможных последствиях. Прямо, напротив, на стене висит план Киева. Замбржицкий узнает знакомые направления улиц — Киев он знает хорошо. У плана в позе Наполеона стоит Жадановский. Право, он очень похож сейчас на императора французов, так же невысок ростом, так же заложил левую руку за борт мундира, да и профиль у него такой же резкий, острый. Вот только Бонапарт был с брюшком, а этот тощий-тощий. В правой руке зажат карандаш, его отточенный конец уперся в Жандармские казармы. Борис что-то сказал стоявшим рядом Баранову и Зубкову, и карандаш пополз по плану.

Замбржицкий напряг зрение. Да, да, Московская улица, Никольские казармы. Карандаш замер. Потом вновь тронулся в путь. Печерский бульвар. «Курский полк» — догадался подпоручик, так, так. Дальше уже было нетрудно догадаться, что карандаш укажет на Киевскую крепость, ведь там расквартированы батальоны саперов.

Карандаш описал широкую дугу по Большой Васильковской, Жилянской, мимо Южнорусского завода до Галицкой площади. Дальше Замбржицкий не разглядел, то ли Борис показывал на Брест-Литовское шоссе и вел линию к казармам 45-го пехотного Азовского полка, то ли какие-то иные пункты — карту загородил Баранов.

Но услышанного на улице и подсмотренного через окно было более, чем достаточно, чтобы командование Киевского гарнизона сумело заблаговременно подготовиться. Теперь только не медлить и не пререкаться со всякими адъютантами, денщиками, полковничихами и генеральшами, которые, конечно же, будут охранять сон начальства.

Подпоручик бегом припустился к крепости, где находился штаб саперной бригады, а неподалеку жил и ее командир полковник Немилов.

Замбржицкий ошибался, предполагая, что только ему одному известно о намеченном на завтра выступлении саперов. Командование бригадой имело среди солдат и особенно унтеров своих осведомителей, да и жандармы не дремали.

В штабе Замбржицкий застал полковника Немилова и подполковника Гласко, штабс-капитана Смирнова, адъютантов, порученцев.

Подполковник был чем-то разгневан, и только через некоторое время подпоручик узнал, чем именно. Оказалось, что в штабе не работает ни один телефон и нет телеграфной связи.

— Господин полковник, смею доложить, что провода обрезаны нашими же телеграфистами из седьмого саперного батальона. Их представитель был на собрании бунтовщиков.

Подполковник Гласко говорил, сохраняя на лице приличествующую данному моменту мину, но про себя злорадствовал. Он ненавидел полковника Немилова, человека немолодого, с достатком, мягкотелого либерала, которому давно пора в отставку. Подполковник считал, что командовать бригадой, навести в ней порядок может только он, Гласко.

Штабс-капитан Смирнов был явно под градусом. Портартурец вообще трезвостью не грешил, а тут такие события!

— Я давно говорил, господин полковник, что этого сопляка Ждановского следовало сразу же убрать. И все было бы спокойно. Теперь же без кровопролития и расстрела невиновных не обойтись.

Немилов был растерян. Конечно, телеграфисты лишили штаб бригады связи с другими военными учреждениями гарнизона. А он такую возможность прохлопал, не предотвратил. Теперь нужно слать вестовых, порученцев — а кого? Кто поручится за их надежность? Кто поручится за то, что его донесения попадут командиру корпуса, командованию округа? Кто? Но этот штабс-капитан несносен. Не умеет себя держать в присутствии старших. И уже с ночи нализался. Вот они, опора престола, защитники веры и отечества! Боже мой, как измельчал, выродился офицерский корпус. Где понятие о дворянской

чести. И этот пьяный портартурский «герой» еще смеет указывать ему, полковнику, на промахи, ошибки!

— Господин штабс-капитан, отправляйтесь на квартиру. Проспитесь, и если угодно, напейтесь рассолу. Стыдно перед нижними чинами, стыдно. И в таком виде вы позволяете возводить хулу на дворянина и офицера.— Полковник оглянулся, в штабе солдат не было...— Я тридцать лет знаю отца Жадановского. Петр Андреевич не в пример вам, человек твердых правил, человек чести, строг и в строгости воспитал детей своих...

— Господин полковник,— Замбржицкий и сам не знал, откуда у него взялась смелость, даже нахальство перебить начальственную отповедь...— Господин полковник, разрешите доложить. Не далее как час назад я повстречался на Московской улице с подпоручиком Жадановским и его эпигонами. Они чуть ли не на всю улицу обсуждали планы уже сегодняшнего выступления саперов. Смею вас уверить — меня они в темноте не заметили, и я стал невольным свидетелем преступного замысла.

Замбржицкий схитрил. Не будет же он рассказывать, как мерз и мок под окном квартиры Жадановского, силясь разглядеть сквозь мокрое стекло план Киева.

Немилов растерялся. Этот пан Замбржицкий, картежный шулер, должен быть абсолютно уверенным в своих словах, чтобы решиться перебить и сообщить такое.

Что же делать?

Но на полковника уже никто не обращал внимания. Гласко внимательно следил за пальцем Замбржицкого, указывавшего на огромном плане города предполагаемый путь следования взбунтовавшихся саперов. Когда он кончил, подполковник быстро написал записку, запечатал в конверт.

— Господин подпоручик, немедленно доставьте в штаб корпуса, и было бы совсем хорошо, если бы вам удалось сейчас же повидать генерал-лейтенанта Драке.

— Будет исполнено, господин полковник.— Замбржицкий уже не слышал, как Гласко пробормотал: «Как же, повидаешь среди ночи эту старую развалину, небось обложился бутылками с горячей водой и охает, не спит, а встать не встанет».

Федор Николаевич Петров, чертыхаясь, неумело орудовал иголкой, подгоняя саперную форму. Конечно, можно было бы и не подшивать, но не стоит выделяться. Сегодня с утра представители военной организации Киевского комитета РСДРП должны быть среди солдат-саперов, чтобы внести в солдатскую стихию максимум организованности.

Совещание в квартире сапожника Подградного оставило у Федо-

ра Николаевича смутное чувство неудовлетворенности. С одной стороны, это совещание — бесспорная заслуга военки, ведь на нем присутствовали выборные делегаты от батальонов и рот саперов и военных телеграфистов. Правда, пехота была представлена одним солдатом, артиллеристов и вовсе не было среди 50—60 собравшихся. Но все же совещание это уж какой-то прообраз Совета солдатских депутатов. То, к чему все время призывали большевики. Но на заседании Совета сразу же появились разногласия по поводу дальнейшего порядка действий. Одни, в основном солдаты-саперы, требовали переарестовать всех офицеров и начать вооруженное восстание, другие ратовали за вооруженную демонстрацию. И если к ней присоединится пехота, то перейти к восстанию. Нашлись и такие, кто был вообще за отсрочку любых активных действий. Решили большинством голосов предпринять вооруженную демонстрацию, а восстание начать только в случае присоединения пехоты. Выработали программу требований к высшему начальству.

С тем и разошлись. Солдатские делегаты не знали, что в час ночи на Печерске собрались члены Киевского комитета РСДРП. Дебатов почти не было, меньшевики протащили свою резолюцию. «Комитет считает, что движение определенно обречено на неудачу, что надо остановить его...»

Это вместо того, чтобы готовить восстание. Вот и вноси «организованность» в ряды солдат, когда и среди членов комитета нет единства.

Утро 18 ноября выдалось ветреное, холодное. Временами шел дождь.

Федор Николаевич, так и не поспавший ни минуты, выйдя на улицу, вдруг подумал, что, наверное, восстание настолько сложное сопряжение всевозможных факторов, что при их учете необходимо обращать внимание и на состояние погоды. В такое утро, когда разверзлись хляби небесные, у невыспавшихся солдат и на душе будет пасмурно, а восстание требует порыва, если угодно, песни...

Свернув на Московскую, Петров задержал шаг у дома, в котором жили «коммунары». Зайти или не заходить? На вчерашнем совещании в отношении офицеров тоже было принято очень расплывчатое решение — в вооруженной демонстрации офицеры не участвуют, а если она перерастет в восстание, то присоединятся. Но это означает, что Жадановский, избранный на случай восстания «командующим саперами», должен все время находиться где-то рядом с демонстрантами. Глупость. Зная Бориса, Федор Николаевич понимал, что «рядом» тот быть не может, он может быть только в среде восставших.

Сейчас около шести утра. Жадановский наверняка всю ночь про-

сидел над всевозможными «стратегическими вариантами» восстания и спит — в окнах не видно света, а на улице еще темновато.

Петров решил не заходить. Сначала нужно побывать у солдат, узнать их настроение. Вполне возможно, что за ночь командование сумело их разоружить, изолировать наиболее активных. И теперь жандармы ждут не дождутся, когда пожалуют зачинщики и представители военки.

Сколько раз Федор Николаевич предупреждал своих товарищей относительно жандармов. Не следует их путать с уличными шпиками да городовыми.

В Жандармском управлении ныне почти не осталось «отцов-командиров», только тем и знаменитых, что бакены у них пушистее, чем у многих, и голос зычнее.

Старанием Зубатова в Москве, Зволянского в Питере, жандармы теперь хвастают университетскими значками, всерьез взялись за изучение криминалистики и трудов Маркса, Энгельса, Ленина.

Но Федор Николаевич на сей раз переоценил осведомленность жандармов. Когда он появился в расположении 3-й роты 4-го понтонного батальона, башенные часы пробили 6 утра. Но рота была уже на ногах — с оружием, патронташи полны, и, как ни странно, на солдатское настроение не подействовали ни бессонная тревожная ночь, ни хмурое, дождливое утро.

Вольноопределяющийся Мей и ефрейтор Скворцов построили роту, проверили оружие. Затем Мей выделил две группы солдат и отправил их в казармы 3-й роты 5-го понтонного батальона и военно-телеграфной роты — поторопить с выступлением.

Вскоре все три роты уже построились по-походному, чтобы идти к Никольским казармам, где квартировали саперы 1-й и 2-й роты 4-го понтонного батальона.

Было уже пять часов утра, когда Жадановский, Баранов, Зубков и только что вернувшийся Меркулов решили немного поспать. Утром нужно иметь запас сил и свежие головы.

Пять часов утра — полицейский час. Именно в это время самого глубокого и крепкого сна у парадных заливаются колокольчики, а в двери хибар, бараков бьют приклады и кованые сапоги.

Борис на всякий случай попросил денщика не ложиться, Жуков успел немного поспать, и если что, то тихо разбудить. Жадановский решил живым в руки жандармов не попадаться. Под подушку он положил наган, и на стуле, рядом с кроватью, лежал браунинг, его подарил один боевик «по случаю знакомства».

Баранов и Меркулов имели меньший арсенал, но и они были полны решимости при случае дать бой полицейским.

Уснули мгновенно.

Борис проснулся оттого, что кто-то с силой тряс его за плечо.

Инстинктивно, не открывая глаз, сунул руку под подушку, нащупал револьвер.

— Борис Петрович, да проснитесь же.

Борис открыл глаза. Пилькевич. Возбужденный, в мокрой шинели, мокрой фуражке.

— Роты уже выступили. Идемте скорее.

Проснулись и остальные.

— Александр Меркурьевич, а как же с решением совещания относительно офицеров? Ведь мы присоединяемся к солдатам только в случае начала вооруженного восстания.— Баранов нервничал, подсохший за ночь сапог не хотел влезать на ногу.

— А вы что думаете, если начнется пальба, бой, то за вами вестовых слать: «пожалуйте, господа главнокомандующие, вступите в исполнение обязанностей». Нет, мы будем идти в рядах саперов или, во всяком случае, рядом с ними шаг в шаг.

Борис в разговор не вступал. Глупые вопросы задает Баранов.

Быстро одевшись, Борис, к удивлению денщика, не сел за стол, на котором уже красовался неизменный самовар, а натянул шинель и буркнул:

— Догоняйте!

ГЛАВА VIII

Улица встретила Бориса так же неприветливо, как и ночью. Дождь то начинался, то вдруг прекращался, зато ветер дул не переставая. В такую погоду, как говорится, хороший хозяин и собаку на двор не выпустит, а между тем улицы, примыкавшие к Жандармским казармам, были запружены людьми. Киевляне наблюдали за солдатами-саперами, еще не успев понять, что присутствуют при начале солдатской вооруженной демонстрации.

Когда Борис и Пилькевич выбрались из толпы, провожавшей офицеров настороженными взглядами, саперов на ротном плацу уже не оказалось.

Пилькевич растерянно смотрел на Бориса.

— Ты знаешь маршрут движения?

— Конечно, знаю. Как-никак, сам же совещанию предложил. Давай обратно на Московскую.

— Ты что, домой?

— Домой. По Московской, потом по Миллионной солдаты пойдут к Печерскому базару, там казарма Миргородского полка, вот мы и дождемся их дома.

Так оно и было. Восставшие солдаты двинулись назад от Никольских казарм на Московскую улицу.

Саперное начальство решило, что настала пора действовать. Никаких указаний из штаба Киевского гарнизона оно так и не получило.

Попытка офицеров предотвратить выход солдат из казармы оказалась неудачной.

Полковник Немилов не оставлял надежды уговорить солдат вернуться в казармы. Но в то же время он отдал приказ штабс-капитану Гипенрейтору вывести 1-ю роту 7-го саперного батальона наперерез восставшим.

Штабс-капитан выстроил роту. Солдаты взяли винтовки на руку. Но штабс-капитан не получил приказа стрелять. Да и как стрелять, когда рядом с восставшими ротами по тротуару идет сам полковник, подпоручик Замбржицкий, еще кто-то из офицеров. Да к тому же штабс-капитан не был уверен в своих солдатах. Скомандуешь «пли», а они и изрешетят начальство.

Константин Альфонсович дрожал мелким бесом. И черт его дернул из штаба гарнизона вернуться в саперную бригаду. Никто его не гнал. А в штабе бригады попался на глаза Немилову, тот и приказал следовать за ним, уговаривать бунтовщиков. Как же, уговоришь!

Если начнется какая-нибудь заваруха, солдаты первым делом прикончат его. Замбржицкий затравленно оглядывал Московскую улицу. Здесь ему знаком каждый дом, парадное. Но в каждом доме толпятся обыватели и многие из них что-то кричат саперам, приветственно машут руками.

Немилов сцепился с каким-то бородачом. Страшный вид у этого солдата — длинные белесые волосы, борода, а на шее шарф. «Переодетый агитатор»,— догадался подпоручик.

Замбржицкого так и подмывало выхватить наган и разрядить весь его барабан в белокурые локоны, выбившиеся из-под солдатской фуражки агитатора. Но это означало бы мгновенную смерть для подпоручика, его бы тут же распяли на штыках.

Замбржицкий оглянулся, отыскивая глазами Немилова и, к ужасу своему, заметил, что полковник отбивается от насевших на него солдат. Осыпая полковника бранью, они вот-вот забьют его уже поднятыми прикладами, потом начнется расправа и с остальными офицерами.

— Не трогать офицеров! Не надо крови! — Голос властный. И солдаты, привыкшие к безусловному повиновению, опустили винтовки.

Замбржицкий решил, что гроза миновала, сейчас он немного обгонит толпу солдат и незаметно свернет в переулок, домой, переоденется, а там будет видно.

Подпоручик прибавил шаг, еще раз оглянулся, да так и замер...

Немилов и Гласко делали недвусмысленные знаки штабс-капитану Гипенрейтору, чтобы он отдал приказ своей роте стрелять.

«Если сейчас раздастся залп — я погиб»,— подумал Замбржицкий и со страхом присел на корточки.

Но залпа не последовало. Солдаты навалились на первую роту, смешали, рассеяли ее ряды, увлекли за собой к казармам Курского полка.

В казармах 125-го пехотного Курского полка налицо оказалось только две роты и музыкантская команда. Музыканты, захватив свои трубы и барабаны, сразу присоединились к саперам, зато пехотинцы не спешили — только три солдата, тут же схватив винтовки, побежали к саперам. Остальные мялись, что-то нечленораздельное бормотали в ответ на призывы — пойти крушить начальство.

Музыканты грянули Марсельезу.

Борис и Пилькевич так и не попали в это утро обратно домой. Вернее, они зашли в квартиру «коммунаров», но именно в тот момент мимо их дома с криками, песнями потянулись толпы саперов. Жадановский при виде вооруженной толпы взволнованно сказал, обращаясь к Пилькевичу:

— Бог ты мой, нет, ты посмотри — ведь это стадо. Их же сомнет первая казачья сотня. К черту, я не могу больше ждать, пошли.

— Пошли!

Пилькевич и Жадановский выскочили из дома и вскоре нагнали солдат. Появление офицеров было встречено хмуро. В хвосте восставших плелись саперы 14-го и 17-го батальонов, телеграфисты. Они не знали Жадановского и не откликнулись на его команду построиться. Неизвестно, чем бы кончилась для Бориса эта попытка внести какой-то порядок в солдатскую толпу, если бы не подоспели понтонеры. С их помощью удалось организовать походные колонны. Саперы, телеграфисты, музыканты, кое-как выстроившись, почувствовали себя снова солдатами и приутихли, ожидая новых команд.

Этим и решил воспользоваться Немилов и небольшая кучка офицеров, все еще окружавшая полковника.

— Кто верен царю и присяге, ко мне,— зычным, привыкшим отдавать приказы голосом скомандовал полковник. Колонны дрогнули, качнулись, из рядов выбежало десятка два солдат, остальные замерли. Борис понял — еще несколько команд, энергичных действий офицеров, и сработает привычка к повиновению. Что делать? Что делать?

— Борис, я сейчас!— Пилькевич почти бегом бросился вдоль строя. Он что-то говорил на ходу солдатам, и Борис заметил, как некоторые из них в ответ смеялись, согласно кивали головами.

— Саперы, напра-во!

Колонны несколько мгновений оставались неподвижными, а потом тысячная масса, вразброд, сделала поворот налево.

Борис ничего не понимал. А солдаты загомонили, кто-то крикнул «ура». Подоспевший Пилькевич, хитро улыбаясь, в порыве мальчишеского задора поддел Бориса локтем.

— Отменно сработано. А?

— Что — сработано?

— А ты не слышал, как я говорил солдатам: «Когда скомандуют направо, поворачивайте налево».

— А откуда ты мог знать, что Немилов подаст команду «направо»?



— Совсем ты, Боренька, на радостях обалдел. Куда же тут поворачивать, если не к казармам? Только направо. А налево мы и сами сейчас двинемся по саперной дороге на Зверинец к осадному полку, потом на Киев-II — все, как предусмотрено планом.

В штабе 21-го корпуса с раннего утра непрерывно хлопают двери. Снуют адъютанты, писаря, толпятся офицеры. Их подняли по тревоге еще затемно, но никто толком не знает, чем вызвана эта тревога.

В кабинете генерала Драке засели начальник штаба, начальники отделов, командиры полков.

Генерал-лейтенант Драке стоял у огромного, в полстены, плана Киева. Седой, немного сутулый, он внешне производил впечатление немощного старца, которому давно уже пора на покой. Но офицеры штаба хорошо знали, сколь обманчива внешность генерала.

— Господа, нам в общих чертах известен план бунтовщиков. Саперный офицер, внушающий полное доверие, еще ночью предупредил штаб и раскрыл намерения возмутителей. Я распорядился направить полковнику Немилову батальон Миргородского полка. Полковник не проявил необходимой распорядительности. Огонь по бунтовщикам так и не был открыт. Между тем сегодня утром генерал Сухомлинов при-

казал стрелять. Да, да, господа — стрелять. Только так можно расправиться с бунтовщиками.

Офицеры, сидевшие за длинным столом, на котором лежали карты, планы, стояли пепельницы, уже доверху заполненные окурками, молчали.

«Стрелять?» Они знали генерала. Стрелять — это единственное средство, которое тот признает и, не задумываясь, прибегает к нему. Он расстреливал безоружных демонстрантов в октябрьские дни. Он с балкона своего особняка любовался картинами еврейских погромов.

Собственно, все присутствующие на совещании офицеры, не рассуждая, пустили бы в ход оружие... Но одно дело стрелять по безоружным демонстрантам, другое — по вооруженным саперам.

— Господа, я приглашаю вас высказать свои соображения.

— Ваше превосходительство,— поднялся молодой еще полковник, командир 4-го конно-горного артиллерийского полка,— я вполне согласен с вашим непреклонным намерением. Но, ваше превосходительство, мы не должны забывать, что это бунт особый. Три-четыре тысячи солдат — как вы уже изволили сообщить нам,— все они вооружены, подсумки полны патронами. На огонь они могут ответить огнем. Нельзя сбрасывать и со счетов тот прискорбный факт, что среди восставших находятся несколько офицеров, забывших честь и присягу. Хотя они и молоды, и неопытны, но ведь это офицеры...

— Негодяи, господин полковник!

— Совершенно верно, ваше превосходительство. Но я не уверен, что эти негодяи не сколотят ударную группу из солдат-маньчжурцев, коих немало среди саперов. А маньчжурцы отъявленные головорезы. В моем парке две батареи укомплектованы этими, я не побоюсь сказать — хунхузами. Если начнется перестрелка, она может вылиться в вооруженное восстание.

— Эк куда хватили, полковник. Кстати, вы успели разоружить своих артиллеристов и запереть их в казармах?

— Так точно, господин генерал.

— Вот и отлично.

— Господа, мне кажется, вы не совсем уяснили мой замысел. Я попрошу, ваше превосходительство, доложите еще раз, — последние слова Драке были адресованы генералу начальнику штаба корпуса.

— Сейчас уже ясно, господа, что бунтовщики движутся к станции Киев-II. Там, около 4-й гимназии, их встретит казачий полк. Верные нам пехотные части следуют за саперами по параллельным улицам, от Никольских ворот к Крещатику.

Казаки встретят бунтовщиков первыми и, так сказать, «прощупают» их настроение. Если бунтовщики не сложат оружие, не выдадут зачинщиков, казаки пропустят их, а затем подопрут с тыла. Таким образом, восставшие окажутся окруженными со всех сторон. Ну, а в дальнейшем, господа, мы намерены действовать решительно.

— Господа офицеры! Сейчас вы отбудете в вверенные вам части. Для приведения их в готовность понадобится некоторое время. Судя по последним сообщениям патрульных разъездов, бунтовщики свернули от Народного дома на Жилянскую. Значит, они идут к казармам 33-й артиллерийской бригады.

— Я направляю пехотные части по Караваевской и Владимирской, сам выезжаю к 33-й бригаде.

Неслышно ступая по мягкому ковру, в кабинет вошел штабс-капитан Левдаков. Драке вопросительно уставился на своего адъютанта. Штабс-капитан что-то сказал генералу на ухо, выразительно при этом поглядывая в сторону командира Камчатского полка.

— Господа, рота Камчатского полка не выполнила приказа. Огонь по бунтовщикам открыт не был. Что вы скажете, господин полковник?

Немолодой уже полковник, увешанный орденами, среди которых был и солдатский Георгий, вытянулся, прохрипел:

— Ваше превосходительство, я с утра нахожусь в штабе корпуса, согласно вашему приказанию. Камчатский полк полностью не укомплектован, в 1-й роте всего сто штыков, а бунтовщиков тысячи...

— Господин полковник, немедленно отправляйтесь в полк. Господа, и вы все тоже. Штабс-капитан, мой автомобиль к подъезду.

Позади осталась станция Киев-II. Гремит музыка. Сбегается народ. Борис не идет, его словно крылья несут. Он не знает, что их ждет впереди, но вот, наконец, настал пик жизни. Минуты освобождения, обновления.

— Раз, два, три! Раз, два, три!

Пилькевич подсмеивается.

— Боря, ты уже успел разучиться считать до четырех. А я загадал, — сосчитаешь, все будет превосходно.

— Раз, два, три! Раз, два, три! Отстань, сатана, лучше дыши. Ведь это воздух свободы.

— Ну, положим-то, воздух тут скверный. Сыро, и с товарной станции гнилью тянет.

— Несчастный, приземленный крот. Не мешай.

Большая Васильковская улица запружена народом. Настроение у всех весеннее. Балконы домов, окна — настежь и наплевать на ветер, сырость, заряды холодного дождя. К саперам подскакивают гимназистки, что-то суют в руки, пытаются идти в ногу, но быстро сбиваются с шага. Рабочие идут группами и поодиночке, не отстают, кричат какие-то приветственные слова, пытаются стать в строй. Ряды саперов по краям обрастают гирляндами разноцветных шляпок, картузов, кепок, фуражек.

4-я мужская гимназия. Распахнутые окна. На подоконниках гим-

назисты. Самые отчаянные выбрались на карнизы. Едва держатся, но машут хотя бы одной рукой. И кричат, кричат, кричат.

Борис с опаской посмотрел на этих акробатов. Не дай бог, какой-нибудь башибузук сорвется. И пропадет ни за что, и атмосферу ликования испортит. Погрозил кулаком, и это вызвало прилив восторга.

Вдруг сидящие на окнах ученики взволновались. Те, кто выбрался на карнизы, поспешили убраться восвояси. В некоторых классах захлопнулись ставни. Гимназисты уже не свешивались вниз, а, вытянув руки, они на что-то показывали и снова орали...

Борис не успел ничего разглядеть, но зато услышал — казаки!

Из соседних улиц, впереди колонн саперов, сзади их, словно из-под земли, выросли казачьи сотни. Их было не менее пяти.

Саперы остановились. Не закончив такта, поперхнулся оркестр. Еще никто не отдавал команды, но по рядам саперов, как перестук буферов, послышалось звяканье затворов, где-то приклады грохнули о булыгу.

«Вот и настал твой час, «главнокомандующий на случай столкновения с правительственными войсками». И Борис с удивлением вдруг отметил, что не испытывает ни страха, ни даже волнения. Наверное, решимость солдат придавала ему уверенность. Вокруг Бориса собрались офицеры и представители военки. Ни дать ни взять, военный совет в Филях. Какие-то посторонние мысли лезут в голову. Значит, он все-таки волнуется.

— Борис, слово за тобой.— Баранов, все время находившийся среди солдат, теперь стоял перед Жадановским и нервно протирал вдруг сразу запотевшие очки.

— Хорошо! Мы решили обойтись без кровопролития, значит, нужно найти командира казачьего полка.

— Да вот он, у подъезда гимназии гарцует.

Жадановский решительно двинулся в сторону казаков. За ним поспешили Баранов, Меркулов и какой-то штатский, лица которого Борис не успел разглядеть.

На улице стало тихо-тихо. Тротуары опустели. Но окна и балконы были по-прежнему забиты людьми.

Борису показалось, что эти 200—300 шагов, разделявшие саперов и казаков, растянулись на целую версту. Командир казачьего полка, в чине полковника, сдерживал танцующего под ним кубанца. И лошадь и седок смотрели на приближающихся офицеров налитыми кровью глазами. «Как они похожи»,— подумал Борис и снова выругал себя за нелепые мысли, от которых он никак не может отделаться.

Так молча дошли до подъезда гимназии.

Офицеры остановились. Жадановский вплотную приблизился к лошади полковника. Она захрапела, но Борис не отшатнулся, схватил коня под уздцы.

— Господин полковник, мы требуем, чтобы вы убрали казаков.

— А если я имею приказ разоружить бунтовщиков, арестовать зачинщиков?

— У меня наказ от саперов — предупредить. Если не пропустите, то мы пробьем дорогу пулями.

— Не посмеете, мои драгуны изрубят вас в капусту.

— Это ваше последнее слово, полковник?

— Последнее!

Жадановский отошел к товарищам.

— Что будем делать?

Этот вопрос был обращен к Борису. И все ждали ответа, хотя заранее знали его.

— Что будем делать? А вот что!

— Саперы! На-ру-ку!

— Заря-жай! — скомандовал Жадановский.

Четкий ружейный прием. Клацанье тысяч затворов. И тишина. Мертвая тишина нависла над толпой, над строем саперов и казаков.

— Ша-гом! Арш!

Грохнули тысячи подкованных каблуков. Пронзительно заржала казачья лошадь и, вторя ей, раздался отчаянный крик женщины:

— Господи! Ужас-то какой!

Борис шел, не оглядываясь. Он видел только казачьего полковника. А тот схватился за шашку.

«Выдернет или не выдернет? Если выдернет, то нужно успеть скомандовать — огонь».

Полковник внезапно дал шпоры коню, крикнул что-то, Борис не расслышал. Казачье каре расступилось.

— Ура! Ура! Ура!

Тысячи солдатских простуженных глоток восторженно, упоенно кричали «ура». Это была их первая победа. И она вселила уверенность в силах, в своей правоте. Офицеры тоже подхватили ликующий клич!

Но Борис молчал. Он уже не следил за полковником. Да того и не было видно за казачьими лошадьми. Борис отошел к тротуару и встал, пропуская мимо себя ряды саперов. Солдаты, поравнявшись с Борисом, лихо поворачивали в его сторону головы, приветствуя своего «главнокомандующего». Жадановский каждому отвечал улыбкой.

Но вот промаршировала последняя шеренга. И самым последним шел Пилькевич. Увидев Бориса, он подошел к нему.

— А казачки-то сдрейфили!

— Как знать. Не нравится мне все это.

— Чего ты хмуришься. Казаки орлы, когда воюют с безоружными рабочими, а тут солдаты с ружьями.

В это время вновь зацокали копыта. Борис оглянулся. Так и есть. Казаки сомкнули строй и двинулись следом за саперами.

— А тебе не кажется, что нас перехитрили. Смотри — казаки с боков, казаки — сзади.

Пилькевич больше не подтрунивал над казаками. Он тоже понял, что саперы окружены. И если сейчас впереди на их пути встанет верная командованию пехота, то казачья лава ударит саперам в тыл. Как бы развивая его мысль, Борис сказал:

— Вот теперь ты видишь наш общий просчет. Если бы мы были уверены, что у командования нет верных пехотных полков, то и казаки нам не страшны. А так я ожидаю, что с минуты на минуту нам перережут дорогу.

— Борис, нужно в арьергарде поставить понтонеров. Пусть следят за казаками и, если те приблизятся — стреляют.

— Верно! Но только стрелять первыми мы не будем. Организуй арьергард и оставайся с понтонерами, а я пойду вперед. Нужно повернуть саперов к казармам 33-й артиллерийской бригады. Артиллеристы обещали поддержать.

Борис, придерживая кобуру с наганом и саблю, быстрым шагом стал обгонять строй саперов. Голова колонны уже подходила к концу Большой Васильковской улицы.

Генерал Драке с трудом вылез из автомобиля. К нему подскочил полковник.

— Ваше превосходительство, вверенная мне 33-я артиллерийская бригада разоружена. Часть солдат отправлена в лагерь, часть заперта в казармах. Замки с орудий сняты и находятся в цейхгаузе под надежной охраной господ офицеров.

— Благодарю, полковник! Сейчас сюда пожалуют бунтовщики, я буду с ними говорить.

— Ваше превосходительство, но ведь в штабе предупреждали — никаких переговоров, расстрелять всю эту мразь, и дело с концом.

— То-то и оно, что пока у нас мало надежных частей. Нужно задержать бунтовщиков этак часа на полтора, два. За это время подойдут верные войска и окружат саперов. Вот тогда никаких разговоров.

Борис был обескуражен, узнав, что саперов опередили. Конечно, можно скомандовать и солдаты вмиг ворвутся в запертые казармы. Но, во-первых, половину артиллеристов еще рано утром куда-то вывели, а те, что заперты — обезоружены. У цейхгаузов — офицерские патрули с пулеметами. Обо всем этом Жадановскому сообщили разведчики-саперы, проникшие в казармы артиллеристов. Терять время бесполезно, более того, опасно, нужно двигаться дальше.

Борис выбрался со двора артиллерийских казарм на Жилянскую улицу и остановился, удивленный. Шеренги саперов смешались. Плотная толпа солдат стояла у сторожевой будки, заслоняя от Бориса какого-то человека, державшего речь. Вот когда Жадановский пожалел

о своем маленьком росте. Саперы слушали плохо, возбужденно переговаривались, что-то выкрикивали. Борис заметил каменную тумбу у тротуара, вскочил на нее.

Ах, вот в чем дело! Сам генерал-лейтенант Драке «разговаривает» с солдатами. Но слов генерала Борис так и не мог разобрать. Солдаты довольно развязно отвечали генералу. Передали какой-то листок.

«Наверное, требование»,— догадался Борис.

Этак генерал может и уговорить саперов. Ведь привычка к слепому повиновению стала второй натурой солдата. За годы службы ничему иному он научиться и не мог. Удивительно еще, что солдаты могли как-то стрелять. Ведь для практических стрельб в год на каждого нижнего чина полагалось два патрона.

— Борис! — Пилькевич вырос рядом, и у него в руках был наган.

— Мы уже толчемся у этих казарм более часа. Ты слышал «беседу»?

— Нет, отсюда ничего не слышно!

— А я слышал. Саперы не на высоте, каждый второй уверяет генерала, что его привели сюда силой.

— Не может быть!

— Может.

В это время к генералу подошел какой-то долговязый сапер. На нем не было фуражки и рыжие патлы, давно нечесанные и немытые, падали на лоб.

— Долой генерала. Он нам только мешает.

— Кто это, Борис?

— Это... Ванновский!

Но как он здесь очутился?

Борис стал проталкиваться к Ванновскому. Он был обеспокоен тем, что один из руководителей военной организации социал-домократов, человек, для которого неконспиративность его товарищей означала чуть ли не предательство, вдруг сам оказался на диво беспечным. Эта буйная рыжая шевелюра, эта куцая шинелька — как бубновые тузы на спинах каторжников, а Ванновский изображает из себя солдата.

Но Борис так и не добрался до Ванновского. Тот внезапно куда-то исчез, а перед Борисом оказалась плотная стена солдатских спин, саперы вновь приготовились слушать генерала.

Борис оперся о плечи стоящих впереди солдат, приподнялся.

— Товарищи, пошли дальше, нечего его слушать. Музыканты — марш!

Грянули трубы. Испуганно, вразнобой ахнули барабаны, но так не к месту, что солдаты покатились со смеху.

— А и правда, братцы, поди, два часа слухаем этого скорпиона.

— Ишь, какой добренький — «солдатики», «не обижайте старика». В рыло ему!..

— Стройся... Становись!

И снова слышен ритмичный грохот каблуков, бодрящие звуки марша.

Позади Жилянская, а впереди виднеются корпуса Южнорусского завода.

Еще издали Борис услышал, как, перекрывая бравурную музыку, с заводского двора доносятся частые удары колокола.

«Что бы это означало? Ведь обычно рабочих созывает фабричный гудок».

И, как бы отвечая на его вопрос, мальчишки, вездесущие, все знающие, восторженно завопили:

— Звонят, звонят! Пашка-рябой звонит.

— Накось, сняли гудок, съели! Бей буржуев!

«Ага, администрация, видимо, действительно сняла гудок, но это не помешало рабочим бросить работу по первому удару колокола. Молодцы».

Борис почувствовал, что именно сейчас решается судьба вооруженного выступления. Ведь он с минуты на минуту ждал, что, узнав о восстании саперов, поднимутся и другие воинские части Киевского гарнизона, заревут гудки фабрик и заводов и на улицы навстречу солдатам выйдут рабочие.

Он шел и ждал — вот-вот примчатся вестники всеобщего восстания.

«Ах, как досадно все-таки, что молчит гудок Южнорусского. Он бы оповестил весь пролетарский Киев о восстании, о том, что пора выходить на улицы. А колокола? Кто обратит внимание на колокол, когда в Киеве — матери городов русских, на колокольный благовест даже вороны не откликаются. Да и не слышно его, колокола».

Ворота Южнорусского завода распахнулись, и навстречу саперам хлынула толпа людей.

И снова смешались ряды. Рабочие обнимали солдат, бессвязный говор, крики, смех — все слилось в неумолкающий гул, все потонуло в этом ликующем гомоне тысяч людей.

Чьи-то могучие руки подхватили Бориса, и вот уже под ногами нет мостовой, да и дышать нечем от тесных объятий.

Саперы, рабочие и просто зрители, вот уже несколько часов идущие рядом с солдатами, не остановились у заводских ворот.

Вся эта возбужденная, многоголосая масса шла и шла под звуки оркестра, приближаясь к просторной площади Галицкого базара.

Строя давно уже не было. Над морем фуражек, кепок, платков, то там, то здесь возвышались тусклые иглы штыков.

Напрасно Борис пытался выкрикивать команды, его никто не слышал, да и он сам не слышал своего голоса.

На секунду мелькнуло смеющееся лицо Пилькевича и исчезло. Баранов призывно махал руками, но вот и его не стало видно.

Борис на секунду закрыл глаза. Безмерная радость и холодное отчаяние чуть было не лишили его чувств.

Сбылось то, о чем он грезил, о чем мечтал, к чему трезво, без иллюзий готовился весь этот год. Они «делают революцию».

Делают? Он ничего не может сделать, чтобы обуздать стихию восторга, охватившего солдат и рабочих. Он бессилен... И он видит, какая страшная, неотвратимая угроза нависла над солдатами, рабочими, женщинами, мальчишками, над ним самим.

Строя нет. Спереди, с боков, сзади саперы окружены безоружными людьми. Появись сейчас войска генерала Драке, и саперы не смогут ответить им пулей на пулю.

Генерал Драке стоял навытяжку с телефонной трубкой в руке.

— Так точно, ваше высокопревосходительство... Но, Владимир Александрович, у меня не было полной уверенности в том, что бунтовщики проследуют к Галицкому базару...

Да, да, как вы приказали... Никаких перего... Но, ваше высокопревосходительство, я задержал их на два часа... Так точно. Учебная команда Миргородского полка. Да, да, я уже отдал приказ полковнику фон Стаалю. Слушаюсь, ваше высокопревосходительство, с нами бог!

Учебная команда Миргородского полка скорым шагом перебежала с Кадетского шоссе на Брест-Литовское и перегородила его, не доходя 200 шагов до Железной церкви.

Фон Стааль, получив под свое командование Миргородский полк, долго и с негодованием фыркал — ему, остзейцу, и командовать каким-то Миргородским. От этого названия так и несет гоголевщиной, малороссийским борщом и варениками в сметане. А фон Стаали гордятся своей родословной — их предки рыцари крестовых походов, тевтонские завоеватели, предводители Ливонского ордена. Да, его предки не раз проносились по Малороссии с огнем и мечом. Но мало кто из этих походов добирался живым в свои замки.

Фон Стааль ввел в Миргородском полку «рыцарскую дисциплину». Не рассуждать, исполнять... и умирать во славу своего предводителя, если тот прикажет.

Но сегодня смерть грозит не миргородцам, а той буйной толпе, что окружила «бунтовщиков-саперов» и мешает им сохранять строй, а в случае чего стрелять.

Фон Стааль даже взмок от радости — подумать только, какая удача. Не будь всей этой рабочей черни, его бравые «рыцари миргородцы», чего доброго, струсили бы и уж наверняка поостереглись бы стрелять в саперов — ведь восставших не менее трех тысяч...

Фон Стааль весь напрягся. Полурота его полка засела за домами против бульвара.



— Залпами... О-гонь!

В плотной толпе каждая пуля находит свою цель.

Люди в ужасе, с криками, проклятьями метнулись на бульвар, на другую его сторону, стараясь прикрыться деревьями. Но фон Стааль был предусмотрителен. С противоположной стороны бульвара грянул залп второй полуроты.

Люди бежали к Галицкому базару. Обезумевшая толпа безоружных увлекла за собой саперов. И Борис увидел миргородцев, стрелявших с колена.

— Стой!

Это была не команда, а призыв, на который откликнулись десятки, сотни саперов. Кто-то, обернувшись, сорвал с плеча винтовку и пустил наугад первую пулю, кто-то засел за рундуком и тщательно целился. Борис знал: сейчас нужно выиграть минуты, чтобы улеглась паника, чтобы успели скрыться безоружные, мешающие отвечать на огонь огнем. Эти минуты может выиграть только он. И Борис не колебался. Миргородцы, увидев офицера, идущего к ним, не осмелятся стрелять по нему, а тем временем саперы займут оборону и тогда можно будет начать переговоры и, как знать, может быть, пехота присоединится к восставшим.

А перестрелка разгоралась. Жадановский успел заметить первых упавших из цепи миргородцев. Вытянувшись во весь свой маленький рост, Борис неторопливо вышел на мостовую. В последнюю минуту у него мелькнула мысль, что вот эти стреляющие с колена солдаты напоминают кегли и некоторые уже выбиты из ряда невидимыми шарами. Он еще успел скомандовать:

— Прекратить огонь!

Страшный удар в грудь. Жадановский упал...

Он уже не слышал перестрелки, не видел, как под огнем саперов миргородцы были вынуждены отступить. На помощь раненому Борису подоспели друзья. Они сумели вынести его с площади, которую уже окружали казаки и драгуны.

ГЛАВА IX

Борис проснулся и долго лежал, не открывая глаз. Какое-то чувство умиротворения мешало ему пошевелиться. Не хотелось спугивать это состояние нечаянным движением, немедленно отзывающимся болью в груди.

В последние дни ему стало легче, хотя врач все равно настаивает на операции. Но как ее осуществить здесь, на ферме? Соваться же в больницу и думать нечего. Его разыскивает полиция. Тот же доктор рассказывал, что охранка всякий раз требует докладывать о поступ-

лении в больницы людей с огнестрельными ранами. И даже самоубийц, неудачно стрелявшихся, прежде всего допрашивают, а потом уже разрешается вынимать у них пули.

Катя совершенно извелась. Милая, милая Катюша! Этот месяц так сблизил их, что теперь ни он, ни она не мыслят жизнь друг без друга. Если бы не Катя, он, быть может, и не выдержал этих мучительных болей. Искалеченные ребра и гнойный плеврит — вот след пули какого-то отличного стрелка из миргородцев. Особенно тяжело ночами. Он задыхается, и ему кажется, что остановилось сердце. Но тогда на помощь приходит беспамятство. Обмороки длятся по нескольку часов. Бедная Катя, каково ей сидеть у постели и глядеть — очнется или...

А сейчас хорошо! Пока ничего не болит. А где Катя?

Борис осторожно открывает глаза. Окна зашторены и трудно понять — день ли, а может быть, ночь. Но вон Катя — она спит в кресле. Которую уже ночь спит вполглаза, всегда готовая пробудиться, лишь услышит стон или затрудненное дыхание.

Часы показывают 11. Утро или вечер? Наверное, все-таки вечер, иначе Катюша хлопотала бы на кухне — она сама его кормит и так педантично — минута в минуту.

Екатерина Ивановна проснулась, едва заслышав, что Борис шевельнулся. Каждый раз, засыпая в старом кресле, она знает, что проснется с онемевшими руками, с непроходящей головной болью.

Но она забывает об этом, если вдруг, пробудившись, увидит, что Борису легче, что боль дала ему пусть небольшую, но передышку.

В такие редкие часы они тихо разговаривают, мечтают вслух. А что им еще остается? Ведь так радостно хоть на час забыть о ране, плеврите, настороженном ночном городе и мечтать о пальмах и чарующих вечерах вдвоем, где-нибудь на Ривьере или Ницце...

И оба знают, что это только мечты. Друзья из Киевского комитета РСДРП, правда, уже запаслись для них заграничными паспортами — а там, за рубежом, их встретят Зубков, Баранов. Они беспрепятственно покинули Россию и готовы взять на себя все заботы о раненом товарище.

Но эти видения быстро исчезают. Снова выползает боль. Сначала она прячется за пробитую пулей лопатку, потом, как хозяйка, захватывает грудь, подбирается к сердцу. Скачками подымается температура, и в темной комнате появляются расплывчатые тени. Он снова слышит этот «его» залп, снова чувствует, как кусочек свинца, раздирая шинель, мундир, раздвигая и ломая ребра, входит в грудь... И нечем дышать и не видно Кати.

Киевское жандармское управление получило из столицы предписание усилить борьбу с подрывными элементами. Чаще производить обыски и массовые аресты по известным управлению адресам. Это

предписание звучало как выговор за нерасторопность. А посему глава киевских жандармов решил расстараться на славу и показать там, в Петербурге, что киевские голубые мундиры не лыком шиты и дело свое знают не хуже столичных.

Начальник отдела политического сыска давно уже составил список подозрительных квартир. Полиция доносит — наружным наблюдением установлено, что вновь активизировалась работа большевиков по сколачиванию рабочих боевых дружин. Причем боевые дружины создаются не только на заводах. После 18 октября такая дружина, внушительная по числу бойцов, организована и в университете.

Сладу нет с этими студентиозусами. У начальника управления сын тоже в студенты подался. А ведь как отец настаивал на военной карьере — единственно приличествующей истинному российскому дворянину. Правда, ныне в жандармах ходит немало бывших студентов с юридического. Но сын на юридический не пожелал, избрал историко-филологический. А уж эти филологи первые заводилы. Да, времечко! И не знаешь, как уберечь единственное чадо от разлагающей крамолы.

Начальник управления просматривает списки подозрительных квартир. Их много и плохо то, что они разбросаны буквально по всему городу. Вон даже ферма Политехнического института значится, а это и вовсе где-то у черта на рогах.

Чем та ферма ему запомнилась?

Начальник управления откладывает списки квартир, пристально смотрит в окно, словно хочет разглядеть за серенькой завесой декабрьского неулыбчатого дня эту ферму.

Затем глаза его оживают. Он быстро встает, идет к сейфу. Груда папок. «Донесения сотрудников». «Дневники наружного наблюдения». Безобразие, эти папки должны храниться в соответствующих отделах, там каталоги, там библиотеки — «книги живота», как их издавна прозвали еще в благословенной памяти времена III Отделения. А они валяются здесь! Все недосуг, жандармы с ног сбились и для приведения текущих дел в порядок просто не хватает ни времени, ни сил.

Ферма, да не та, оказывается. Та, которую он запомнил, принадлежит не Политехническому, а Сельскохозяйственному институту. Там летом была обнаружена бомбовая мастерская. И как ловко работали эти красные алхимики. В помещении сторожки на опытных огородах шли занятия по химии, готовились снаряды, а рядом на грядках копались студенты. У них, видите ли, «практические занятия». А на самом деле эти мошенники не на грядки глядели, а по сторонам — как бы кто чужой к сторожке не подкрался.

И накрыли бомбовую мастерскую случайно. На ферме просто устроили повальный обыск и обнаружили в сторожке реторты, спиртовки, бутылки с глицерином и кислотой и две годных к употреблению бомбы.

Эти барабанные шкуры — городовые не хотели до бомб дотрагиваться: самоделки, глядишь, еще и рванут.

Потом их действительно взорвали — эффект поразительный — дерево выдрало с корнем, да аршинная яма в земле.

А вот «профессоров» и «учеников» взять не удалось — на ночь они с фермы уходили кто куда.

А что, если бомбовая мастерская перекочевала с фермы на ферму? Вполне возможно. Ведь эти террористы думают так: накрыли на одной ферме, значит, за другие полиция будет спокойна. А мы вновь возьмем да обоснуемся на ферме.

Начальник разволновался. Эта логика, которую он приписал организаторам боевой мастерской, ему самому показалась столь непреложной, что теперь он готов голову отдать на отсечение — на ферме Политехнического — бомбовая мастерская.

В ночь на 29 декабря была назначена «предновогодняя генеральная облава».

28 декабря на улицах Киева почти не было видно полицейских, мало было и городовых, начальство пеклось о своих подопечных и приказало целый день спать, чтобы ночью быть энергичными.

— Катюша, а почему ты стала социал-революционеркой?

Екатерина Ивановна вздрогнула, заслышав голос Бориса. Она уже спала, и ей снилось что-то хорошее, приятное, хотя она никогда не помнит снов.

— Боренька, тебе плохо, больно?

— Нет, нет, Катюша, как раз наоборот, у меня сейчас, на удивление, ничего не болит. Но я разбудил тебя своим вопросом. Спи, спи, ты так со мной устаешь.

— Разве я могу спать, когда тебе хорошо, только я боюсь, что ты будешь много говорить и опять начнется боль. Так что говорить буду я. Ты спросил, почему я стала социал-революционеркой, или, как теперь называют, эсеркой?

Право, я даже и не знаю, почему избрала эту партию. Наверное, потому, что мой отец — старый народник. Он, знаешь, в народ ходил вместе с «киевскими сапожниками». Смешно, конечно, сапожник с дипломом Сорбонны. А сапоги он научился шить отменно и с тех пор никогда не покупает, сам себе шьет, да и маме тоже. Был он и народовольцем, знал Желябова, Кибальчича, Исаева, Фроленко, Ковальского — ведь они все южане. После казни Желябова отец разыскивал его жену и сына, но так и не нашел — они сменили фамилию. Может быть, сын Андрея Ивановича так ничего и не знает о своем герое-отце. Сыну сейчас лет тридцать. И вполне возможно, он здесь, в Киеве, ведь его мать — дочь киевского сахарозаводчика. Как бы было интересно с ним встретиться.

— Но ведь эсеры только называют себя наследниками народовольцев, а на деле они просто защитники кулаков-мироедов.

— Я не очень-то вдавалась в эсеровские теории, моей мечтой было стать похожей на Веру Фигнер или Прибылеву-Корбу. Я ведь знакома с семьей Анны Корбы. Говорят, что и Фигнер, и Морозова, и Лопатина скоро выпустят из Шлиссельбурга — вот бы повидать, расспросить их.

— Да, 25 лет в этой могиле! И не только остались живыми, но Морозов, говорят, к тому же сделался крупным химиком. Для этого нужно обладать нечеловеческой волей, я бы, наверное, не выдержал.

— Не говори так. У тебя хватит воли на все. Я верю, что ты выздоровеешь и мы уедем за границу...

— Знаешь, Катя, я понимаю, что сейчас от меня мало проку. Но если сумею поправиться здесь, то ни в какие «заграницы» не поеду.

— Прошу тебя, не волнуйся и помолчи. Руководителям восстаний нельзя оставаться в России — их разыскивают, им грозит расстрел.

— Ну и что? И эти жертвы не напрасны. Ты вот о Желябове вспомнила, а разве ему не грозила виселица? Грозила. И он, зная, что его не помилуют, сам потребовал, чтобы его причислили к делу «первомартовцев», убивших царя. А ведь Желябова схватили еще 27 февраля, и 1 марта он бомб не бросал. Он знал, что его жертвенность — знамя для новых поколений борцов. А Перовская? Ее же не арестовали сразу. И она могла преспокойно уехать за границу. Между тем Софья Львовна металась по Петербургу, искала людей, которые дерзнули бы освободить Желябова, вновь поднять знамя борьбы.

— Ну вот, а ты спрашиваешь, почему я стала социалисткой-революционеркой.

— Нет, эсеры самозванцы, наследие Желябова не в их руках.

— Боренька, засни, уже очень поздно...

Екатерина Ивановна не договорила, в двери квартиры Богоявленских застучало сразу несколько сапог. Стучали так сильно, что жалобно звякнули окна, зазвенела посуда в шкафу.

— Борис, полиция. Ты помнишь свою фамилию?

— Да, да, Катя, я мещанин Самойленко, не беспокойся. Скажи, что у меня жар и бред. Назовись ночной сиделкой, а потому ничего не знаешь.

Жадановский натянул одеяло на раненую грудь, чтобы не было видно бинтов. У него и правда начался жар, запылали провалившиеся щеки. Он закрыл глаза.

Полицейские, жандармы, городовые обшаривали ферму. Их предупредили — сам жандармский полковник считает, что на ферме орудуют террористы, припрятано оружие, а возможно и бомбы.

Заведующий фермой Богоявленский, показывая помещение, надеялся, что полицейские не заглянут в комнаты его квартиры. А если будут рыскать везде, то как важно, чтобы Екатерина Ивановна не рас-

терялась и потверже заявила, что больной заразен, придумала бы какую-нибудь заразную болезнь. Но как ее предупредить?

Покончив с обыском на ферме и при этом ничего не обнаружив, полицейские разозлились. Если жандармский полковник уверен, что здесь склад оружия, его не переубедишь, уж таков характер у этого самовлюбленного самодура. Значит, не миновать им начальственного разноса.

Ротмистр Еремин, руководивший обыском, решил, надо осмотреть и квартиру заведующего. Никто его за это не упрекнет — времена теперь такие, что ордера на обыск не всегда успевают выписывать.

Полицейские вошли в комнату, где лежал Борис тогда, когда Екатерина Ивановна уже решила, что обыск окончен. От неожиданности она растерялась.

— Кто такой?

— Это больной, а я платная сиделка.

— Чем болен?

Екатерина Ивановна ответила не сразу. Ведь, кажется, все продумано, учтены все случайности, и вот, пожалуйста, ей, медицинской сестре, в эту минуту не может прийти в голову ни одного названия болезни.

— У... у них горячка...

Сказала и ужаснулась. Тиф, дизентерия, оспа, наконец, да мало ли на свете заразных болезней. Но теперь уже поздно. Борис стонал. Температура, наверное, была уже под 40°, и он только усилием воли заставлял себя не терять сознание, не бредить. А сознание все время мутилось, одеяло просто жгло. И Борис не совладал с болезнью. На какое-то мгновение он, наверное, потерял сознание и заметался в жару. Сбросил одеяло... Ротмистр увидел под распахнутой ночной рубашкой бинты, спеленавшие грудь молодого человека. Значит, это не горячка, значит, под бинтами какая-то рана...

— Фамилия?

— Он не слышит, господин офицер...

— Помолчите, горячка.

Ротмистр потребовал объяснений у Богоявленского. И кстати, хозяин квартиры обязан знать, имеется ли у его квартиранта вид на жительство.

— Но, господин ротмистр, этого молодого человека принесли на руках на ферму. Паспорт у него есть, я проверял, а расспрашивать не стал, так как он почти все время или без сознания, или бредит.

Богоявленский подошел к столу и вытащил из ящика паспорт.

— Изюмский мещанин Самойленко, Петр Николаевич. Так! А паспорт-то не прописан, господин Богоявленский.

Дымов! Возьмешь трех человек и останешься здесь до утра. Да смотри в оба. Вас, сестрица, попрошу из квартиры не выходить. Кто бы ни явился, задерживать. Слышишь, Дымов! Утром тебя сменят.



— Слушаюсь, ваше благородие!
— Господин Богоявленский, прошу вас следовать с нами.
— Но по какому праву, господин ротмистр?
— В управлении разберемся.

Было уже утро, когда уставший ротмистр Еремин, наконец, закончил составлять рапорт. Он считал, что поработал сегодня славно. Во-первых, этот самый Самойленко оказался известным полиции агитатором. Еще в апреле он приехал в Киев из Одессы, проживая по паспорту Александра Перфильева. Тогда же был и арестован. Департамент полиции распорядился отправить его в Курск.

Ротмистр гордился тем, что его картотека в отличие от картотек других отделов — в отличнейшем состоянии.

Правда, ему ничего не известно, что стало с Самойленко после отправки в Курск. То ли он бежал, то ли его почему-либо освободили, но факт остается фактом — у этого молодого человека огнестрельное ранение. И вполне возможно, он получил рану во время беспорядков в саперных частях.

Самойленко он или нет — это уж пусть следователи разбираются,

а вот ротмистра заинтересовали сапоги этого раненого. В Киеве только один сапожник умеет так шить сапоги. И ротмистр тоже шьет у него. Но этот сапожник обслуживает исключительно господ офицеров и не принимает заказов у штатских.

А что если и этот Самойленко — офицер?

Еремин справился в отделе розыска — не поступало ли от командования частей Киевского гарнизона рапортов об отлучке или исчезновении офицеров. Младший делопроизводитель сначала ответил, что не помнит и вообще пусть ротмистр зайдет утром, а то сейчас голова гудит от бессонницы. Пришлось прикрикнуть. И вот рапорт. Ого, да он помечен еще началом декабря.

Саперное командование сообщает охранному отделению приметы пропавшего офицера, некоего Бориса Петровича Жадановского.

«Рост 2 аршина 2 вершка, самый маленький офицер в 3-й саперной бригаде. На вид болезненный, лицо продолговатое, без растительности, изможденное. Глаза светло-серые, подбородок слегка выдается, нос небольшой с маленькой горбинкой, зубы обыкновенные. Шатен, причесывается ершом...

Мать Жадановского, прочитавши объявление о смерти сына, прибыла из Харькова в Киев и затем наводила справки о покойном (?) сыне, заходила также в канцелярию 5-го понтонного батальона... Заявление о смерти Жадановского для публикации в «Киевской газете» сделал какой-то статский (брюнет). Мать Жадановского (после смерти (?) сына) останавливалась на квартире сына (Московская, 5, кв. 41)».

Значит, «убитая горем» мамаша не очень-то верит в смерть своего сыночка.

А вот и второй рапорт начальника штаба Киевского округа. Начальство просит принять меры к розыску трех офицеров: подпоручика Жадановского, подпоручика Зубкова и подпоручика Баранова. «Последние два офицера 20 ноября подали рапорт о болезни, а 21 числа самовольно отлучились из батальона и до настоящего времени не прибыли к своей части. По имеющимся сведениям, упомянутые три офицера скрываются в г. Киеве».

Так, так! Ротмистр теперь окончательно утвердился в своей догадке, что этот Самойленко — офицер и вероятнее всего один из трех саперных подпоручиков.

— Ну что же, пусть завтра господина Самойленко переправят в военный госпиталь. Врачи подтвердят, что у него никакая не горячка, а ранение и, наверное, пулевое. Когда этот Самойленко немного очухается, его можно будет допросить; не сознается, в запасе имеется подпоручик Замбржицкий. Вертлявый пан должен знать в лицо всех своих саперных офицеров.

Еремин устало потянулся. Черт! Почему ему знакомы фамилии этих пропавших офицеров?

Ротмистр вновь обратился к своей картотеке. Уже давно ушли по домам все, кто принимал участие в ночной облаве, а въедливый служака перебирал и перебирал карточки «книги живота».

И нашел-таки. Ну, конечно, тот же плюгавый пан доносил:

«...Знаю Жадановского еще по Николаевскому инженерному училищу... своими радикальными взглядами, которые разделяли также юнкера Зубков и Баранов (ныне проходящие службу в той же саперной части, что и Жадановский), пагубно влиял на неустойчивые умы некоторых юнкеров...» Ишь ты, пан как велеречив: «неустойчивые умы»...

Еремин вообще в душе презирал вот таких провокаторов. Себя он к ним не относил, более того, собой он гордился. Вернее, гордился своими методами, как он считал, «научными методами» сыска. Это тебе не шерлокхолмсщина, не бульварная натпинкертоновщина, а методика.

Сдав по начальству рапорт, ротмистр заглянул в канцелярию управления. Ему было любопытно узнать, каков же ночной улов «генеральной облавы». В канцелярии уже заканчивали отчет для столичного начальства.

«...Из числа пятидесяти, предназначавшихся к ликвидации, арестовано 17 украинцев, 5 спилковцев, 10 демократов, на улице взято 3 анархиста. Кроме того, на сходке арестовано 11 демократов».

Для «генеральной» не очень внушительный итог.

31 декабря в киевских газетах появилось краткое сообщение: «Киев, 31 декабря (РА). На ферме Политехнического института, находящейся на окраине города, в квартире заведующего фермой Богоявленского обнаружен раненный в грудь молодой человек, пострадавший во время беспорядков 18 ноября; по-видимому, он военный. Больной переведен в военный госпиталь. Богоявленский арестован».

Борис не помнил, как его перевозили в военный госпиталь, как устраивали в арестантской палате для политических. Когда он пришел в себя, то вместо милого и ставшего таким родным лица Кати увидел жесткую щетину усов, к которой каким-то непонятным образом были прикреплены кончик носа и золотое пенсне. Главный врач госпиталя, видимо, только что закончил обход. Он не обратил внимания, что вновь поступивший раненый пришел в себя, он его осмотрел, когда тот был в беспамятстве. Что ж, больному нужна операция множественного удаления ребер, а потом 4—5 месяцев лечения. Но вряд ли этот юноша перенесет операцию.

В палате-камере стояла еще одна койка, но она пока пустовала.

Боже, как же тяжело лежать в одиночестве. Он не видит окна, но знает, что оно зарешечено, солнце отпечатало эту решетку на противоположной от окна стене. Да, в военных госпиталях есть палаты-

камеры, он знал об этом и раньше. Но он не знал, что так невыносимо медленно тянется время, когда ты один и только тишина соседствует с койкой. Как быстро пролетел месяц на ферме. Месяц, когда рядом была Катя. Где она, что с нею? Может быть, ее тоже арестовали? Он ничего не помнит, ничего...

Дверь в палату открылась с каким-то поразительно неприятным скрипом, но кто здесь, в тюрьме, будет печься о нервах узников.

В палату вошел офицер.

— Военный следователь Архипенко.

Борис ничего не ответил. Но тревожная мысль тут же застряла в голове. «Почему следователь военный?» Только теперь он подумал, что и военный госпиталь тоже неспроста. Неужели он проговорился в бреду и следователю известно, что никакой он не Самойленко, а подпоручик Жадановский.

— Кто вы такой?

Как странно этот следователь ставит вопрос. «Кто», а не как ваша фамилия. Ну что же, надо отвечать.

— У меня есть фамилия, имя, отчество, и они вам великолепно известны!

— Как вас зовут?

— Петр Николаевич Самойленко.

— Нет, вы не Самойленко, это мы установили. Кто вы такой?

Ага, плохо, конечно, что они не верят в Самойленко, но уже хорошо и то, что настоящей фамилии они пока не раскопали. Борис решил молчать. Он не собирается облегчать работу палачам. Следователь еще несколько раз задавал этот же вопрос, и каждый раз ответом было молчание.

И так день за днем, день за днем.

Однажды заскрежетала дверь, и Борис подумал: что это сегодня следователя принесло ни свет ни заря. Но к кровати подошел какой-то солдат. Постоял, вглядываясь Борису в лицо. Потом молча повернулся и вышел. И снова скрежет двери, снова в палату входят незнакомые люди, оглядывают больного, качают головой или отводят глаза и быстро уходят.

«Ничего себе, смотрины устроили. Хотят, чтобы меня кто-либо опознал».

Так продолжалось несколько дней. Перед Жадановским прошла длинная вереница самых разных человеческих лиц. И он был благодарен им, в их присутствии томительное одиночество отступало, хотя люди не произносили ни слова.

6 января особенно густо повалили солдаты. Борис вспомнил, что сегодня «царский день» — Никола. Обычно в этот день солдатам дают увольнение, но вряд ли они по своей охоте пошли бы в госпиталь, похоже, их привели строем. И все больше саперы. Замелькали знакомые лица. Конечно, многие солдаты его узнали. Борис за эти дни

«смотрин» научился читать мысли по глазам. Но никто не воскликнул, не подал вида, не сказал, что на койке лежит подпоручик Жадановский.

Борис устал и незаметно уснул, но и во сне его преследовал парад лиц. Только во сне они неузнаваемо преображались, иногда напоминали восковые маски с нелепо торчащими усами или вдруг на него наваливались, обдавая зловонным дыханием, какие-то кривляющиеся рожи.

— Борис Петрович, Борис, да проснись же, господи!

Жадановский открыл глаза. Уже темнело, и палата только немного подсвечивалась красноватыми бликами заходящего багрового солнца. Когда глаза привыкли к сумеркам, Борис различил стоящего перед его постелью офицера. Замбржицкий! Только почему на нем адъютантский аксельбант? Или за эти дни подпоручик продвинулся по службе?

— Борис Петрович! Как ты изменился, дорогой мой?!— Замбржицкий расплылся в радостной улыбке.

Ну что же, и эта партия проиграна. Как жалко, что 18 октября рабочие-дружинники спасли пана подпоручика от погромщиков. Запираться теперь уже бессмысленно.

— Очевидно, я не настолько изменился, чтобы ты, полицейская шкура, меня не узнал.

Это была хорошо рассчитанная пощечина, и она попала в цель. Подпоручик скривился, словно его схватили острые колики в животе. Казалось, он сейчас ударит больного или разразится потоками брани. Борис отвернулся к стене. Он слышал, как в палату зашел еще кто-то, как снова завизжала дверь. Не все ли равно теперь.

ГЛАВА X

Киев, впрочем, как и все крупные города Российской империи, в эти месяцы напоминал захолустную провинцию. Никто ни к кому не ходил в гости, театры пустовали, безлюдны были аудитории университета, институтов, классы гимназий. И только слухи, слухи, слухи. И верили им больше, чем газетным сообщениям. Слухи проникали сквозь стены, волновали, заставляли надеяться и негодовать, ловить новые известия и затыкать уши.

Ошеломили Россию первые сообщения о Московском вооруженном восстании. Десять дней, десять ночей город не спал, город ждал. Не ходили поезда, молчал телеграф, прекратился поток писем. Газеты только вносили разнобой, и каждая врала по-своему.

Тяжелой вестью отозвалось правительственное сообщение о том, что беспорядки в первопрестольной столице подавлены вооруженной силой «доблестных» гвардейских полков. Впрочем, «успокоение»

Москвы продолжается. Как умеют «успокаивать» каратели, жители империи уже знали. Но вот из Забайкальской дали — Читы и Благовещенска добралась и до Киева радостная весть — вооруженное восстание в этих городах победило, власть в руках местных Советов. В Киеве тоже был Совет рабочих, но об этом знали в рабочих кварталах и не слыхали на Крещатике. Зато на Крещатике знали, что по Великой Сибирской магистрали с запада на восток движутся каратели под предводительством усмирителя «севастопольских бунтовщиков-матросов» барона Меллера-Закомельского, а с востока на запад спешит другой палач — генерал Ренненкампф. Пройденные версты они отмечают виселицами, а ведь Сибирский великий путь растянулся на десять тысяч верст.

Все ждали, когда же подымется пролетарский Питер. Но киевские большевики знали, что засевшие в столичном Совете рабочих депутатов меньшевики сорвали вооруженное восстание.

И в Киеве давно разобраны баррикады. А ведь после восстания саперов местные власти ожидали, что рабочие поднимутся на вооруженную борьбу. Их особенно тревожил район Шулевки, где расположен машиностроительный завод Гретера и Криванека. В этом рабочем поселке обосновался киевский Совет рабочих депутатов, изгнавший из поселка представителей официальных властей. Рабочие так и именовали поселок «Шулевской республикой». Но она продержалась всего лишь месяц. В ночь с 15 на 16 декабря 8 рот пехоты, отряды драгун, казаки, полиция окружили район Шулевки. Дружинники отстреливались, но их было мало, очень мало.

И теперь в новом году только слухи.

Они просочились и в палату, где лежал Борис. Один слух был страшный: «Саперов будут судить военно-полевым судом». Это не требовало комментариев: военно-полевые суды не приговаривали к тюремному заключению. Они только в исключительных случаях освобождали, в остальных расстреливали. И середины не было.

Это известие вновь уложило Бориса в постель, хотя он и понимал, что его лечат только для того, чтобы потом судить и расстрелять. Но именно теперь он хотел быть вместе со своими саперами. Сейчас! Сегодня! И снова койка.

Еще несколько дней назад он писал домой: «Здоровье улучшается. Температура, сон, аппетит, все нормально...

Никто не приходит. Сижу один. Дело следствием закончено и передано военному прокурору. Разбор после пасхи, а обо мне — по выздоровлению. Писем ниоткуда еще не получал. Ваш Боря».

Спокойно, с ясным сознанием выполненного долга.

Слухи о военно-полевом суде над саперами всколыхнули притаившийся Киев...

Готовились забастовки протеста на киевских фабриках и заводах.

Заявил о себе и Киевский Совет, с которым, как считали местные власти, покончено.

В эти дни в богатых квартирах известных киевских врачей, профессоров университета, адвокатов раздавались осторожные звонки. Посетители — студенты, гимназисты, кто бойко и бесцеремонно, а кто и робко предлагали поставить свои подписи под «прошением на высочайшее имя...»

«Мы, нижеподписавшиеся граждане г. Киева, просим...»

«Мы, нижеподписавшиеся... протестуем...»

«...о неприменении военно-полевого суда и смертной казни над саперами и другими участниками манифестации 18 ноября в г. Киеве...»

«Профессор А. Радунг, профессор Б. Вотчал, профессор В. Шапошников, профессор А. Нечаев, доктор И. Фаворский, доктор Д. Русских». Приват-доценты, доценты, адвокаты, учителя.

Нет, не «прошения» и не «протесты» на «высочайшее» подействовали на власть предержащих. Их напугала зловещая тишина рабочих окраин. Она могла взорваться митингами, забастовками, выстрелами.

Военно-полевого суда не будет.

Адвокаты, профессора, доценты стали говорить о себе во множественном числе — «мы протестовали! Мы, мы, мы!».

Газета «Голос солдата» 15 марта 1906 года обратилась к солдатам саперам и разъяснила — кто?

«...Своей жизнью, кровью и лишениями, вы добыли те улучшения, которыми пользуются теперь и стрелявшие в вас еще темные солдаты, ваши подневольные убийцы... Кровожадное правительство грозит вам каторгой и смертью. Товарищи! будьте тверды, не падайте духом!.. оставшиеся на воле товарищи продолжают работу. Может быть, их ожидают еще неудачи. Но это не остановит общего дела, в скором успехе которого мы твердо убеждены.

Пусть царское правительство присуждает борцов за свободу к многолетней каторге, думая просуществовать еще десятки лет. Все, что творится кругом, говорит нам, что близок конец торжеству насильников...»

Да, они не подписывали обращений, но именно их испугались власти.

23 марта киевский военно-окружной суд начал слушанием дело о восстании саперов. Все 106 человек, привлеченных к суду (из них 4 офицера: Пилькевич, Черепанов, Кочергин, Жадановский), обвинялись по 110-й статье, в «преступлении явного восстания». Дело о Жадановском было выделено из общего судебного процесса и должно было слушаться после выздоровления обвиняемого.

Невиданная жестокость приговора не удивила Бориса. Он знал,

за что и кто судит саперов. Каторга, многолетняя каторга почти всем обвиняемым. Смертная казнь, в виде милости замененная пожизненным заключением, ближайшим его помощникам — Ивану Коровину, Фоме Квашнину и Трофиму Рябому — потрясла Бориса. В его памяти возникали строки из обвинительного акта:

«...Коровин и Квашнин насильственно выдворяли солдат из казармы для участия в бунте... прикладами выталкивали не желавших идти...», «...они шли в арьергарде, образуя заставу, чтобы никто не ушел...» — да что там не пиши в судебной писульке, эти смелые, умные и чудесные люди были наиболее близкими его соратниками, они вместе с ним вели тысячи саперов навстречу буре, навстречу лучшей жизни и сделали все, что смогли...

Офицеры поручик Пилькевич, подпоручик Черепанов и прапорщик Кочергин по недоказанности обвинения были оправданы. Эту весть принесла в госпиталь Катюша. Она навещает Бориса как невеста.

Солдаты пойдут на каторгу — это и его вина. Напрасно Катя старается убедить, что никто не виноват в том, что саперы выступили преждевременно, что их не поддержали солдаты других частей — такие, как он, не умели перекладывать ответственность на чужие плечи. Радовало, что Пилькевич и другие друзья-офицеры из их кружка на свободе.

Вообще эта весна — весна радостей и огорчений.

Живительное солнце, первая проклюнувшаяся зелень, воздух, который хотелось пить, а не дышать им — все это была жизнь. В такие дни менее всего думалось о смерти. Возвращение к жизни невольно навевало мысль о бессмертии. Ведь ему было немногим более 20 лет, и бессмертие в эти годы кажется вполне реальным. В эти годы не заглядывают за борт жизненной «колесницы». Не «колесницы», а «телеги» — поправлял какого-то древнего автора Борис. Эта пышная фраза запомнилась ему с детства. Мать прочла ее вслух, усмехнулась — у Ольги Николаевны был отличный вкус,— а потом задумалась, опустила книгу. И, может быть, эта внезапная задумчивость сказала ему больше, чем пышная риторика, чем даже усмешка матери. Значит, она тогда уже не верила в бессмертие?

А теперь она не хочет верить, что ее сын — революционер, что он не случайно оказался в строю саперов. И все надежды Ольги Николаевны на то, что «может быть, даст бог, суд выяснит все» — это только и утешает ее. А ведь он знает, за что его будет карать царское правосудие. Но маме так легче.

Борис сидел на лавке, во внутреннем дворе госпиталя, и перечитывал это так запоздавшее письмо от родных. Бедная мама, она пишет: «Не зайди этот несчастный Пилькевич, ты не пошел бы: не поплатился бы здоровьем, не был бы обвинен. Я глубоко убеждена, что ты не виноват! Но как это доказать...»

«Несчастный Пилькевич» сегодня доставлен в госпиталь и помещен на свободной койке в палате Жадановского.

Поэтому сегодня Бориса не радует очередная перевязка. Обычно он ждет ее не дождется. Перевязка — это и прогулка. Сначала с полверсты в коляске, от летнего корпуса госпиталя в зимний, а потом полчаса наедине с весной.

А сегодня ему кажется, что и санитар с коляской запаздывает, и врач не торопится. Что-то ощупывает и при этом делает больно.

Санитар очень удивился, когда Борис отказался от обычного отдыха на воздухе и попросил помочь скорее добраться до палаты.

Пилькевич был просто нашпигован новостями.

От Зубкова и Баранова приходят письма. Конечно, очень неосторожно с их стороны писать, полицейские «черные кабинеты» действуют сейчас вовсю.

— Да, Боря, поговаривают, что тебя выдал отец.

— Отец? Кто смеет распространять такую мерзость?

— Не кипятись. Я это слышал от Екатерины Ивановны, и хотя она не верит, но в военной организации почему-то уверены, что это правда.

— Какой-то негодяй старается опорочить и меня, и отца. Как отец мог меня выдать, когда и он не знал моего местожительства.

— Разве он не навещал тебя на ферме?

— Какая ерунда! Если бы отец и нашел бы меня каким-то чудом у Богоявленского, то обязательно бы поговорил со мной.

— Но ведь ты все время был в беспамятстве!

— Снова ложь. У меня были обмороки, но они длились по нескольку часов, а когда кончались, я приходил в себя и слово в слово помню все разговоры.

— Ну, конечно, ты слово в слово помнишь все нежные слова, которые сказал Катюше...

— Перестань. Я люблю Екатерину Ивановну, она моя невеста, но сейчас речь не о том.

— Успокойся и ни звука Кате. С тебя довольно и того, что она возмущена этими слухами.

Пилькевич был не рад, что заговорил с Борисом об отце, о сплетне, которую кто-то умело пустил, чтобы опорочить не только сына, но и всю семью. Правда, немного восторженный и во всяком случае настроенный романтично прапорщик Кочергин, услыхав о «предательстве» отца Жадановского, понес несусветную чушь — де, мол, и в России есть свой Овод, найдутся и те, кто будет его воспевать. И все в таком же духе. Уж если и впрямь Борису уготована судьба Овода, то в русском варианте отца не будет.

Неделя, которую Пилькевич провел с Борисом, ожидая повторно-

го суда, назначенного над оправданными офицерами по протесту прокурора, пролетела, как день.

Когда же Жадановский снова остался в одиночестве, он встревожился: всю неделю не приходила Катя и нет писем.

ГЛАВА XI

Боевик Антон Иванович Чайкин был молод, и ему казалось, что старшие товарищи по военной организации Киевского комитета РСДРП вряд ли поручат ему какое-либо серьезное дело.

Правда, в комитете к нему стали относиться с бо́льшим почтением, после того как он добыл 20 револьверов системы «наган». Он всячески уходил от ответа на вопрос — где и как раздобыл оружие. Ну как признаться, что он его попросту стащил со склада 2-й запасной пешей батареи...

Вот уж действительно эти пехотные батарейцы. Живут в казарме, как в курене каком-нибудь. Бородатые все и все богобоязненные. Сначала Чайкина, наблюдавшего из окна своей комнаты за бытом батарейцев, расположившихся по соседству, просто до чертиков веселило, как эти бородачи утром и вечером истово били поклоны и крестили лбы.

Но его гораздо больше заинтересовал тот факт, что во время вечерней молитвы даже часовой у склада покидает свой пост и присоединяется к молящимся. Сколько раз ему доводилось видеть, как появившийся во дворе казармы артиллерийский капитан чуть ли не кулаками загонял часового обратно на пост. Но капитан в казарме бывал редко. А фельдфебель тот ничего, не ругался и на пост часового не гнал. Чудеса! Вот что значит запасники — тыловики. Небось призвали по случаю войны с япошками, а теперь держат. А бородачи спят и видят — как до дому податься — царская служба для них хомут, одно разорение.

И у Антона родился дерзкий план. Подкараулить, когда часовой пойдет лоб крестным знамением перечеркивать, да и забраться в склад. Дело нехитрое. Конечно, со двора к складу не подойдешь, но задняя его стена прямо в дощатый забор уперлась. Да и сам-то склад — сарай какой-то, приспособили на скорую руку.

Чайкин вспомнил, как однажды, когда он еще босоногим по родной деревне бегал и слыл первым сорванцом, решили они, голодранцы, к одному мироеду в клеть заглянуть. Уж очень прижимист и жаден был этот хозяйчик. Днем оглядели клеть из кустов и нашли уязвимое место — дощатый простенок. Доску отломить, и готово. Конечно, взрослый в ту щель ни за что не пролезет, ну, а пацаны преспокойно проскользнули.

С этой деревенской поры не много лет прошло. Но вот он, деревенский парень, попал в город, на завод. Оказался он смелым

и смышленым. Ни одна забастовка, ни одна стачка без него не обходилась. А как началась революция, очутился в Киеве на «Арсенале».

Ну, да ладно. В общем, две дощечки в заборе он днем втихую «повредил», да и в сарайчике нашел пару плохо подогнанных — это когда часовой на молитву отлучился. Потом два вечера выжидал — ничего не приметили? А на третий во время разговора бородачей с господом богом в тот сарай с мешком и залез. Повезло, конечно, в темноте руки сразу револьверы нащупали. Эти бородачи их прямо на полке навалом свалили. Сыпанул в мешок и ходу. Чуть не застрял и шума не наделал, но ничего, обошлось.

В военке хвалили, ну и отругали, конечно, по первое число. Поделом. Револьверы эти он так навалом через весь город в том мешке на явочную квартиру приволок. А зачем, спрашивается? Хранить их там, что ли? Приказали унести, да не все сразу, и спрятать в надежном месте. А где его, надежное, сыщешь?

Комнату он на всякий случай сменил, от греха подальше, да и от бородачей тоже. Теперь живет на Святославской улице.

Место тихое. Ну и спрятал у себя в шкафу, благо шкаф со здоровенным замком.

Об этом тоже в комитете говорить не след. Не положено членам военной организации дома хранить оружие. А куда его денешь?

Правда, есть у него один адресок. Да он туда больше не пойдет. Неудобно как-то. Дело было еще в октябре. Поручили ему отнести по этому адресу штук пять револьверов, тоже «наган». Понес. А когда дом нашел — оторопь взяла. Дом на Скобелевском бульваре. Трехэтажный. Окна большущие так и сияют. Шторами завешаны. На парадной двери ручки бронзовые, да еще какая-то медная дощечка прибита. Решил, что ошиблись в комитете, не иначе в доме том какие-нибудь хозяева важные живут.

А тут еще пес дворника накликал. Спрашивает — кого надобно. Ну и сказал, кого. Этот черт косоглазый осмотрел со всех сторон и указал калитку, там тоже дверь в дом имеется, только ход через кухню. Значит, не ошиблись комитетчики. Зашел, а во дворе пристроечка — флигелечек.

Встретила этакая авантажная старушка не старушка, но дама уже пожилая. Ну, как положено, он пробормотал пароль, а сам глазами по сторонам, на случай огляделся, если уходить спешно придется.

Но нет, ведет та дама в комнаты, заводит в спальню. «Ну, — говорит,— выкладывайте штучки». Выложил, а мадам посмотрела и поморщилась. «Опять,— говорит,— наганы, ужасно на них спать неудобно». Вот тебе и раз — спать на наганах. А старушка посмеивается: «Браунинги — те плоские, положишь под перину, подравняешь и хорошо, а наган, как ни верти, барабан все равно выпирает, в бока впивается». С этими словами старушка перинку на кровати откинула, мать честная, а там у нее оружейный склад.

Когда в комитете рассказывал, хохотали до упаду. Старушка-то, оказывается, еще народовольцам помогала и сама царя вызывалась убить.

Размышления Чайкина были прерваны звонком в передней.

Квартирка у него теперь удобная, со своим входом, большой прихожей и чуланом. А хозяина — Александрова — никогда почти дома не бывает.

Чайкин, прежде чем открыть, помедлил. Если свой, за первым звонком должен дернуть подряд еще три раза.

Три звонка возвестили, что пришел кто-то из своих.

Вошел молодой человек, хотя и постарше Чайкина. На нем штатское пальто, но армейскую выправку не скроешь. Чайкин с этим человеком встречался в военной организации. Однажды он вместе с группой рабочих под руководством этого товарища учился как следует стрелять.

— Рудановский!

«Рудановский или не Рудановский — это дело не меняет, а пароль со звонком правильный»,— подумал Чайкин.

— Антон Иванович, товарищи из комитета поручили мне, и назвали еще и вас, организовать побег одного очень нужного нам человека. Он лежит раненный в военном госпитале. Его будут судить за участие в восстании саперов и... сами понимаете. Скажу еще, он офицер, и поэтому приговор ясен. Расстреляют. Как вы посмотрите на мое предложение. В таких делах не приказывают. Нужно ваше добровольное согласие. Если вы не согласитесь, то будем считать, что разговора между нами не было, и забудем об этой встрече.

«Вот чудак человек, не соглашусь! Да это, кажется, первое стоящее дело, в котором ему предлагают участвовать».

— Конечно, согласен!

– Так сразу, без оглядки?

– Так сразу. И что я должен делать?

— Пока ничего особенного. Вы знаете, где расположен гарнизонный госпиталь?

— Знаю.

— Так вот, побродите вокруг, но не очень примелькайтесь часовым. Посмотрите дороги к госпиталю. Не забудьте, мы должны увезти раненого, сам он пока передвигаться не может.

— Понятно.

— Думаю, и он сообщит свои соображения насчет побега.

На этом и распрощались.

Антону не терпелось. Был бы день, он тотчас бы отправился к госпиталю, но уже на Киев наползали летние сумерки — ни чего в них не разглядишь. Придется ждать до завтра.

Чайкин решил никуда не выходить, а так просто пофантазировать, может, что и придет на ум,— как лучше устроить побег.

Эх, вот беда, мало ему довелось на своем веку книг нужных почитать, а ведь, наверное, в них написано и про побеги. Во всяком случае товарищи постарше рассказывали, например, как в 1902 году здесь же в Киеве удрали из Лукьяновской тюрьмы десять «искровцев». Чистая работа! Усыпили надзирателей, часового попридержали, состроили пирамиду, став друг другу на плечи, лесенку из простынь свитую к стене пристроили,— и поклон.

Да, так из госпиталя не убежишь, да к тому же этот офицер ранен, передвигаться сам не может.

Выходит, надобно внутрь проникнуть да на носилках выносить. Беда! Здесь вдвоем не справиться, всю дружину придется поднимать — самых отчаянных ребят.

А потом, конечно, и лошадка добрая понадобится.

Антон с детства любил лошадей, впрочем, как и большинство деревенских мальчишек. Лошадь — она прежде всего кормилица, без лошади — хоть по миру христовым именем побирайся. Ну, а ночное — это то немногое, что доставляет радость и доступно сельским ребятишкам. Без лошади и в ночном делать нечего, сам пастись не будешь.

Вспомнив о лошадях, Антон вдруг припомнил рассказ старого извозчика из бывших столичных жокеев. Когда-то он выступал на скачках, сам поигрывал, а когда немного отяжелел с годами, подался в родные края на Украину.

Ныне он в Киеве заведение прокатных лошадей содержит.

Чайкин познакомился с бывшим жокеем случайно, во время памятных событий вечера 18 октября. Тогда Антон вместе с дружинниками из самообороны воевал с погромщиками. Как раз они и засели возле конюшен этого жокея. Его Ефимом Силычем зовут.

Ну, постреляли, не без этого... И вдруг из ворот, что на конский двор ведут, выскакивает этот Силыч и караул кричит. Погромщики со злости, что не могут мимо конюшен к облюбованному дому пробиться, решили конюшню запалить. Пришлось дать еще несколько залпов. Силыч молодцом оказался, рукой махнул — айда, значит, к нему во двор — услуга за услугу. Так и познакомились.

Силыч жил одиноко. Сам на стол накрыл, графинчик поставил. Но здесь Антон тверд — ни-ни, в рот никогда этого зелья не брал. А бывший жокей все прикладывался да прикладывался, графинчик два раза долил. Ну и захмелел. А пьяненький удивительную историю рассказал. Антон и сейчас помнит хрипловатый голос старика:

«Ты вот, мастеровой, совместно с работягами из пугачей постреливаешь, еврейскую нацию охраняешь. Твое, паря, дело. А я тебе скажу — в мои-то годы с этими револьверчиками куда как солидные люди баловали, да не в погромщиков палили, а в генералов да губернаторов, ну и до самого царя дотянулись. Слыхал небось. Так-то и оно. А я, надо тебе заметить, знавал кое-кого из этих господ. Да, да, средь них господа из важных были. Небось о Перовской знаешь? То-то. Мне



самою-то видать довелось только в петле — был я в тот день на Семеновском плацу. А вот батюшку ее, Льва-то Перовского, петербургского губернатора, как тебя наблюдал. Любил лошадок, его высокопревосходительство. На конюшни не гнушался захаживать.

Или возьми, к примеру, князюшку Петра Кропоткина. Так тот лошадкам, можно сказать, жизнями обязанный. То-то! Да ты не качай, не качай башкой-то.

Вот о Варваре-то небось и не слыхал? То-то! А я на нем призы брал. Зверь конь! На этом коне Петр Кропоткин среди бела дня из тюремной больницы ускакал. То-то!»

Вот досада! Ведь не расспросил тогда старика, как «из тюремной больницы ускакал» Кропоткин. Ни к чему было. А теперь хоть беги к Силычу да подробности выпытывай.

Он еще что-то про подвиги Варвара болтал, будто даже арестовали полицейские этого коня. Небось спьяну наговорил.

Но важно то, что Варвара эти террористы брали напрокат. И у Силыча прокатная контора, или как она там называется. Может, подберет старик лошадку, вроде Варвара, чтобы ни одна полицейская кляча не угналась?

После секретных услуг, которые оказал командованию и военно-судебным властям вновь испеченный адъютант саперной бригады Замбржицкий, у него появились немалые деньги. А с ними повысилось и настроение.

Замбржицкий с удовольствием разглядывает себя в большое трюмо, заботливо поправляет аксельбанты. Он гость очаровательной пани Зоси.

— Подпоручик, ну что же вы, я жду.

— Милая пани, как я давно не слышал из ваших уст это заветное слово «жду».

— Ах вы, несносный господин адъютант. Впрочем, если вы возьмете на себя заботы о пикнике, о котором прошлый раз мы говорили у госпожи Пешковской, то так и быть, на лоне природы я буду более снисходительной.

— Пани, я к вашим услугам. Лошади будут, назначьте только день.

— Ловлю вас на слове. Мне хотелось, чтобы это было уже завтра!

— Пани Зося, дозвольте ручку, и я бегу, немедленно убегаю. Сейчас в Киеве не так-то просто достать приличных верховых лошадей, да еще под дамским седлом.

— Спешите, подпоручик, и не забудьте известить меня об успехе ваших поисков.

Замбржицкий с чувством расцеловал руки хозяйки. Хорошо сказать — раздобыть лошадей. Конечно, можно взять в офицерской ко-

нюшне. Но эти битюги никогда не ходили под дамскими седлами. Да и дамских седел в полковой конюшне просто не имеется.

Замбржицкий брел по Киеву, не замечая прохожих, встречных солдат, старательно застывающих «во фрунт». Машинально отдавал честь офицерам.

Когда Замбржицкий зашел в тетрасадь, где можно было получить прокатных лошадей, то услышал в открытое окно неторопливый разговор.

— Ты, паря, сразу видать, деревенский. Аль не угадал?

— Угадал, Ефим Силыч, угадал!

— То-то! Ты все норовишь коню в зубы заглянуть, ровно цыган какой или барышник. У меня лошади теплое обращение понимают, то-то. Ты на экстерьерчик гляди, пройдись с ней по кругу. Э, да что тебе толковать-то. Тебе, значит, требуется конь резвый, но не под седло, а в упряжку.

А упряжка какая? Экипаж на дутиках, кабриолет, дрожки? Не ведаешь? То-то. Этак разговора у нас не выйдет. Не знаю, мил человек, какого коня тебе надобно!

Замбржицкий выглянул в окно. Во дворе стоял хозяин тетрасаля. Подпоручик успел убедиться, что отставной жокей — человек добросовестный, лишнего не берет и клячу вместо иноходца не подсунет. Рядом с ним с расстроенным лицом переминался с ноги на ногу какой-то молодой парень, явно рабочий.

Нелепая причуда? Мастеровой в тетрасале выбирает коня и при этом просит резвого, но для упряжки. А в какой экипаж, и сам не знает. Странно. Даже очень странно.

Когда мастеровой, искоса взглянув на щеголеватого офицера, вышел из тетрасаля, Замбржицкий завел с хозяином разговор о лошадях. В чем в чем, а в лошадях он толк понимал. Вспомнил Петербург, столичный ипподром. Старик расчувствовался, повел подпоручика в конюшню.

— Оно, конечно, господин подпоручик, лошадки у меня не бог весть какие. Раньше из заведения великого князя Николая Николаевича имелись да графа Замойского. А вот теперь нет. Продал-с.

Да и к чему они мне. В минувший год, к примеру, чуть было не разорился... Кони меня с овсом сжевали. Доходов никаких. Так и то правда, кому в такую беспокойную пору на ум взбредет верховыми прогулками баловаться иль там пикники устраивать.

Подпоручик поморщился, старик прав, конечно, и в этом году пора пикников еще не наступила. И, чтобы смягчить разговор, Замбржицкий поинтересовался:

— Скажите, уважаемый Ефим Силыч, что это за прелюбопытный господин тут передо мной коней выбирал? Каюсь, слышал конец вашего с ним разговора и только диву давался.

Старик насупился. Не в его правилах было передавать разговоры

клиентов. Уплатил деньги, лошадей получил, ну и с богом. Но этот офицер действительно дока по конской части и, если слышал разговор, то, конечно же, в недоумении.

— Кто его ведает, господин подпоручик, зачем тому господину лошадка понадобилась. Молодо — зелено. Может, деньжата шалые завелись и решил пошиковать. Какую-нибудь мамзель из прачечной прокатить, а может, и еще для каких надобностей. Я к таким, с позволения сказать, клиентам со всей осторожностью — неровен час, грабители. Случалось, ваше благородие, нанимали-с. И экипаж самый что ни на есть роскошный, подкатывали к лавке иль к особняку и «руки вверх». Потом с полицией хлопот не оберешься.

Старый жокей хитрил. Ему не хотелось рассказывать о рабочих-дружинниках, спасших его тетрасаль от поджога. Но и Чайкин его раздосадовал.

А подпоручик уже забыл, что его привело на прокатный двор. Старик что-то недоговаривал, и не впервые он встречается с этим необычным клиентом, наверное, ему известна его фамилия. Что же, он постарается ее выведать.

•

Окрыленный, прискакал Чайкин на главную явочную квартиру Киевской военной организации РСДРП. Он надеялся застать здесь всех, кто так или иначе был причастен к разработке планов побега этого офицера из госпиталя. И не ошибся. Рудановский, с которым Антон имел дело, сидел за столом и с наслаждением тянул крепкий чай. Напротив чаевничал какой-то незнакомый Антону мужчина. Элегантный. Бородка клинышком. Смотрит пристально, с прищуром.

— Товарищ Рудановский, простите, встреваю без спросу, но дело прежде всего.

— В чем же твое дело, Антон?

— Я, как вы приказывали, в госпитале все высмотрел и даже офицера повидал. Издалече, правда, но видел. Видел, как он на лавочке отдыхал, такой щупленький, в халатах, ну словно барышня.

Собеседник Рудановского вопросительно поднял брови.

— Речь идет о подпоручике Жадановском, товарищ Никитич. Да и тебе, Антон, пора узнать фамилию своего подопечного. Судя по описанию, ты видел именно его. Но каким образом ты очутился в госпитале?

— Случаем, ей-богу, случаем. Я, как вы наказывали, вокруг крутился, высматривал, а тут, гляжу, в госпиталь дрова завозят. Эдак подвод пять прибыло. Въехали во двор госпитальной гауптвахты, а там, как на грех, один часовой, и разгружать некому. Ну, я, значит, у ворот стал, делаю вид, что любопытство меня разбирает. Вот тогда-то я подпоручика Жа... Жадновского.

— Жадановского.

— Извиняюсь, Жадановского и приметил. Офицер, значит, дежурный орет, где, мол, поганцы санитары? Но куда ему возчиков перекричать. Грозятся уехать иль свалить дрова посреди двора. А офицерик на баньку указывает. Как я эту баню увидел, так сразу смекнул — небось и подпоручика в нее водят. А одной стенкой банька та прямо на улицу глядится. Я эту стенку разве что не обнюхал. Плевая стена, старая и глинобитная. Если хорошенько под стену вдарить или копнуть — вмиг дыра будет и подпоручик в нее в самый раз протиснется. А тут лошадки — и с богом, как князь Кропоткин.

Чайкин тяжело перевел дыхание, вытер рукавом рубахи пот. Никитич, внимательно слушавший взволнованный рассказ боевика, осторожно поставил на блюдце чашку с недопитым чаем, откинулся на спинку стула. Он смеялся каким-то добрым, мягким смехом, который никак не мог обидеть.

— Простите, Антон... как по батюшке-то?

— Иванович.

— Антон Иванович, вы сами придумали этот подкоп — дырку в бане?

Чайкин хотел было рубануть. Ну, чего тут смешного? Конечно, сам придумал и дает голову на отсечение, если хорошей кувалдой по той стене навернуть — глядишь, банька и вовсе развалится. А что, конечно, может.

Никитич уже не смеялся. Обращаясь к Рудановскому, но хитро посматривая на Чайкина, он как бы между прочим рассказывал:

— Готовили мы в прошлом году побег товарищей из Таганской тюрьмы. И тоже решили их через баньку выводить. Но банька там была каменная, стены разве что из пушки пробить. Вот и наметили вести подкоп. С размахом дело было поставлено, даже целое анонимное общество создали, но вот не успели... их народ освободил 18 октября. Я это к тому, Антон Иванович, что мне идея ваша нравится. Зато план ваш никуда не годится. Насколько мне известно, подпоручик едва двигается. Значит, вести подкоп из бани сам не сможет, а больше никого политических на гауптвахте сейчас нет. Подкопаться же под баню через улицу, конечно, возможно. Предприятие это длительное, даже при том счастливом стечении обстоятельств, что вам сразу удастся на противоположной стороне улицы снять подходящую квартиру. А я слышал — Жадановского вот-вот должны судить. Значит, из госпиталя переведут в тюрьму.

Советую избрать другую диспозицию. Да, кстати, а что по этому поводу думает сам Жадановский? Право, ему на месте видней!

— Товарищ Никитич, Жадановскому должны были передать наше письмо, и мы ему этот вопрос задали. Но вот незадача, вдруг невесте Бориса Петровича запретили посещение подпоручика, и связь прекратилась. Но мы ее наладим. Антон, Жадановский за тобой. И письмо от него к тебе будет, готовься.

— Я и так уже лошадок присмотрел. Думаю подобрать не хуже, чем тот Варвар был.

— Антон Иванович, вы прямо подрядились сегодня меня поражать. Оказывается, о Варваре вам тоже известно.

— А как же, товарищ Никитич. Мне о нем рассказал хозяин конюшни, бывший жокей, он того Варвара своими руками щупал.

— Какой еще хозяин? — Рудановский посмотрел на Чайкина встревоженно.— Ты что, лошадей нанимать собираешься?

— А где же их еще взять. Ведь Варвара нанимали.

— Да оставь ты в покое какого-то там Варвара. Нанимать нельзя. Нанимая, ты должен записать свой адрес, фамилию — все это сразу станет известно полиции.

— Товарищ Рудановский прав. Лошадей мог бы нанять какой-нибудь завсегдатай этого тетрасаля. Вот если таковой у вас имеется на примете, тогда рискните.

— Вот что, Чайкин, давай договоримся — лошади не твоя забота. Есть у нас один товарищ — у него собственные рысаки.

— Вы, товарищ Рудановский, тоже увлекаетесь, собственные рысаки? Если они хорошие, то наверняка примелькались. Да хорошие и хорошо стоят. Значит, их владелец состоятельный и известен не менее своих рысаков.

— Никитич, а ведь вы встречали меня в Баку на великолепной паре арабских коней, и кони были ваши.

— Подсидел, подсидел. Но ведь я встречал на вокзале, а не выкрадывал тебя из девичьей башни.

— Сдаюсь. Владелец рысаков в Киеве не живет.

— Э, брат, цыплят по осени считают. Действуйте. А мне Тихвинский нужен.

Когда ушел этот странный человек, к каждому слову которого так внимательно прислушивался Рудановский, Чайкин вопросительно посмотрел на него.

— Да, да, Антон — это приказ. И ты получил его, что называется, из первых рук. Прости, брат, больше сказать не имею права.

ГЛАВА XII

Тревога не покидала Бориса. Теперь уже ясно, к нему не пускают Катю, задерживают письма. Но почему? Какую он допустил ошибку? После долгих раздумий, проверив шаг за шагом все свои поступки в эти последние дни, он пришел к выводу, что, вероятно, в руки охранки каким-то образом попало одно из его нелегальных писем. А написал их несколько.

В последний раз, когда была Катя, он передал с ней письмо к Чайкину с просьбой изготовить пилки, которые легко припрятать, ну, скажем, в подошвах башмаков. Решетки на окнах госпитальной

гауптвахты старые и не стальные, а железные. Подпилить их ничего не стоит. Правда, все окна выходят во двор, но это уже не так важно. Если он окажется во дворе, предположим, ночью, то незаметно подкрадется к ограде. В условленном месте, в назначенный час ему перекинут веревочную лестницу. Полезет он не один. Несколько дней назад в его палате вновь появился сожитель, Виталий Харламов. Подпоручик Одесского пехотного полка, Виталий успел побывать в Маньчжурии. Вот где он насмотрелся на мерзости царизма! И после выхода манифеста 17 октября Виталий растолковывал оный солдатам. Сразу его не взяли, побоялись — солдат на войне — существо отчаянное, заступились бы, но как только Харламов прибыл домой во Владимирскую губернию — схватили и отправили сюда, в Киев, где стоит Одесский полк.

Виталий — мужик здоровый, решетку перепилит и через ограду поможет перебраться, да и сам не задержится.

Замбржицкий не мог забыть о встрече в прокатной конторе. Какой-то внутренний голос подсказывал ему, что тот мастеровой, который спрашивал о лошадях, — человек, коим следует заняться.

На следующий день Замбржицкий снова был в тетрасале. Явился за лошадьми.

— А что, не заглядывал к вам этот вчерашний мастеровой, не знаю, как и величать-то его?

— Антоном, сыном Ивановым зовут, а вот фамилию не знаю, да и ни к чему она мне. Не приходил, ваше благородие, да и то, рано еще. Может, и заглянет, они, арсенальцы, известные выдумщики, особливо из молодых...

«Антон Иванович, арсеналец, это уже кое-что»,— порадовался Замбржицкий и решил, что завтра же зайдет в жандармское отделение.

Наконец-то ему передали письмо Жадановского. Борис Петрович писал Чайкину так, словно знал его давным-давно. Он вычертил подробнейший план больничных помещений, отметил окно, на котором будет подпилена решетка, и даже сделал небольшой чертежик ножовки, которая для этого потребуется.

Антон решил, что ножовку он приготовит сам. Но нарезать такую миниатюрную оказалось нелегким делом. А попросить кого-либо Чайкин не мог. Пришлось мозговать самому, да и внимательно поглядывать по сторонам...

Когда работа была закончена и Антону оставалось немного закалить пилку в термичке, пожилой рабочий, которого все арсенальцы называли не иначе как «дед», поманил его пальцем. Чайкин подошел.



«Дед» огляделся, потом вставил в свой сверлильный станок какую-то деталь и включил трансмиссию. Цех огласился нестерпимым визгом. Старик притянул к себе Антона и прямо в ухо проскрипел:

— Намедни в канцелярии твоей личностью интересовались...

— Откуда ты знаешь, дед?

— Какой-то господин, явно крапивного семени, выспрашивал у канцеляриста про рабочих, которых зовут Антонами Ивановичами, да годки твои называл.

— Эх, дед, мало ли в Арсенале Антонов Ивановичей!

— А вот и мало, с тобой всего трое, да и те двое тебе в отцы годны. Так ты, того, поостерегись! Ты даром что загораживался, да от меня не утаишь, я на старости, он как далече вижу. Ты пилку-то мне отдай, а я внучка налажу, отнесет, куда скажешь. А сам-то поостерегись...

Чайкин стоял в растерянности. А если «дед» и впрямь слышал, такой врать не будет. Но разве можно постороннему доверять адрес явочной квартиры военки?

Дед словно угадал сомнения Антона.

— Ты слухай, слухай, когда дело говорят. Аль пилку для воров-домушников варганил? Ась? То-то и оно. Давай без сумления. И адресок, не бойсь, запомню, говори, пока мой дырокол визжит.

— Прокалить бы...

— А как же! Сам знаю. А ты тикай, тикай, мил человек...

Антон не заставил себя упрашивать. Выйдя на заводской двор, он направился было к проходной, но потом решил, что через забор — оно вернее. Оказавшись на улице, Чайкин остановился в нерешительности. Что же теперь делать? Если действительно им интересуются полиция или жандармы, то домой нельзя. На явочную квартиру тоже. К знакомым и подавно...

И все же он должен дать знать товарищам, что попал на мушку.

И вдруг Антона прошиб холодный пот — дома-то... дома целый арсенал оружия, листовки, письма. Сколько раз ему внушали — дом должен быть «чистым», никаких улик, никаких писем.

Но что же делать, что делать?

Как «дед» сказал — «намедни»? Ну, конечно, пока будут выяснять кто да что, он все успеет вынести из квартиры. И, главное, те самые 20 наганов и письмо Жадановского.

Чайкин решительно зашагал на Святославскую.

Подойдя к дому, он решил дождаться хозяина квартиры и спрятался в тени деревянного сарая. Достал часы — старую луковицу, купленную по случае на базаре. До возвращения хозяина с работы еще три часа. Нет, ждать рискованно.

Чайкин решительно вышел из тени сарая. Но не успел сделать и пяти шагов, как кто-то сзади схватил его за руки. Антон рванулся, упал, сверху на него навалились два дюжих жандарма.

Револьвер, револьвер, как он забыл о маленьком браунинге, который всегда таскал с собой! Антон отчаянно дернулся, освободилась нога, ударил наугад, еще раз, и почувствовал, что он свободен. Вскочил, выхватил браунинг, хотел пристрелить уползающего жандарма, но тут же подумал, что привлечет внимание городового, стоявшего в конце Святославской улицы.

Рванулся к воротам... И в тот момент раздался выстрел, стрелял жандармский офицер из окна комнаты Чайкина. Антон упал.

Жандармский ротмистр доносил 18 июня 1906 года:

«В квартире Александрова, проживающего в доме 11, кв. 9 по Святославской улице, прописанном в означенном доме по паспорту на имя крестьянина Курской губернии... Антона Иванова Чайкина, 23 лет, был произведен обыск, коим обнаружено: 20 револьверов системы «наган», номера коих оказались тождественными с №№ револьверов, украденных из 2-й запасной пешей батареи... Кроме того, у Чайкина обнаружены гектограф, ручной типографский станок в разобранном виде, нелегальные издания, рукописи и письмо арестованного за участие в военном бунте подпоручика 5-го понтонного батальона Жадановского, в коем последний, покушаясь совершить побег, сообщает план такового Чайкину».

Борис проснулся от резкого света, ударившего в глаза через открытую дверь госпитального изолятора.

— Что случилось?

Но старший надзиратель госпитальной гауптвахты жестом приказал одеваться.

По-южному темная июльская ночь. Небо прокололи мириады звездных булавок. Душно.

Посредине госпитального двора чернеет тюремная карета. Значит, его куда-то увозят. Обрывается связь с волей, с товарищами. Досадно! Куда бы его ни перевели, вряд ли сложатся более благоприятные условия для побега, нежели те, которые имелись, пока он находился в госпитале.

Эх, если бы не эта рана! Если бы к нему вернулись былые силы! В эту темень, на этом темном дворе, он бы вмиг рванулся к невысокой стене. Она не выше той, что имеется в каждом солдатском городке, и он одолевал их в два приема.

Да, но сегодня у него ни одного шанса на то, что он перепрыгнет через стену — еще не зажил послеоперационный шов, и легкое, задетое пулей, дышит с трудом.

В карете духота стала невыносимой. Борис хотел уже требовать, чтобы конвоиры открыли дверь, но карета остановилась. Когда его вывели наружу, ему показалось, что ночная тьма и вовсе загустела. Борис огляделся и тотчас заметил, что на звездном небе появились черные заплаты с рваными, зазубренными швами. Башни. Значит, крепость.

Он много раз проходил мимо нее. Да, это тебе не госпиталь, отсюда не убежишь. И сразу стало тоскливо. Заболел шов, и грудь сдавил приступ сухого кашля.

Бориса вели по каким-то лестницам. Низкие сводчатые потолки. Трехметровой толщины стены. Может быть, это зловещий «Косой капонир», в котором, как он слышал, содержат только смертников? Их тут же и расстреливают.

Надзиратель громыхнул связкой ключей. Дверь растворилась в темноту и... захлопнулась за Борисом.

Ощупью он нашел железную койку. Несколько раз больно ударился об угол стола. Темнота была такая, что, как ни напрягал Борис зрение, ничего не мог разглядеть.

Измученный, он заснул.

О провале Чайкина в киевской военке узнали с запозданием.

Несколько дней Рудановский злился и дал себе слово — отстранить от дел этого недисциплинированного подпольщика. Забеспокоился всерьез только тогда, когда с конспиративной квартиры принесли миниатюрную пилку. Хозяин квартиры сообщил, что пилку доставил

какой-то мальчуган. Сам с ноготок, но смышленый парнишка — шепнул пароль, передал и исчез.

А еще через день пришла весть — в перестрелке с жандармами Антон не то ранен, не то убит. Было жалко товарища. Но совершенно необходимо узнать, что стало известно о плане побега Жадановского? А как узнаешь?

К Жадановскому по-прежнему не пускали Екатерину Ивановну. Рудановский казнил себя за то, что не отобрал у Чайкина письмо с планом госпиталя. Он мог его оставить в квартире.

А еще через неделю стало известно — Бориса упрятали в крепость, саженной толщины стены каменного узилища — в «Косой капонир», и в начале сентября будет суд.

Теперь уже на счету каждый день, каждый час. Борис не должен предстать перед судом — ему грозит расстрел. И нет времени на составление детального плана побега.

Но первой и, надо сказать, радостной неожиданностью было то, что Екатерина Ивановна вновь могла посещать Бориса. Значит, уж очень верят власти в надежность капонира.

Да, «Косой» крепок, надежен, под него не подкопаешься. И военка решила использовать последнюю возможность — боевая дружина нападет на конвой, когда Бориса повезут на суд.

Предприятие отчаянное, и никаких гарантий успеха, ведь суд может состояться и в крепости.

План предложила Екатерина Ивановна, и Рудановский готов был согласиться, другого в запасе у него не было. Но неожиданно та же Катюша выдвинула новый план. Она сообщила, что его предлагает Борис. При последнем свидании надзиратель на несколько минут оставил их одних, и Борис тут же, торопливо зашептал: «В капонире общий туалет. Его строили наспех, когда приспосабливали крепость под тюрьму. В туалете дощатый потолок с большими щелями между досок. Подпилить доски дело нехитрое, можно в несколько приемов».

Через потолок он выберется на верх капонира. Но чтобы спуститься вниз, нужна веревочная лестница. И вся загвоздка в том, как эту лестницу передать Борису.

Шибинская ухватилась за этот план, она добудет лестницу, легкую, ее специально свяжут из крепчайшего шелка. А вот как передать?..

Екатерина Ивановна за месяцы близкой дружбы с Борисом продолжала поддерживать связь с группой социалистов-революционеров — они могут пригодиться при освобождении Бориса.

Ничего не сказав Рудановскому и Шибинской, Екатерина Ивановна встретилась с руководителем эсеровских боевиков. Тот заверил, что была бы лестница, а как ее переправить Жадановскому — пусть это Менцер не беспокоит. Есть у них ход в крепость.

Борис нервничал. Дни проходят за днями, а о дате побега он еще ничего не знает. Пилку, приготовленную Чайкиным, получил. Прекрасная пилка, с такой он в два счета подпилит доски. Но нет лестницы. Зато Катя сказала, что внизу, у крепостного рва, его будет дожидаться Шибинская, и придется подпоручику на время стать девицей. Неподалеку их встретят рысаки, а вблизи крепостных ворот в засаде расположится эсеровская дружина — это на случай погони...

Борис решил, что ему теперь следует хорошенько оглядеться — бежать придется ночью, и он должен безошибочно ориентироваться в темноте.

Борис постучал в дверь. На его стук никто долго не откликался, потом загремели засовы.

— В туалет...

До отхожего места было два шага. Едва закрылась дверь, Борис взобрался на перекладину, образовывавшую выступ на задней стене. У самой крыши, между ней и боковой стеной, зияла большая щель, в нее можно было разглядеть верхушки деревьев парка на территории прилегавшей к крепости выставки. Значит, эта стена и выходит наружу. Борису только это и было нужно. Он уже готов был выйти из туалета, когда до него донеслись приглушенные удары топора, визг пилы. Борис снова приник к щели. Ничего не видно. Обдирая пальцы, он попытался оттянуть на себя доску стенки, на миг открылась поперечная щель. Но и этого было достаточно, чтобы разглядеть — вокруг капонира возводится высокий забор!

— Эй, скоро ты там?

Борис распахнул двери.

— Прошу говорить мне «вы»! — И, не дожидаясь ответа, торопливо направился к камере.

«Забор могли поставить, только узнав о планах побега. Кто-то предал, кто-то предал! И теперь уже не важно — кто... А что, если Катя сегодня придет на свидание? Ведь не дураки же тюремщики, понимают, что если я готовился бежать, то с помощью товарищей на воле. А связь поддерживала Катюша. Придет — ее схватят...»

Борис не находил себе места, его злило собственное бессилие, невозможность подать Кате предостерегающий знак.

Но Менцер не пришла. Строительство забора первой заметила Шибинская.

И она поняла, кто-то выдал жандармам и этот план освобождения Бориса.

* * *

И снова сентябрь. По улицам Киева весело прыгают, катятся, стучат каштаны и «гремят» залпы неугомонных мальчишеских армий. По вечерам из садов доносятся приглушенные такты духовых оркест-

ров. И Крещатик вновь, как и до революции, заполняют толпы гуляющих горожан.

Нет, революция еще не кончилась, ее отголоски слышатся по всей России. Но обыватель учуял, что самое страшное позади, и теперь он наверстывает упущенное. В городе спокойно, но обыватель с тревогой поглядывает на деревню — уж очень она расходилась в этом, 1906 году. Обывателя радует бравый вид полицейских и жандармов, не то что в минувшем году.

Заседают военно-полевые суды. Разговор у них короткий — или оправдан (что бывает один на сто), или расстрел. Люди исчезают ночами, чтобы никто и никогда их уже не встретил днем.

Бориса предупредили — 2 сентября состоится суд. Какой приговор вынесет «суд» — он знает.

Ночами, ни на минуту не смыкая глаз, Борис пытался представить тот момент, когда для него все кончится. Но представить это невозможно.

Одна мысль неотступно жгла Бориса, порождала ярость от сознания собственного бессилия.

Он, он и никто другой, повинен в поражении восстания саперов. Он должен был думать, а не резвиться, как неразумный теленок на весеннем лугу. И теперь жизнь ему нужна, чтобы исправить роковые ошибки. Готовить себя к новым битвам с ненавистным самодержавием.

Суд скорый. Суд неправедный. Помощник военного прокурора подполковник Халтулари выступал как обвинитель, шесть офицеров — присяжные заседатели. Им осточертели эти суды, эти речи и эти рыдания в зале. Плакала Ольга Николаевна, не стесняясь слез.

«...Подвергнуть смертной казни через расстреляние»...

Офицеры вздохнули с облегчением. Через пять минут, поставив свои подписи под приговором, они будут свободны и смогут, наконец, закатиться в офицерское собрание...

Прошел первый день после суда. Тускло вспыхнула и затлела красноватым светом угольная лампочка.

Придут сегодня или не придут? Некогда думать об этом. Он получил руководство для изучения английского языка, и ему нет никакого дела до того, что с ним сделают палачи...

Явился защитник. На суде он что-то невнятно мямлил, теперь же поток его красноречия казался неиссякаемым. Жадановский должен, просто обязан подать прошение на высочайшее имя. Прошение о помиловании. В этом нет ничего такого, чтобы унизило его, ведь сам же обвиняемый на суде доказывал свою невиновность. Император выше зла, он простит...

В конце концов Борис не выдержал и бросил сквозь зубы:

— Если я хитрил на суде, то не для того, чтобы теперь стать подлецом. Уходите! Не мешайте заниматься...

Борис не знал, как в отчаянии металась по Киеву Ольга Николаевна, обивала пороги приемной командующего военным округом генерала Сухомлинова, сквозь слезы уже плохо сознавая, что она делает, писала письмо царице. Но так и не смогла его дописать, зная, что сын никогда бы ей не простил письма тирану.

И, наконец, 7 сентября поздно вечером, когда уже не оставалось ни надежды, ни сил, в крохотный номер дешевенькой гостиницы, где остановилась Ольга Николаевна, а затем приехавшая к ней дочь Зина, вошел щеголеватый поручик, щелкнул каблуками и, ни слова не говоря, протянул Ольге Николаевне визитную карточку. Снова щелкнули каблуки, и поручик так же безмолвно исчез.

— Зина, прочти, от кого это? У меня нет сил...

«Председатель военно-окружного суда генерал-майор...»

— Но я не могу его принять здесь, в таком виде!..

— Мама, мама! На обороте карточки написано: «Рад сообщить, что смертной казни не будет».

Революционный шторм продолжал бушевать, и напуганные развитием событий царские сатрапы решили заменить смертную казнь Жадановскому пожизненным каменным мешком, узник «Косого капонира» будет удушен каторгой.

Лукьяновский тюремный замок.

Именно замок. Если посмотреть на него со стороны, то невольно вспоминаются рыцарские времена, когда из-за толщенных стен опасливо вглядывались в лесные чащобы слуховые башни, а глубокие рвы отгораживали средневековых феодалов от всего мира. Из-за высокой стены не видно окон, только под самой крышей приютились четыре прореза, как крепостные бойницы.

Чего уж скрывать — Борис ожил, хотя никто не сможет упрекнуть его в том, что, ожидая расстрела, он пал духом. Нет и нет, у него было дело — он изучал английский язык...

«Вечная». Не верил Борис в вечную. Он не успеет состариться, как грянет новая революция и сметет тюрьмы, каторгу. Но ждать революцию Борис не будет. Он убежит. Ведь каторга — это, значит, Сибирь, а разве из Сибири не убегали? Да сколько угодно... Убегали и с этапа, с дороги.

Убежит, обязательно убежит, и даже не доезжая до Сибири. На него надели кандалы... Ничего, на воле товарищи уже приготовили пилки, они перегрызут цепи доктора Гааза. Проклятый доктор обессмертил свое имя изобретением кандалов.

Но, может быть, и не стоит дожидаться этапа? Поговаривают, что

после поражения революции сибирская каторга битком набита политическими заключенными, и правительство собирается основать временные каторжные тюрьмы и централы в европейской части России. Это, конечно, хуже. Из тюрьмы убежать трудней, нежели с сибирского тракта.

Не один Борис подумывал о побеге с этапа. В общей камере, куда его поместили, было не мало матросов-севастопольцев. Отчаянные головы, ребята молодые, сильные, смелые.

Они гремели ржавыми, еще не успевшими засиять от долгой носки кандалами.

— На крайний случай этой цепочкой можно по голове приголубить тюремщиков, конвойных и... быстренько причислить их к лику святых.

— Вон матрос Письменчук, так он же оковки зубами, как баранку, перегрызает...

Был у них в камере и свой «старшой». Пожилой человек, потомственный рабочий, приговоренный к 20 годам каторги за руководство боевыми действиями дружинников Подола. Когда Борис возмутился этим приговором, рабочий только улыбнулся.

— Не кипятитесь, молодой человек, никаких прошений подавать я не буду. Потому что обращаться нужно все к тем же царским слугам. А потом откуда вы знаете, что 20 лет каторги — это максимум, который я мог получить. Не хвастаю, не хвастаю, могли дать и поболе, да не дознались.— Этот рабочий был большевиком. Когда его спросили о фамилии и имени-отчестве, он хитро улыбнулся:

— Кличьте меня Иваном Ивановичем или Василь Васильевичем. А фамилию мою каждое утро надзиратель вызывает. Они меня тут под разными фамилиями знают, ну и путают подчас.

— Иван Иванович, а вы разве уже попадали в эту тюрьму?

— А как не попасть, когда я уж вон сколько лет на заводах ишачу. Ни одной стачки, ни одной забастовки без меня не обошлось. Через месяц, глядишь, год стукнет, как меня из этой же Лукьяновки свои же рабочие и вытащили.

— Иван Иванович, а ведь я помню, как после митинга 13 октября 1905 года у городской думы собирался народ идти освобождать заключенных, я на том митинге был... и подрался!

Молоденький парнишка лет девятнадцати-двадцати, неизвестно как угодивший в эту камеру каторжников, улыбнулся, словно вспомнил о чем-то забавном, радостном.

— Ишь ты, подрался! Тебе-то сколько лет отвалили?

— Пятнадцать.

— А за что?

— Да ни за что!

— Ну это ты, братец, брешешь. Царский суд за «низашто» больше десяти не дает. А пятнадцать — значит, ты дюже грамотный.

Камера расхохоталась. А парень покраснел, у него даже слезы на глазах показались.

— Ну и грамотный, ну и что? Я школу городскую кончил, хотел на инженера выучиться, а тут революция. Я и решил пообождать. Нужно ведь подмочь в таком деле.

— Нужно, брат, обязательно нужно! Ну и как ты помогал?

— По-всякому. Листовки расклеивал, газеты «Вперед» и «Пролетарий» по заводам разносил.

— Постой, постой, а кто же тебе эти газеты давал?

— Ишь ты, следователь какой нашелся. Так я тебе и назову имя. На-кось...— Парень надулся, забился в угол.

— Да ты не обижайся. Я ведь только потому спрашиваю, что сам эти газеты вслух читал рабочим. Хорошее дело ты делал.

— Я и с казаками дрался. Одного с лошади стащил.

— Вот видишь, какой ты герой!

— А ты знаешь, что в 1902 году в этой вот самой тюрьме сидели такие же, как ты, распространители газеты «Искра», слыхал о такой?

— Слыхал и читал.

— Читал? Постой, постой, ты, наверное, читал ее в прошлом году?

— Да.

— Это, брат, уже не та «Искра». С 1903 года, когда из редакции «Искры» ушел Ленин, слыхал о Ленине?

— Конечно, слыхал.

— Так вот, когда Владимир Ильич из той редакции ушел, «Искра» стала меньшевистской. И о меньшевиках слыхал?

— Слыхал.— Парень протянул как-то неопределенно.

Жадановский, с интересом прислушивавшийся к беседе старого рабочего с парнишкой, вмешался в разговор.

— Иван Иванович, вы что-то говорили об агентах «Искры» — Баумане, Литвинове, Сильвине и других, сидевших в Лукьяновке в 1902 году.

— Они не только сидели, они сбежали отсюда.

— Сбежали.

— Да, дорогой товарищ, сбежали. Это был побег, чудо-побег.

— Интересно, расскажите, прошу вас!

— Ужель не слыхали?

— Признаюсь, не слыхал. А хотелось бы узнать — как.

— Э, братец мой, думаешь воспользоваться? Не выйдет, времена не те.

— Что значит — не те?

— А то, что во втором году тюремщики шкурой своей чуяли приближение революции. И за шкуру эту дрожать стали. Режим в тюрьме ослабили. Днем камеры не закрывались, ходи к кому хочешь в гости. И целый день дотемна можно было во дворе гулять.

Вот этим и воспользовался Бауман и его друзья. Они «слона» научились делать.

— Какого «слона»?

— А есть такая фигура гимнастическая. Трое стоят, взявшись за руки, к ним на плечи взбираются двое. А к этим двоим встает третий.

— Ну и что?

— А ты слушай и не перебивай. Значит, выучились они этого «слона» строить, а надо сказать, верхний, когда на плечах стоял, рукой свободно до края тюремной стены доставал. Враз связались с Киевским комитетом и попросили прислать им в тюрьму на каждого паспорта, денег, десять бутылок водки, снотворных порошков и «кошку» — якорек такой...

— Здорово! А зачем водка и порошки?

— А ты слушай, слушай.

Вся камера сгрудилась вокруг рабочего, и он, польщенный вниманием, расправил усы, хотя в наручных кандалах сделать это было и нелегко.

— Значит, объявили они сторожам и надзирателям, что 18 августа день рождения будут праздновать. Уж не помню чей. Ну и сказали, мол, вы, это надзиратели, значит, к нам хорошо относитесь, а потому приглашаем вас вечером, когда тюремное начальство по домам разойдется, за праздничный стол. Ну те, конечно, с превеликим удовольствием, потому и на передаче водку пропустили. В этот день передали с воли огромный пирог, тяжелый — двое тащили. Настал вечер. Начальство по домам, а искровцы в одной из камер стол установили, пирог на стол, водку — все чин по чину. Уселись, значит, водку надзирателям налили, чокнулись... А минут через пять надзиратели уже храпели. Им туда, в водку, порошочка подсыпали. Как, значит, заснули сторожа, Бауман к пирогу — ножа не было, так он руками его разломил, а там заместо начинки — «кошка» эта самая была запечена. Вот, брат, как делали...

— Ну, а дальше?

— Дальше все, как задумали. Простыни разорвали на полоски, из них лестницу сделали, а ступеньки смастерили из ножек от стульев, штук десять разломали. Лестницу к «кошке» привязали да во двор. Сильвин, значит, на часового насел. Кто уж кого держал — не знаю, Сильвин так и не убег. А остальные десять — слона построили, верхний «кошку» на стене закрепил и... поминай как звали. Все, как есть, ушли!

— Да, в кандалах «слона» не построишь, и «кошку» теперь в пироге не пронесешь...

Жадановский улегся на нарах, задумался. Убежит он обязательно, но убежит с дороги.

ГЛАВА XIII

Арестантский вагон. Пройдут годы, и Борис к нему привыкнет, станет привычным звон кандалов, тишина одиночки, тюремная баланда...

А пока все впервой, все отвращает и все требует усилий, чтобы на лице была улыбка, в которой так нуждаются его товарищи.

Они уже полюбили этого «подростка»-заводилу. И, главное, поняли, что он человек неиссякаемого жизнелюбия. В каторжных тюрьмах выживают только такие. И к Борису тянулись, как к источнику жизни.

Погребально звенят кандалы. Арестанты поднимают ноги, чтобы ступить на подножку вагона. Кандалы звенели и на улицах Киева. Уличная толпа молча провожала каторжников. Эти случайные прохожие были последними людьми с воли, которых они видели. Тюремщики не в счет. Тюремщики свободны только ночами. А ночью каторжникам открывают двери камер только сны.

Арестантский вагон. Он разделен на две половины тонкой перегородкой. В одной конвой, в другой тридцать четыре арестанта. У офицера отдельное купе.

Борис с трудом протиснулся к окну. Решетка. Она перечеркнет города, она будет кромсать светлые квадраты, которые поплетутся за вагоном.

— Подходи по-одному снимать наручники!

Что же, начальник конвоя выполнил свое обещание, они — свое. Шли, не разговаривая, не отвечая на расспросы встречных прохожих, не отругиваясь, когда слышали проклятья.

Борис знает, товарищи сдерживались ради него. В наручниках не убежать, на них нет навинченных заклепок, как на ножных кандалах, их за небольшую сумму смастерил тюремный кузнец.

С двух сторон отделения для арестантов — решетки, за ними часовые. Скорей бы тронулся поезд и тогда можно попроситься в туалет, проверить, есть ли там на окне решетка.

Окно в туалете интересует Бориса с тех пор, как он понял, что бежать придется из вагона. Не он придумал этот способ. Кажется, честь открытия его принадлежит Андрею Франжоли, народовольцу, другу Желябова. Борис читал подробности этого побега в «Календаре «Народной воли». Но Франжоли бежал летом, а сейчас зима... Это во многом усложняет побег.

Поезд, наконец, тронулся. И Борис тут же заявил о своем желании пройти в туалет. Как только захлопнулась дверь, он бросился к окну. Борис был почти уверен в неудаче, и все же двойные зимние рамы, за которыми все те же решетки, испортили ему настроение. Да, техника перевозки арестантов хоть и недалеко, но все же шагнула вперед. Франжоли высадил окно спиной и опрокинулся навзничь,

значит, на окне не было решеток... Что ж, в уборной решетки пилить бесполезно, для этого не хватит времени...

Борис вернулся в арестантское отделение. Кое-кто уже успел забраться на нары, но друзья ждали Жадановского. Он молча повел головой, а глазами показал на среднее окно их отделения. Оно единственное, которое открывалось и служило для проветривания, когда в вагоне набивалось много арестантов. Борис шепнул нескольким курящим товарищам, чтобы они не стеснялись и чадили вовсю. Те понимающе вытащили кисеты.

Начальник конвоя, заглянув в арестантское отделение, приказал:

— Откройте вентиляционные заглушки!

— Они открыты, а что толку...

— Окно откройте, окно, а то я сейчас лишусь сознания.— Борис сделал вид, что ему плохо, да ему и действительно было невмоготу от волнения.

Долго ли добираться до Смоленска? Они едут через Курск. В его распоряжении всего одна ночь. Да нет, какая там ночь, несколько часов, когда конвойные будут клевать носом.

— Откройте на пять минут! Жерехов, покарауль!

Окно открывали раз, потом другой, третий. Старший конвойный уже уснул. А этот дубина Жерехов все еще борется с дремой, клюет носом. Клюнет носом, вскинется, поведет выпученными глазами, потом опять осядет, и на веки налипает сон.

В такие минуты открывали окно. И Борис пилил, пилил. Ножовка впивалась в руки, гнулась, отчаянно скрежетала. Борису казалось, что ее визг поднимет на ноги весь конвой, но товарищи, загораживающие Бориса своими спинами, успокаивали — визг пилки прекрасно сливается с дребезжанием вагона.

Было уже, наверное, 4 часа ночи, когда Борис закончил пилить. Распилил два прута — вполне достаточно для того, чтобы он смог протиснуться, правда, без полушубка, в одном мундире. Как хорошо, что он захватил свой офицерский мундир, ведь в арестантской одежде далеко не уйдешь!

И вот вновь в открытое окно врывается скрежет и грохот, остро пахнет гарью, и мглу просверливают и тут же гаснут искры.

Борис еще висит на руках, а туловище уже подхватывает, рвет встречный поток морозного воздуха. Борис еще видит лица товарищей.

«Надо прыгать! Надо прыгать!» Борис напружинился. Тело уже готово к прыжку, но руки еще крепче вцепились в оконную раму.

Нужно оттолкнуться от вагона, как это делают на плацу, когда берут «стенку» полосы. Только бы упасть за подножкой, иначе...

Никто не заметил, как в открытом окне исчезли руки. Никто не слышал шума падающего тела, никто не слышал и криков. Только лязг буферов, глухие удары на стыках, да тяжелые вздохи паровоза.

— Полушубок, полушубок выкиньте!

Полушубок не хотел пролезать, цеплялся за загнутые прутья и шлепнулся под откос далеко от места падения Бориса.

— Убежал! Дай бог ему удачи!

— И нам тоже. Не поймают — мы в ответе...

Замбржицкий вошел в бильярдную с твердым намерением выйти из нее не раньше, чем в его кармане окажется хотя бы четвертной. Это означало, что прежде чем браться за кий, нужно приглядеться к играющим, постараться заполучить слабого, но денежного партнера — ну, а дальше вступает в действие проверенная методика. Первую партию нужно отдать легко, вторую проиграть на последнем шаре. И после этого объявить с отчаянием в голосе, что играется контровая.

Партнер нашелся. Игра началась и, кажется, именно так, как того и желал Замбржицкий.

— Налево, в угол!

Нет, сегодня он просто в ударе. С одного кия взял 50 очков.

— Господа, господа, кто из вас просматривал сегодняшний номер «Южного края»? — Какой-то подвыпивший капитан на пороге бильярдной размахивал местной газетой, в которую офицеры обычно не заглядывали.

— Не мешайте, капитан, чего стоят все эти малороссийские сплетни по сравнению с сухой партией?

— Нет, нет, вы послушайте! — С пьяным упорством капитан начал читать нараспев.

«Нам сообщают из г. Курска, что 29 ноября в 4 часа утра из арестантского вагона бежал арестант-каторжник, бывший офицер 7-го саперного батальона Борис Петрович Жадановский, 22 лет.

При побеге одет был в арестантское платье. О розыске его сообщено телеграммами по линиям железных дорог».

Замбржицкий от неожиданности скиксовал, «свой» шар волчком проскочил мимо 12-го. «Жадановский бежал! Бежал!» Подпоручик почувствовал, как страх подкатил к горлу, сжал его. Борис не забудет и не простит предательства.

Борис пришел в себя от пронизывающего все тело холода. Сколько он пролежал на снегу в каких-то колючих кустах? Темно и вьюжит. Сквозь рваные облака, как чадящий, затухающий фонарь, появляется и пропадает луна.

Борис прислушался. Порыв ветра донес удаляющийся стук колес. Но мало ли здесь проходит поездов?

Жадановский попытался встать. Ноги целы, немного болит пра-



вая, она подвернулась при падении. Но боль едва-едва чувствуется — нога промерзла до кости, она напомнит еще о себе в тепле. Ощупал лицо, на пальцах остался липкий мазок. Так и есть, разбита губа, нос...

Борис поднялся. Офицерский мундир не защищал от ветра, шапка куда-то исчезла. Холодно! И почему снег, ведь с вечера его не было? Жадановский забыл, что поезд двигался на северо-восток, что в конце ноября здесь бывают снег и морозы. Впрочем, снегу было немного, он набился в канаву у полотна дороги, и как только Борис из нее выбрался, ветер швырнул ему в лицо сухие листья, пыль пополам с колючей снежной крупой. Искать полушубок и шапку в эту темень, в эту непогодь — безумие.

Болит губа, гудит голова, подкашиваются ноги. А кругом ни зги не видно, ни одного огонька. Только ветер, ветер и, как змея, шуршит чешуей поземка.

«Замерзну»,— подумал Борис, но эта перспектива его не испугала. За последний год он столько раз встречался со смертью! Да и стоило ли прыгать, чтобы замерзнуть?

Нет, он прыгал, чтобы жить, чтобы продолжать борьбу. Там, в тюрьме, верилось — революция только отступила, и ее враги рано трубят победу. Будет новый подъем, и к нему он должен поспеть, должен набраться сил, знаний, умения. Он помнит несколько адресов в Курске и, в частности, адрес семьи Иосифа Дубровинского, о котором взахлеб рассказывал сокамерник по Лукьяновке. Там его примут, спрячут на время, а потом... Не стоит загадывать о «потом», но ясно одно — нужно оформить свои отношения с партией социал-демократов, стать партийным функционером. И до победы революции он останется нелегальным, подпольщиком. Что ж, это даже хорошо, тогда уж никакие другие обязанности не будут отвлекать его от «делания революции».

Борис шел и шел. Падал, поднимался с трудом, и каждое новое падение заставляло его все дольше и дольше отдыхать на земле, справляться с дыханием и болью.

Еще не рассвело, когда Борис понял — замерзает. И до Курска ему не дойти.

Наверное, идя обочиной, он миновал несколько деревень, но в темноте не разглядел изб. А в такую непогодь хозяева и собак запирают в сенях.

Если бы немного рассеялся мрак. В деревнях встают чуть свет. Зажгутся окна, из труб потянет дымом. Запах дыма укажет дорогу...

По пятницам Петр Андреевич Жадановский завтракал только кулешом. Конечно, это было безобразным нарушением религиозной обрядности, за которую всю жизнь так держался инженер-капитан,

ведь кулеш полагается только в пятницу и субботу великого поста, а не каждую пятницу. Но в эти беспокойные годы все религиозные устои даже в его семье полетели вверх тормашками. Молодая поросль с трудом подчиняется его требованиям. Вот и сегодня Зина снова опаздывает к завтраку...

Петр Андреевич сердито сопит и исподлобья бросает гневные взгляды на Ольгу Николаевну, притихших детей.

Ольга Николаевна молча встает, чтобы пойти прикрикнуть на дочь, но не успевает сделать и шага — дверь в столовую с треском отлетает в сторону. Зина в каком-то немыслимом прыжке, размахивая газетой, оказывается у стола.

— Убежал, убежал, убежал! Вы понимаете — у-бе-жа-ал!

Младшим не нужно объяснять, кто убежал, их уже интересует — как и откуда? Аня выхватила из рук Зинаиды газету...

— Прыгал! На ходу из вагона... Ура!

Петр Андреевич оторопело смотрит на дочек, потом на улыбающуюся и утирающую слезы жену. Хотел рассердиться окончательно и вдруг понял — бежал-то Борис, его Борька! Ну стервец, махнул на ходу из вагона — и это с выпиленными ребрами, полуживой после гнойного плеврита, Лукьяновки! И невольная гордость за сына заслонила все остальные чувства и мысли. Вот это по-нашенски, по-хохлацки! Борис от царя милости не ждал. Кто их там, молодых, разберет — прыжок из вагона на ходу показался Борьке надежнее царя.

Ольга Николаевна продолжала улыбаться и плакать. Она тоже горда за Борю. Но если бы знал Петр Андреевич, если бы знали дети, что и она участвовала в организации Бориного побега... что бы они сказали? Впрочем, дети просто бы расцеловали свою мамочку, но Петр Андреевич?

Не приведи господи ненароком проговориться, что это она передала Борису старые ботинки с заделанными в подошве пилками и документами. Значит, пригодились! Теперь она не будет знать покоя, пока от сына не придет весточка...

Жерехов проснулся, заслышав, как хлопнула рама на окне. Ему показалось, что он и не спал — все так же толкутся у окна чьи-то спины, и за окном все та же ночь. Скорее бы смена... Вторично Жерехова разбудил грозный окрик старшего конвойного.

— Дрыхнешь, мерзавец! А ну встань, считай каторжников!

Жерехов очумело мотал головой, ничего не соображая со сна. За окном уже посерело и можно было разглядеть мелькающие телеграфные столбы, будки. Колеса скакали по стрелкам — приближалась станция.

— Один, два, три, четыре...— Жерехов тыкал пальцем, сбивался со счета. Он твердо помнил, что арестантов 34 человека, а у него

получалось 35. Сменивший его конвойный не хотел утруждать себя счетом, бегло оглядев нары, он успокоился и доложил старшему, что пост принял.

Поезд остановился с пронзительным визгом тормозов, казалось, вагоны лезут друг на друга и ломаются тормозные площадки. Кто-то из этапников свалился с нар. Грохот разбудил начальника конвоя. Поручик выглянул в окно. Ну и погодка!.. Не первый и не десятый раз едет он по этой дороге, станции примелькались. Следующая Курск, там завтрак для арестантов. Кружка кипятку, кусок хлеба, сахар небось у каждого есть свой. А он забежит в буфет, погреется...

В дверь купе просунулась растерянная рожа старшего конвойного.

— Ну, чего тебе, Захаров?

— Ва-а-ше бла-а-го-родие... Ва-ше... Беда!

— Ну что там еще стряслось? Иль каторжники тебя напугали до икоты?

— Убег, ваше благородие... как есть убег! И дырка в окне!

— Кто убег? — Поручик вскочил, оттолкнул солдата, ворвался в арестантское отделение. Каторжане уже не спали, они сидели на нарах, один к другому, плечо к плечу. И только несколько уголовников сбились в кучу поближе к дверям, с любопытством ожидая, что же будет дальше.

— Расстреляю к чертовой матери всех, до одного!..

Поручик выхватил наган.

Каторжане молчали. Только теснее придвинулись друг к другу.

— А вы, барабанные шкуры? — Поручик схватил бледного, полуживого Жерехова за шинель, тыча ему в нос, в зубы дулом револьвера. Брызнула кровь. Жерехов глотал слюну вместе с кровью, бормотал разбитыми губами.

— Не можем знать. На одного-с больше...

— Мерзавец! Кого на «одного больше»?

— Ваше бла-родие!— Старший конвойный от страха не выговаривал буквы.— Убег этот, офицерик... бывший то есть...

— Молчать! — Голос поручика сорвался. Он схватился руками за голову и при этом стукнул себя рукояткой нагана так, что фуражка откатилась под нары. «Суд, суд, суд! А солдаты пойдут в штрафные роты...»

Поезд встал. Поручик без фуражки, без шинели кинулся в станционное жандармское отделение давать телеграмму. Если беглец будет немедленно пойман, может, все и обойдется...

Борис сидел на земле. Безразличный ко всему, он старался только не двигаться. Ему уже не было больно. Какая-то приятная истома разливалась по телу, и он уже не чувствовал ни ног, ни рук. И только

там, где было сердце, еще что-то едва-едва шевелилось. Это раздражало Бориса. Когда и там все утихнет, будет так хорошо... Перед глазами слабо вспыхивают голубые, чуть зеленоватые и совсем белые радуги. Они не спешат, иногда осторожно хороводят и сквозь них, как через частую кисею, проглядывают контуры лица. Но не хочется напрягаться, всматриваться, ведь радуги сейчас снова сменят свои цвета...

Борис замерзал. И, наверное, замерз бы совсем, если бы не прекратился снег, не изменился ветер. Подуло откуда-то с запада. И сразу в лицо пахнуло сыростью, словно умыло. Этот ветер принес раздражающие запахи, запахи дыма и свежего хлеба.

Борис открыл глаза. Уже совсем светло или ему так кажется? Наверное, это все же белое поле и где-то далеко, далеко оно незаметно сливается с белесым небом...

Новый порыв ветра... Почему ветер не свистит, а лает, лает так, как брешут на рассвете выставленные на двор сонные псы?

«Замерзаю,— вдруг понял Борис.— Ну и пусть! Пусть... Ведь это так приятно...» Но уже сердце зашевелилось, оно стучало, вспугнутое мыслью. Стучало, как стучит колотушкой сторож. Колотушка отпугивала смерть.

Борис шевельнулся. Острая боль проткнула ноги, грудь и вышла, как ему показалось, через затылок. Раз больно, значит, жив! А если жив, то должен встать. Ветер теперь уже дразнит пустой желудок запахами — «хлеб, где-то пекут хлеб»... Мысли ленивые, но голодный желудок не дает им заглохнуть, он напоминает о себе резью.

Борис все-таки нашел силы подняться на одеревеневшие ноги, заставил их двигаться. И пошел против ветра, не чувствуя прикосновений к земле.

Деревня была рядом. Дружно взвыли собаки, зачуяв чужого. Голосили петухи. А первых, рассветных, он не слышал.

Борис доплелся до первой избы. Пожилая крестьянка возилась у печки, стараясь ухватом затолкнуть подальше чугунок. А ухват соскочил с гвоздя и вертелся на обгоревшей палке. Баба, не стесняясь, призывала черта на голову своего мужа.

Звякнула щеколда, и на пороге объявился черт. Да, да — черт. Как бы ни промерз Борис, он хорошо понимал, в каком образе он явился в эту крестьянскую избу.

И то, что его приняли, обогрели, накормили — не должно было его успокаивать. Был бы он несколько старше или имей за душой опыт «хождения в народ» — его бы не обмануло «гостеприимство» мироеда.

Но Жадановский, почти мертвый от холода на пороге избы, не зная хозяев, но рассчитывая, что в Курской губернии крестьянские волнения, а значит, здесь живут бунтовщики, сообщил, что он

«за них», что он тоже «скрывается» и даже что ему грозит каторга...

И молодого офицера обманул не очень молодой, но достаточно крепкий куркуль. Овин, куда он отвел отдохнуть Бориса, был ловушкой.

И когда позже Борис увидел стражников, то у него оставались еще слова благодарности крестьянину, который его предал.

— Спасибо! Я так хорошо отдохнул...

И снова звякнули наручники.

ГЛАВА XIV

Арестантский каторжный этап прибыл в Смоленск ранним декабрьским утром. Сиротский морозик не столько холодил, сколько развел какую-то туманную сырость, затянувшую город мглистой пеленой.

Начальник конвоя был предупрежден еще в Орле, что в Смоленске каторжный централ только обстраивается, поэтому карет для перевозки арестантов нет. Значит, гнать пешком, да и самим вышагивать!

Смоленск город тихий, фабричного люда тут мало, а обыватель любит понежиться на перинах, подолгу и со вкусом смакует утренний чай. Так что партия каторжан пройдет по улицам города незамеченной, лишь бы эти христопродавцы нарочно не гремели кандалами. Начальник злился. Инструкция требовала, чтобы каторжан водили по городу только в случае крайней необходимости. А почему? Пусть все видят, что ожидает каждого, кто осмелится поднять руку на «священные устои».

Борис зябко поеживался на сыром морозце, да и бессонная ночь в душном вагоне сказывалась. Болела голова, болели еще плохо зажившие швы.

От Орловского вокзала до арестантских рот, где основался каторжный централ, путь не близкий, конвойные приказали подтянуть ремни на оковах.

Хрустнул снег, потревоженный десятком ног, звякнули и уже больше не умолкали кандалы.

Сначала поднялись на пригорок, перешли через виадук, миновали еще безлюдную базарную площадь. И вдруг навстречу из морозной мути вынырнуло что-то большое, звенящее, громыхающее. Трамвай! Это было так неожиданно. Трамвай в городе, дома которого вот-вот посыплются с крутой горы и если не упадут в воды Днепра, то только потому, что их задержит старинная, чуть ли не самая мощная в Европе крепостная стена. Вожатый, испуганный видом арестантов, отчаянно звенел.

Партия сошла с рельс и встала. Большинство арестантов никогда еще не видела трамвая — ведь это было чуть ли не последним дости-

жением техники наступившего XX века, века электричества, как об этом любят напоминать газетчики.

Трамвай проскрипел, звякнул колокольчиком и скрылся.

И снова лязг кандалов, хруст снега, затрудненное дыхание усталых людей — когда же, наконец, они заберутся на эту проклятую гору, с которой только что, как на салазках, скатился трамвай.

Но кончилась и эта крутая, длинная гора. Партия остановилась, чтобы отдышаться. Борис оглянулся. Господи, да как же он не заметил собора, когда они подымались. Древний, древнее крепостных стен. Теперь с горы он смотрелся, как мушка в прицеле винтовки, стиснутый с двух сторон прорезью улицы.

Размышления Бориса были прерваны командой трогаться дальше. Конвоиры торопили — партия потеряла много времени, взбираясь на гору, и явно портит благочиние главной улицы своим измученным, кандальным видом.

И только когда они подошли к воротам, наверху которых красовалась изящная часовня, Борис вспомнил — ведь это же знаменитые Молоховские ворота в крепостной стене, через них в 1812 году въезжал в Смоленск Наполеон. Здесь его чуть-чуть не подстрелил смоленский священник Мурзакевич. Хитрющий был поп-патриот. Вышел встречать императора с чудотворной иконой божьей матери, как рыбак с наживкой. И Наполеон стал слезать с белой лошади. И как знать, если бы не порыв ветра, распахнувший полы поповской рясы и обнаживший пистолет, то, возможно, Мурзакевич и прикончил бы императора французов.

У Бориса уже вошло в привычку думать, размышлять под мерный ритм шагов.

Какие-то обрывки истории лезут в голову! А до истории ли ему сейчас? Говорят, что узники одиночек сходят с ума, вспоминая прошлое. И не далекое, а свое, близкое, вольное. А вот ему хочется взглянуть в будущее, очень хочется, ну хоть в щелочку. Будущее — через замочную скважину!

Не хватало еще по дороге на каторгу придумывать сомнительные афоризмы.

Ну, а если серьезно, то он очень на это будущее надеется, вернее, верит, что скоро, очень скоро грянет новая революция. И он не только надеется на свое освобождение — об этом и говорить не приходится, он хочет быть полезным грядущей революции и народу, ее совершившему. Значит, заглянуть в будущее для него означает уже сегодня, сейчас, понять, чем он может быть полезен революции в годы, которые остались до ее часа.

Уже не раз и в Лукьяновской тюрьме, и на этапе он задумывался о своем будущем, но не успевал додумать до конца и каждый раз приходилось начинать сначала. Кажется, в Смоленске у него на это времени хватит.



Погруженный в свои мысли, Борис не заметил, как партия вошла во двор тюрьмы, прогремела кандалами на пороге пустой камеры. Он пришел в себя, только услышав «Марсельезу». Слова и музыка «Марсельезы» всегда глубоко волновали Бориса, и он подхватил этот революционный гимн.

Тюремный инспектор Краинский поспешно закрыл ящик письменного стола, заслышав звонок у парадного. Не хватало еще, чтобы посетители застали его за любованием своим новеньким университетским дипломом!

В кабинет вошел помощник начальника Смоленского централа. Вид у него взъерошенный, усы, обычно такие ухоженные, обвисли под тяжестью сосулек — помощник, видимо, бежал, а потому усиленно дышал на морозе, вот усы-то и обледенели.

— Ваше благородие! — Помощник на секунду запнулся, кто его знает, как величать этого мальчишку? — Ваше благородие! Беда! Господин начальник тюрьмы просит вас неотложно посетить централ...

Краинский побледнел. Помощник сказал «беда»?

— Что случилось? В чем дело? Да садитесь вы, садитесь...

Сам Краинский вскочил, подбежал к тюремщику и насильно втиснул его в кресло.

— Так что приказано доложить — в централе голый бунт!

— Как вы сказали? Голый бунт? Ничего не понимаю...

— Так точно, господин инспектор! Сегодня утром, как обычно, я приказал построиться на поверку, захожу в камеру — срам сказать — двадцать арестантов стоят, извиняюсь, в чем мать родила, да еще, ироды, смеются. Я, значит, в другую камеру, и там все как есть в первобытном состоянии, а одежда в параше валяется! Видимое ли дело! Я поверку проводить не стал, не по форме — голых-то! Доложил начальнику. Так извольте отметить, они и начальника затюкали, извиняюсь!

— Но в чем причина! Голый бунт — это неслыханно! История тюремных учреждений не знает таких прецедентов...

— Не могу знать относительно истории, но эти варначьи души отказываются от казенного белья и одежды. Они, видите ли, недостаточно для них чистые...

— А что же начальник?

— Как есть прибежали немедля. Александр Иванович, извольте заметить, человек деликатный, разговаривал, а глаза не подымал — срамно уж больно! Он, значит, уговаривает, а они свое — так, говорят, голыми и будем дожидаться, или, говорят, отдайте распоряжение, чтобы собственное белье выдали, а то, говорят, от казенного плохо пахнет и на нем живность, извиняюсь, всякая!..

Инспектор сжал кулачки. Ну погодите, он им покажет!

— По-моему, нечего тут разговоры разговаривать. Репрессировать, и делу конец! Я бы посоветовал начальнику тюрьмы прекратить отопление камер. А?

— Так, ваше благородие, господин начальник и пригрозил этим. А в ответ Александр Иванович услыхали, что если не будут топить, то тюрьма может сгореть...

— Как — сгореть?

— А вот извольте заметить, один из только что отконвоированных, бывший подпоручик, фамилия ему Жадановский, бессрочный, говорит — мы костры для обогрева жечь будем, можем и тюрьму запалить...

Шел второй день «голого бунта».

Он начался как обычно, но не с поверки. Начальство ожидало и надеялось — авось каторжники замерзнут. Но каторжники грелись. Они затеяли потасовку, боролись по правилам, а иногда и не соблюдая их. Потом с увлечением играли в чехарду. Борис вспомнил свои мальчишеские, корпусные годы, они тоже тогда играли в чехарду — «три шага». Маленькому и ловкому Борису удавалось уложиться в три шага, а вот хилый Канторович сразу же попал в число штрафников. Зато истинное наслаждение доставлял севастопольский матрос

Письменчук. Когда он сбросил с себя арестантские одежды, камера ахнула. На теле матроса не было и кусочка кожи, не разрисованной художником-любителем. На левой лопатке какой-то «мастер» изобразил революционный эпизод — броненосец «Потемкин» с красным флагом палит из всех орудий.

— За эту картинку мне бессрочную дали...

Когда Письменчук прыгал, то казалось, что сейчас в камере зазвенят, загрохочут якорные цепи. А когда цепи и вправь зазвенели, то все, присмирев, невольно посмотрели на матроса. Но он тоже был удивлен. Оказалось, что толстый Мазин, одесский аферист, не принимавший участия в общем веселье, потряс кандалами, сваленными в углу камеры.

Кандальный звон погасил веселье. Каждый вспомнил, что снял кандалы без разрешения начальства, но снял только потому, что еще раньше, до Смоленска, договорился с тем кузнецом, который заковывал каторжников. Не безвозмездно, конечно, но многие кузнецы охотно прилаживали кандалы так, что их легко было снять через пятку.

Конвой и начальник тюрьмы в любой момент могли перезаковать... но бог пока миловал.

Когда улеглась кутерьма, в камере стало так тихо, что надзиратель испуганно взглянул в окошечко — он привык, что тишина по неписаному распорядку, установленному узниками, наступает всего два раза в сутки — после обеда и после 10 часов вечера.

Замолкла камера, в которой сидел Борис, но соседние продолжали разминаться. В камере справа «пустили поезд», если закрыть глаза, то полная иллюзия. Так и видится: неторопливый, пышноусый дежурный подходит к медному колоколу и отбивает звонок к отправлению. Колокола в камере не было, зато под рукой имелся медный бачок и деревянная ложка. Еще не замер звук третьего звонка, а уже раздался клокочущий свисток обер-кондуктора, потом его перекрыл басовитый гудок паровоза. И поехали... Стуки, лязг, всхлипы локомотива... Тюрьма дрожит...

Борис подскочил к окну.

— А ну, подсадите!

— Борис Петрович, не балуй, по окнам часовым велено стрелять.— Письменчук хотел оттянуть Жадановского, но ухватиться не за что...

— Часовые, брат севастополец, стрелять не умеют. Дай бог, чтобы они знали, как бердан заряжается.

Борис и сам толком не знал, почему ему захотелось глянуть в окно? Может быть, только потому, что окно их камеры выходило на большак и можно было увидеть людей, увидеть волю...

— А ну!

Здоровенный матрос подсадил Бориса на плечи, как младенца.

Оконное стекло не замерзало, но так заросло грязью, что ничего не было видно. Борис нашел уголок, в котором стекло треснуло, тихонечко надавил — краешек выпал в снег, густо заваливший подоконник. Пахнуло морозом.

— Борис Петрович, мы же голые, а в камере отнюдь не африканский климат...

— Дышите, дышите, потом заткнем какой-нибудь тряпкой...

Угольничек в стекле маленький, в него можно глядеть только одним глазом. Но какая чудесная, просто восхитительная картина открылась Борису!

По большаку нескончаемой чередой ползли розвальни, словно все окрестные деревни сговорились усесться в сани и потянулись в Смоленск. Дохлые лошаденки лениво перебирали ногами, жадно вытягивали шеи, чтобы ухватить у идущих впереди саней пучок сена. А что лежало под сеном — догадаться нетрудно. Через два дня сочельник, а там рождество. Рождественские гуси, соленья всякие — что еще могла нищая смоленская деревня, отрывая от себя, подвезти на праздничный базар для того, чтобы вырученные деньги отдать за налоги.

Когда сани равнялись с тюрьмой, шагавшие рядом мужики торопливо крестились и в сердцах огревали своих одров кнутом. Вот какой-то мужичок придержал лошадь, торопливо перекрестил себя где-то около живота и, откинув шапку, смешно выставил ухо в сторону тюрьмы. Ужели «поезд» каторжан слышен и на улице? Эх, крикнуть бы сейчас этим мужикам что-нибудь этакое.

Борис досадливо спрыгнул с плеч Письменчука.

— Как дышится, какой воздух! И сани, сани, нескончаемая вереница саней!

Оказывается, даже такое общение с волей может испортить настроение! Борис прошел к своему парусиновому лежаку. Тоже новости тюремного интерьера. На деревянные рамы натянута парусина. У рамы ножки на шарнирах. Днем ножки подгибаются, рамы прислоняются к стене. Ни матрацев, ни подушек — не положено. Каторжники. Сегодня лежаки никто не убирал...

За несколько дней до бунта их камера задумала издавать рукописный журнал. Конечно, издание это не от хорошей жизни. В тюремной библиотеке десяток-другой книг и все больше «божественного содержания». Первый номер журнала «Смоленский каторжник» уже готов, и Борис участвует в нем и как редактор и как автор. Когда переписывал статьи, родилась идея обратиться к друзьям и знакомым на воле — пусть помогут. Кто книгами, кто деньгами. На эти деньги можно купить продукты — тюремная баланда из рук вон — от нее только изжога и никакого ощущения сытости. Так и туберкулез недолго обрести.

Борис достал недописанное письмо, перечитал.

«Господа! Сейчас в Смоленской каторжной тюрьме находится че-

тыреста политических каторжан. Большинство из них ничего, кроме казенного, не имеет, а питаться одним казенным пайком немыслимо... Обыкновенно политические в большом количестве собираются только в больших городах, где обыкновенно есть революционный «красный крест». Тут же в Смоленске на 40 тысяч жителей — 400 политических, число которых все еще увеличивается и дойдет, вероятно, до 600. Смоленские организации, конечно, ничего не могут сделать. Поэтому я обращаюсь к вам. Вы можете устроить какую-нибудь подписку, быть может, есть знакомые богачи-либералы, которые не откажут хоть немного помочь политическим...

Затем вот еще что: администрация пропускает почти все книги даже политического, социального, экономического характера. Беллетристику, конечно, без исключения. Для примера, пропущены: «Капитал» Маркса, «История германской социал-демократии» Меринга и т. д. Лишь бы заглавие не было очень уж страшным. Затем не пропускают агитационную литературу. А всевозможные партийные, научные и популярно-научные издания и пожертвования деньгами можно присылать... Смоленск. Редакция «Смоленского Вестника». Написать «для политических каторжан». Еще раз прошу вас, не поленитесь, устройте хоть что-нибудь, а то ужасно тяжело жить, в особенности в таком каторжном режиме».

— Товарищи! Нас соизволил посетить инспектор. Ну тот, плюгавенький. Мы его многажды облаяли, по-нашему, по-моряцки.

Вентиляционная труба гудела, и Борис едва расслышал сообщение из камеры второго этажа. Севастопольцы остаются верными морским традициям, без поминаний морского царя и апостолов обойтись не могут.

— Друзья, сейчас к нам пожалует инспектор Краинский! Он уже был у моряков и получил свою порцию изящной словесности. Представляю его физиономию.

— Борис Петрович, я сейчас у братвы справлюсь, кого они из родственников господина инспектора уже перебрали...

— Письменчук! Вы опять за свое? Ну сколько раз я вам говорил, что революционеру не к лицу эти выражения...

Борис не закончил мысль. В камеру вошел Краинский.

Первое, что бросилось ему в глаза — кучи кандалов, сваленных в углу. Краинский позеленел. В других камерах узники были голы, но в кандалах, а эти...

Начальник тюрьмы говорил ему, что в этой камере сидят зачинщики бунта, назвал фамилии. Запомнилась одна — Жадановский. Краинскому ужасно не хотелось вновь повторять все те слова, которые он уже несколько раз произнес в других камерах. Он устал и вот-вот эта усталость выльется в истерику, он знал за собой такой недостаток...

Инспектора опередил Борис.

— Господин инспектор чем-то недоволен, может быть, ваше благородие кто оскорбил?

И Краинского прорвало. Он чуть ли не со слезами на глазах говорил о том, как он заботится о заключенных, он распорядился и врача доставить, и улучшить стирку белья... А его обругали, его не хотят слушать...

Борис перебил:

— Значит, вы довольны и законами, и властью. А мы не довольны! Если бы были довольны, то не сидели бы в этой камере. Вы нам угрожаете и хотите, чтобы вас за это благодарили. Нет, молодой человек, не выйдет! И убирайтесь-ка отсюда подобру-поздорову, если вы не можете удовлетворить наших требований.

Краинский выскочил, словно ошпаренный.

Беспрецедентный «голый бунт» всколыхнул все общественные слои России. На него тотчас откликнулись газеты. И радикальные, и черносотенные.

Радикальный «Товарищ» 3 января 1907 года опубликовал большую статью.

«В Смоленской каторжной тюрьме происходят волнения среди заключенных... В настоящее время там находится около 400 политических каторжан, свезенных сюда для отбывания каторги со всех концов России: из Кронштадта, Севастополя, Свеаборга, Киева, Прибалтийского края.

Уже на первых порах своего пребывания там они доведены каторжным режимом до такого возбуждения, что прибегли к неслыханной форме протеста: они сняли с себя все белье и платье, выбросили подушки и одеяла, ходят и спят голыми...

Каторжане просили выдать им их собственное белье, указывая, что в правилах прямо не запрещено носить арестантам свое белье и что в сибирских каторжных тюрьмах на этом основании каторжане пользуются своим бельем. Администрация тюрьмы отказала исполнить их просьбу... Число больных увеличивается, здоровые истощаются. Нервы каторжан напрягаются, и страшно становится от мысли, что еще их ожидает».

Симпатии всей русской прогрессивной общественности были на стороне участников впервые в истории царских тюрем вспыхнувшего «голого бунта». Власти пытались сделать все, чтобы оклеветать замерзавших в тюремных камерах самоотверженных борцов.

Главное тюремное управление в Петербурге пыталось лживой информацией, разосланной всем газетам России, свалить вину за беспрецедентный скандал, разразившийся в Смоленске, на пленников царизма, которых подвергли режиму медленного удушения.

ГЛАВА XV

Январская стужа сразу перехватила дыхание. Борис закашлялся, оступился и не упал только потому, что был крепко прикован к могучей длани Письменчука.

Смоленск утонул в сугробах и темноте.

И только запоздалые прохожие, несмотря на мороз, останавливались, чтобы проводить удивленным взглядом необычный кортеж. В привычных извозчичьих санях попарно горбились арестантские шинели. По обе стороны саней бочком катили розвальни. На охапках промерзлого сена, скрючившись, сидели конвойные солдаты. Кавалькада разметнулась во всю ширь улицы.

Лошади скользили по плотно укатанному насту крутого спуска длиннющей Соборной горы, кучера едва их сдерживали. Но вот передние сани, в которых сидел начальник конвоя, заскользили боком, лошадь начала заваливаться и, наконец, сани перевернулись. Ошеломленный падением поручик вскочил на ноги и с перепугу выхватил шашку.

— В ружье!

Эта команда была столь неожиданной и нелепой, что солдаты растерялись. То ли им прыгать из саней и строиться, то ли?!

Борис, ехавший следом за санями начальника конвоя, расхохотался.

— Эй, ямщик, а ну огрей своего одра! Пока они тут барахтаются в снегу, нас и след простынет. Ну что тебе стоит!

Письменчук только зубами заскрежетал.

— Если бы не эти наручники, я бы уже давно на козлы перемахнул...

Начальник конвоя быстро оправился после падения. Солдаты подняли опрокинувшиеся сани, и уже без приключений этап добрался до вокзала.

Жадановский и его товарищи еще не знали, почему их так спешно увозили из Смоленска, не знали и куда. На все вопросы офицер конвоя отмалчивался или односложно повторял:

— Сказать не имею права...

Долго искали арестантский вагон. Нашли в каком-то тупике. Его никто не протопил, стенки и нары покрылись инеем. В вагоне было куда холоднее, чем на улице. Борис никак не мог унять озноба, замерзали и солдаты. Но поручик, видимо тоже закоченевший, не разрешил конвойным отлучиться за дровишками. Он был явно чем-то напуган.

А испугался он, услышав случайные обрывки разговора железнодорожных рабочих. В поисках вагона начальник конвоя заглянул в депо. Вокруг паровоза копошились человек пять или шесть мастеровых. То ли они обивали накипь в котле, то ли что-то клепали, но грохот

стоял такой, словно эти рабочие не ремонтировали паровоз, а яростно пытались его разнести.

Поручик прокричал на ухо рабочему свой вопрос о вагоне, но встретил только взгляд, полный ненависти.

Начальник конвоя понял, что здесь он не получит ответа. Но не успел отойти и десятка шагов, как стук молотков смолк. Потом офицер услышал, как из депо стали выходить люди. В темноте он не мог их разглядеть, но на всякий случай решил затаиться, благо рядом оказалась сторожка стрелочника.

Только зашел за будку, как с ней поравнялись двое.

— Какой там риск! Я тебе говорю, отцепим вагон, когда поезд отойдет верст на пять от станции. Только знать бы, к какому их подцепят, чтобы наши ребята подготовились.

— Ну, брат, и навыдумывал же ты!..

Рабочие прошли дальше, слова унес ветер, а поручик стоял, боясь пошевелиться.

«Определенно, они собираются отцепить наш вагон. Арестантские вагоны всегда идут хвостовыми. Отцепят, ироды, где-нибудь в лесу и перещелкают солдат, как куропаток. В прошлые годы такое бывало, особенно на Сибирской дороге. Но и здесь, на Смоленщине, лесов полно... Если бы еще в Москву ехали, в ту сторону и станций побольше, а то ведь на Витебск. Тут такие чащобы и прямо к дороге жмутся...»

Рабочие разошлись, а начальник конвоя так и не решил, что ему делать. Предупредить жандармов? Или потребовать, чтобы арестантский вагон поставили в голову состава? Тоже не выход. Договорятся с машинистами, расцепят поезд — и ищи волков в лесу.

Вот положение!..

— Господин поручик, надо бы протопить! А потом вы же обещали снять с нас кандалы, как только сядем в вагон.

— Молчать! Я вам покажу — снять кандалы!

Борис пожал плечами. Какая муха укусила офицерика? Несколько часов назад там, в Смоленском централе, принимая их шестерку, он был обходителен и обещал снять кандалы. А теперь все оглядывается, к чему-то прислушивается, мерзнет сам и других морит холодом.

Наконец, арестантский вагон подхватил маневровый паровоз. Стукнули буфера. Вскоре тронулся и поезд.

Борис показал глазами Письменчуку на поручика. Письменчук прошептал:

— Да я и сам вижу, что их благородие не в себе. Похоже, мозги ушиб, когда из саней вылетел...

Действительно, начальник конвоя вел себя странно. Выставил на

вагонную площадку двух солдат. Остальных расставил к окнам с ружьями наизготовку. Каждые десять минут часовые на площадке сменялись, вваливались в вагон и с остервенением терли уши, щеки, нос, топали сапожищами...

Борис пытался уснуть, да где уж! Холодина такая — уснешь, замерзнешь.

Так прошли два часа. Поезд остановился на какой-то станции. Начальник конвоя явно приободрился. Послал двух солдат за дровами и за углем.

А когда в вагоне весело загомонила печь, офицер приказал солдатам снять кандалы с каторжников.

Усталых и голодных арестантов сморило в тепле.

Борис проснулся, когда уже рассвело. Поезд стоял. В замерзшее окно нельзя было разглядеть вокзала, а Борису очень хотелось прочесть название станции — авось оно подскажет, куда их везут. Из отделения, где расположились конвойные, доносился храп, спали и арестанты. Только дневальный, тщедушный солдатик, зажав между колен винтовку, остервенело, сразу обеими руками чесал голову. Заметив, что Жадановский не спит, солдатик перестал чесаться и както виновато посмотрел на Бориса.

— Лишай, забодай его корова, прилип и никак не сходит...

Разговаривать с арестантами солдатам не полагалось, но все спали, и Борис решил спросить у караульного.

— Послушайте, вы не знаете, что это за станция?

— А мне не к чему...

— Тогда я гляну в окошко?

— Так что не велено к окнам подходить, да и мерзлые они.

— Ничего, я быстро протру глазок.

Борис не стал дожидаться ответа. Вскочил с нар, подошел к окну, продышал крохотную проталинку. Увы, вокзала он не увидел. Проснулся Канторович. Заметив, что Борис силится что-то разглядеть в окне, встал рядом. Конвойный засуетился.

— Отойди от окна! Их благородию доложу!

— Борис, да ведь это Витебск! Да, да, Витебск. Узнаю депо, а вон и костел — он очень характерный.

— Значит, Шлиссельбург.

— Почему Шлиссельбург?

— В Орловский централ нас могли доставить из Смоленска прямым ходом, не заезжая в Витебск. Нет, определенно нам уготована бывшая «государева».

Их громкие голоса разбудили остальных узников.

Шлиссельбург — с этим согласились все.

— Чести, конечно, много, но почему-то у меня с детства это слово вызывает отвращение.

— Да, репутация у сей крепости неважнецкая.



— Ничего, братцы, не унывайте, помните, как в 1702 году Петр I заявил: «...зело жесток тот орех был, однако ж, слава богу, счастливо разгрызен».

— Борис Петрович, а почему орех? — Письменчук посмотрел на Жадановского с сомнением.

— Эх, брат матрос, славное прошлое у этой крепости, да вот настоящее мрачное. Крепость эту построил еще в XIV веке русский князь. А потом сколько битв за нее было со шведами! И называлась крепость по имени острова Орехова — Орешком. Когда ее захватили шведы — переименовали в Нотебург, ну а Петр I нарек Шлиссельбургом, что значит «ключи от города». Той крепости-то давно уж нет, ее всю переделали, перестроили, под тюрьму приспособили. Мрачные там дела творились. Кстати, там был убит даже один русский император.

— Борис Петрович...— Письменчук принял удобную позу, готовясь выслушать длинный рассказ.— Ведь Александра-то Второго прямо на улице кончили...

— Александра-то на улице, это верно, а Павла I в его спальне в Михайловском замке, Петра III во время трапезы пивной бутылкой.

Борис заметил, с каким вниманием к его словам прислушивается караульный. На его лице так и написано тяжелое раздумье: мол, как же так получается — одних, вот этих, за то, что они царя хотели спих-

нуть, навеки заточат в темницу, другие же императоров истребляли, а им почет, слава, да и власть? И вспомнился Борису Жуков. Где-то он теперь, бедолага? Не пострадал ли за своего барина? Понял ли, за что барина на каторгу упекли?

Сколько мужественных, бесстрашных людей, пренебрегавших смертельной опасностью на воле, входили под мрачные тюремные своды с высоко поднятой головой, готовые и здесь, в застенках, бороться за свое человеческое достоинство, бороться с тюремщиками, с тюремным режимом. Одни из них, несломленные, уходили из жизни, другие, вернувшись на волю, вновь вступали в борьбу.

Одиночка. Шесть шагов от окна до двери, столько же от двери до окна. И четыре — от стены до стены. Вот и весь мир, весь земной шар, вся вселенная. Шесть на четыре!

И «вселенная» эта наполнена могильной тишиной. В ней некому издавать звуки. Он один на один со всем белым светом.

Впрочем, пыльное зарешеченное окно где-то там, под потолком, пропускает только тусклый полусвет. Это, наверное, свет тех далеких миров, которым не улыбается солнце. За окном нет причудливых, вечно меняющихся, куда-то торопливо бегущих облаков. Только тусклый, тусклый свет. Недолгий свет.

Трезвый ум Бориса отталкивает образы необитаемой бесконечности. Он знает, что за этими стенами десятки, сотни таких же мирков, в которых живет только один человек, а за стенами, за крепостной громадой ветер шумит по заледенелым просторам Ладоги, и повсюду жизнь — миллионы людей, чей мир измеряется не шестью шагами. Но то ум. А ведь не единым умом жив человек. У него есть еще и чувства. Он ведь слышит. Слышит тишину. Он видит. Видит стены, тусклый свет и снова стены.

Пытка одиночеством. Безмолвием. Бездельем. Сколько раз он страдал оттого, что не мог обрести драгоценного одиночества. Но насильственное одиночество — это страшное наказание. И ничегонеделание. Что может быть хуже?

Чувство безысходности, тоски сжимает сердце, подкашивает ноги, туманит глаза — на это и рассчитывали палачи, «милостиво» заменяя смертную казнь медленной казнью — сумасшествием.

Борис был оглушен тишиной. Оглушен звоном собственных кандалов.

Так бывает со всеми в первый день одиночного заключения.

Первый день — это день метания мысли, день торопливых шагов. Узник еще их не считает, как не считает часов.

Он еще не знает, что в тюрьме, в одиночке, иной счет времени, иной ритм жизни. Для Бориса перестало существовать пространство и поэтому время стало казаться чем-то материальным.

Но ведь и до Шлиссельбурга были тюрьмы. Была Лукьяновка, был Смоленск.

Был долгий год неволи. Но не было одиночества. Он каждую минуту мог слышать голоса товарищей, каждую минуту мог позаимствовать у них мысли и поделиться своими.

А здесь мозг обречен на самоистребление...

Борис заставил себя сесть на табуретку. Утих звон кандалов. Но где-то далеко-далеко еще слышалось его эхо. И оно не замирало, не растворялось в этом безмолвии.

«Схожу с ума»,— решил Жадановский, но тут же обругал себя. Рано, рано еще сходить с ума. Но, действительно, почему так долго, все на той же ноте слышится эта кандальная музыка?

Эхо доносилось откуда-то справа. Зазнайка! Вообразил, что для тебя одного уготована эта гигантская каменная могила. Где-то рядом томится такой же узник, как и ты. Это он бродит по камере и гремит кандалами...»

Борис умел мыслить логично. Он не поддавался минутным настроениям. Был по-своему упрям, но упрям всегда умно. Смертная казнь? Да, это было страшно, хотя он и не просил о помиловании, и отдал бы жизнь, веря, что умирает не напрасно. Но, получив жизнь в кандалах, знал, что его обрекли навечно жить в мире, границы которого измеряются шагами.

Подумал он и о возможности смерти. И, наверное, предпочел бы смерть гниению заживо, если бы раз и навсегда не поверил в торжество революции. И не когда-нибудь, в каком-то отдаленном будущем, когда и память о нем сотрется. И даже не тогда, когда его одряхлевшего, безвольного и, наверное, безумного, вынесут из этого склепа торжествующие потомки. Нет, он верил, что революция грянет в ближайшие годы.

И он обязан дожить до нее. И не просто отсидеться в тюрьме, заботясь лишь о сохранении жизни и борясь только с сумасшествием, нет, он хотел выйти из крепости нужным, полезным, он должен покинуть тюрьму, ни на шаг, ни на час не отстав от своих сверстников на воле.

А как это осуществить?

Борис не переоценивал свои силы. Он знал, что пуля задела плевру, и в тюрьме, в сырых камерах, его подстерегает чахотка. Он вспомнил смоленскую тюремную баланду. Даже очень здоровые люди от такой пищи, неподвижности, сырости, полутьмы быстро заболевают цингой, слабеют. И если не цинга, то туберкулез сводит этих здоровяков в могилу.

А что он может противопоставить болезням?

Чтобы быть сильным — нужно каждый день уставать до предела. Для смерти он оставит только одну лазейку. Он умрет, если будет оскорблено его человеческое достоинство. Для узника — каторжни-

ка российских тюрем были уготованы не только побои, тюремные карцеры, поголовные «тыканья». Тюремные иезуиты знали, что непереносимым унижением является порка, порка розгами. Омерзительней этой экзекуции фантазия палачей ничего уже придумать не могла. И на порку мог быть только один ответ — самоубийство.

Давно отзвучало кандальное эхо, давно серый свет пыльного окна превратился в непроглядную тьму, а Борис, не шевелясь, сидел на табуретке и думал, думал, думал.

Кирпичный свет пятисвечовой электрической лампочки, разгоравшейся так медленно, как разгораются сырые дрова в печи, не вывел его из задумчивости.

Но вот за окном послышался не то скрип, не то стук. Быть может, это поскрипывал снег под тяжелыми сапогами часового, а может быть, шальной ветер Ладоги нашел какую-то слабинку в крепостной твердыни и хулиганит, забавляется.

Борис почувствовал, что проголодался. До чего же был длинным этот первый день шлиссельбургской одиночки! А ведь только сегодня их провезли по Ирининской железной дороге мимо тех мест, где не так давно юнкер Жадановский стоял часовым летнего лагеря Николаевского училища.

И лед Ладоги — бескрайняя белая пустыня, которую проклинали юнкера, замерзая на артиллерийском полигоне... Но это обрывки иной жизни.

О чем мечтает узник?

Конечно, о свободе.

Вот и сегодня, когда потухла лампочка, в тишине, во мраке, ему почудилось, что кто-то тихо-тихо крадется по коридору. Надзиратели на цыпочках не ходят...

Борис приподнялся, прислушался. Нет, ничего не слышно. Снова лег. И снова услышал тихие шаги...

Что такое? Днем мне слышалось кандальное эхо, теперь, ночью, шаги. Так действительно недолго и с ума сойти, начать галлюцинировать наяву.

И вдруг — озарение. Ведь в Шлиссельбурге двадцать лет просидел народоволец Михаил Фроленко. Может быть, даже в этой камере. Хотя нет, эта тюрьма только что отстроена, а народовольцы сидели в старых одиночках крепости... Но все равно...

И мечты о побеге вновь завладели Борисом.

Кто в юности не сопереживал мечты Эдмона Дантеса, Овода! Кто вместе с ними не строил фантастических планов побега из темниц! А Борис не только фантазировал. Он готовился к побегу из киевского госпиталя, из Лукьяновки. К тому же Жадановский так и не успел до конца пережить свою юность. Ее веселые ритмы, яркие

краски стушевались в казарме, на учебном плацу. А теперь юность была уже позади.

Не случайно шаги в коридоре вызвали образ Михаила Фроленко. Он видел его в 1905 году. Тогда, по царской амнистии, а вернее, благодаря революции раскрылись ворота и этой государевой темницы. Фроленко — киевлянин. И Михаил Федорович после 25 лет каторги приехал в родной город. А сколько ума, хитрости, отваги он в свое время проявил.

Ведь это он в 1878 году устроился служителем в киевскую тюрьму. К заключенным придирался по поводу и без повода. За лютость арестанты собирались его убить. Тюремное начальство отметило его рвение и не замедлило повысить в должности. Фроленко был назначен надзирателем политических камер. А тут что ни камера, то друг, товарищ по народническим кружкам. Одно неосторожное слово, жест — и надзиратель сам окажется в одиночке.

Фроленко, не теряя времени попусту, раздобыл два солдатских костюма, тайно передал их заключенным — Стефановичу и Бахновскому, был и третий — Дейч, но для него костюма не нашлось. Но Фроленко решил выводить всех троих. А тут, как назло, в ночь, назначенную для побега, неожиданно заступил на дежурство усерднейший страж. Расселся в коридоре для политических и ни с места. Что делать! Стефанович выбросил в окно камеры книгу — Фроленко послал сторожа подобрать ее и отдать смотрителю. Только ушел сторож — беглецы в коридор, а там тьма кромешная. Дейч споткнулся, ухватился в темноте за сигнальную веревку, ну и пошло звонить по всей тюрьме! Фроленко не растерялся — припрятал беглецов в углу коридора, а сам в караульную — так, мол, и так, это я нечаянно зацепил... Успокоились. Довел до проходной. Двое солдат конвоируют арестанта, а надзиратель сопровождает — в караульной не шевельнулись. Хотя и должны были удивиться, почему у солдат нет ружей.

А как вышли из тюрьмы — тут уж товарищи подоспели, в челнок, и неделю плыли до Кременчуга.

И что самое удивительное — тюремное начальство сочло Фроленко несчастной жертвой, оплакивало его...

Снова шаги. Борис прислушивается. Спина заныла от неудобной позы.

Нет, слышны не шаги в коридоре. Это шуршит мочало, которым набит его матрац...

А что бы было, если в Шлиссельбурге появился второй Фроленко? Из этого узилища так не выберешься! И челнок на Ладоге не спасение.

Нужно спать...

С первых же дней Борис взял себе за правило не выполнять ни одного параграфа инструкций, которые бы так или иначе ущемляли его человеческое достоинство.

Он не вставал по стойке «смирно», когда по утрам на поверке камеры обходил старший надзиратель. На прогулке не снимал шапки, повстречавшись с тюремным начальством. Не величал этих извергов «вашим благородием». Товарищи его поддержали.

Нет, их не запугать страшным Шлиссельбургом...

ГЛАВА XVI

Зинаиду собирали в дорогу. В Петербург на курсы и, главное, поближе к Боре. Семья, конечно же, знала о неудачном исходе побега Бориса из арестантского вагона. Знала, что Бориса направили в Смоленск.

Еще в январе Ольга Николаевна получила открытку:

«2 января 1907 г. Смоленск.

Дорогие мои, с Новым годом. Понемногу устраиваемся. Здоров. По заявлению врача, мне сняли кандалы. В камере у нас сидят исключительно политические. Товарищи, большинство интеллигентные люди, штатские за Севастопольское восстание.

Чувствую себя хорошо, читаю. Книги есть и довольно порядочные. Систематически заниматься не начал. Тюрьма понемногу заполняется. Теперь здесь человек 500 каторжан, большинство политические. Вероятно, отсюда нас не отправят уже никуда...»

Ни слова о «голом бунте». А газеты только и трубят об этом неслыханном протесте. И вдруг известие — Бориса так неожиданно перевели в Шлиссельбург.

Мятая открытка, торопливый карандаш.

«Дорогие мои.

Сейчас сижу в вагоне, еду неизвестно куда. Вчера из Смоленска неожиданно взяли нас 6 человек, быстро собрались и уехали, до сих пор нам не сообщили места назначения...»

Теперь-то известно — Шлиссельбург...

Зинаида бодрилась. Она обязательно добьется свиданий, а потом, даст бог, и наладит регулярную переписку, позаботится о том, чтобы у Бореньки всегда были деньги и нужные книги.

Ее все подбадривали, но никто, в том числе и сама Зина, не верили, что все это удастся сделать быстро.

Зине повезло. Приехав в Петербург и кое-как, наспех, справив все свои дела на курсах, она целиком погрузилась в изучение бюрократических хитросплетений Главного тюремного управления.

Здесь она и встретила брата и сестру Ивана Вороницына, севастопольца, также переведенного из Смоленска в Шлиссельбург.

Брат и сестра приехали в столицу раньше и успели разобраться в чиновничьем лабиринте, что и избавило Зину от попаданий в тупики.

Разрешение на свидание Зина и Вороницыны получили неожидан-

но быстро на 11 февраля. Но до 11-го еще оставалось время, и Зина решила съездить в Шлиссельбург, просто хоть издали посмотреть на эту страшную темницу, чтобы не прийти к Борису напуганной или растерянной.

Невеселые пейзажи окружают зимний Петербург. Они становятся и вовсе унылыми у истока Невы из Ладожского озера.

Ирининская узкоколейная железная дорога ведет из Питера в Шлиссельбург, на берег Ладоги. Маломощная «кукушка» пыхтит, тужится, отфыркивается тучами иссиня-черного дыма, едва тащит несколько пассажирских вагонов.

Шереметьевка — последняя станция узкоколейки.

Зинаида посмотрела в игрушечное окошко игрушечного вагончика и зябко поежилась. Колючая поземка несла над землей снежную пыль и, словно неутомимый дворник, гигантской метлой наметала сугробы. В Петербурге она заметила, что в их поезд сажали партию арестантов. А теперь они вышли и строятся.

Конвойные солдаты ставили попарно закованных арестантов, а начальник конвоя обходил шеренгу, тыча каждого каторжника в грудь, подсчитывая. На солдатах и офицере были теплые полушубки, меховые шапки, каторжники же зябко ежились в своих затасканных шинельках мышиного цвета с бубновыми тузами на спине. Сквозь заунывные посвисты ветра до Зины долетела не менее заунывная мелодия кандального перезвона, грубые окрики, брань.

«Боже мой! И Борю вот также в январскую стужу гнали через эту белую пустыню. И он гремел кандалами, и слышал непристойную ругань солдат. Кутался в мерзлую, дырявую шинель».

Зине стоило больших усилий спуститься на лед и, преодолевая ветер, двинуться к едва виднеющемуся вдали городку.

Она шла и шла и, казалось, не будет конца-края этой снежной пелене. Городок приближался, но не рос. Зине почудилось, что по мере того, как она подходит к Шлиссельбургу, город проваливается под снег, а может быть, его заносит метель? Только купола церквей и собора поблескивали в редких антрактах снежного хоровода.

Зато крепость выросла, заслонила Ладогу. Зине померещилось, что это не крепость, а старая отвратительная и грязная ворона расселась на белой, чистой скатерти.

Зина повернулась спиной к крепости. Ветер подхватил, подтолкнул, и она уже не могла остановиться до тех пор, пока не очутилась снова под защитой вокзального здания.

Поезд стоял у перрона.

Вагон показался уютным, теплым после бесчинств ветра на Ладоге, и Зина не заметила, как задремала, согреваясь.

Проснулась она от заливистого смеха на соседней скамейке.

— Но, господин поручик...

— Штабс-капитан, с вашего позволения, мадемуазель...

— Ну, какая разница! Вы говорите, что этих страшных каторжников водят в собор, но ведь они же все безбожники и анархисты. В собор их влечет не беседа с богом, а хорошенькие хористки.

— Не уверен, мадемуазель. Пардон. Я на минутку, в соседний вагон.

Мимо Зины прошел жандармский офицер. Он был молод, наверное, немногим старше Бориса. Зину брезгливо передернуло, словно она прикоснулась к осклизлой, холодной жабе.

Возможно, вот этот штабс-капитан каждый день видит Борю, сторожит его, морит голодом, издевается...

Зина была недалека от истины, хотя штабс-капитан в шлиссельбургских тюремщиках не числился. Он только что сдал начальнику каторжного централа партию арестантов и теперь возвращался в Петербург.

Штабс-капитан был озабочен — в Шлиссельбурге ему сообщили, что кто-то из солдат конвойной команды наладил доставку водки и спирта уголовникам. Причем делалось это очень ловко — водка заливалась в ствол винтовки, дуло замазывалось хлебной пробкой.

Штабс-капитан подозревал, что солдат Штеменко, которого он успел приметить в этом конвое, мог изобрести подобный способ контрабанды. Только даром он рисковать не станет, а вот какое вознаграждение дали ему каторжники? Ведь у них ничего не должно быть при себе?

Штабс-капитан не случайно оставил солдат в соседнем вагоне. Одни, без офицера, солдаты разговорятся и, быть может, Штеменко и проболтается, он любит прихвастнуть. А у капитана в этой команде уже завелся свой наушник, этакий неприметный, пожилой солдатик, над которым подтрунивал всяк кому не лень.

Штабс-капитан застал солдат за картами, они резались в очко и даже не заметили офицера. И только «наушник», увидев жандарма, как-то неопределенно кивнул головой: «мол, ничего неясно», а может быть, и — «уходи отсюда, а то вспугнешь».

Штабс-капитан поспешил вернуться в соседний вагон к прерванной беседе с задорной барышней, наверное, курсисткой.

Когда хлопнула вагонная дверь, Зина непроизвольно подняла глаза и встретилась взглядом со штабс-капитаном.

«Почему у этого офицера так удивленно подскочили брови, и он побледнел, поспешил отвернуться». Зина была твердо уверена, что никогда раньше со штабс-капитаном не встречалась.

А штабс-капитан действительно побледнел. Он и сам не мог понять, почему, взглянув мимоходом на эту маленькую, довольно невзрачную женщину, съежившуюся, засунувшую руки глубоко в муфту, почувствовал острый приступ тревоги?

«Где я ее видел? Где я ее видел?»

И хотя память отказывалась прийти ему на помощь, штабс-капитан всю дорогу до Петербурга невпопад отвечал своей собеседнице, силясь понять, почему знакомое лицо попутчицы из соседнего купе вызвало у него такое беспокойство?

Зина не знала в лицо Замбржицкого, но знала фамилию предателя. И мало кому было известно, что пан сапер перешел служить в жандармерию с повышением в чине.

Ольга Николаевна не могла дождаться, пока муж спустится к завтраку. Наконец-то пришло письмо от Зины, а Петр Андреевич что-то там копошится...

Никогда Ольга Николаевна не вскрывала писем, адресованных мужу, а тут... была не была!

«22 февраля.

Дорогие папа и мама.

Ужасно досадно, что вы не получили моего письма, где я писала о свидании с Борей и сообщала многое, касающееся его.

Мне кажется, что мои письма перехватывают, может быть, не хотят, чтобы о Шлиссельбурге получали более подробные сведения, чем надо. Во всяком случае, это грозит тем, что вы не будете получать более интересные сведения о Боре. Это письмо я шлю вместе с посылкой, а после свидания пришлю заказное. В воскресенье я буду у Бори, отдам ему и эти 10 рублей, что прислал папа. Теперь напишу о свидании с Борей. Я приехала в крепость вместе с сестрой и братом Вороницына, он с Борей сидел и в Смоленске (за Севастопольское восстание осужден). Ему теперь только 20 лет, а начал действовать с 18. Мне про него много рассказывала сестра. Характером ужасно походит на нашего Борю, такой же сильный, как и он. И умница такой же.

Ну, я все по порядку потом расскажу, а теперь о самом свидании. Меня привели в комнатку с таким устройством: стена деревянная, потом пространство и опять стена. В стенах окошечки друг против друга. Около одного я стояла, около другого Боря. Мы были на таком расстоянии, что я как очень близорукая плохо его рассмотрела. Он был в халате и в шапке меховой вроде боярской. Мы, конечно, расспрашивали друг друга — он о вас, я о нем. Боря говорил, что он здоров, гуляет каждый день по 1 часу, вместе с шестерыми из Смоленска, Вороницын и др., что камеры сухие, теплые. Но условия очень плохие, но это, он сказал, наверное, для начальника тюрьмы, потому что особенным тоном, да и сестре Вороницын говорил, что Шлиссельбург в сравнении со Смоленской тюрьмой — рай. У них есть переплетные мастерские, где они работают.

Свидание длилось ровно 15 минут, на полуслове не дали догово-

рить, захлопнули окошечко, так что попрощались мы, уже не видя друг друга. При свидании присутствовало 4 человека: надзиратель — в пространстве между стенами и около меня два надзирателя и помощник начальника тюрьмы. Политические темы воспрещены. Когда Боря начал спрашивать о Думе, то все начали просить, чтобы он замолчал. Но мне кое-что удалось ему рассказать (иносказательно). Он, оказывается, совершенно ничего не знает о том, что делается, а это ему, конечно, интересно, потому он и переводил разговор на то, что делается, шумно ли, много ли собраний и т. д.»

Ольга Николаевна почувствовала, что какой-то туман мешает ей читать дальше. Петр Андреевич, увидав в руках жены письмо, ничего не сказал, только, отобрав письмо, прочел вслух:

«Зимберг молодой, любезный, но видно трус... он принес нам инструкцию и прочел. Из нее мы узнали, что свидания разрешаются 2 раза в месяц и только родным, близким, отцу, матери, сестрам и братьям родным...»

На прогулку Борис пришел взъерошенный. Товарищи знали, что Жадановский сегодня виделся с сестрой.

— Какое это свидание — сплошное издевательство. Зина близорука, и я уверен — она и не разглядела меня. Да и я ее плохо видел. Сказать ничего нельзя. Только я спросил о Думе — как на меня зашикали. Зина молодец все же дала понять, что Дума есть, что она левая и что ее разгонят.

Интерес к политическим событиям у Бориса и его товарищей по каторге был огромным. И Борис, надеясь на догадливость родных, решил расспросить их подробнее о Думе. Вечером он уже писал письмо, так изумившее тюремщиков. Они только диву давались, у этого щуплого каторжанина целый выводок родственников. И как он их всех помнит, как заботлив. Вот извольте: «Маленькая Домна», «Дядя Петя Столыпинский», «Семен Дмитриевич», «Степан Рудольфович», «Константин Дмитриевич».

Борис все эти дни после отправки письма очень волновался. Он верил, что Зина поймет, но ведь и Зимберг не такой уж дурак.

«Дорогая Зина!

До сих пор мне никто не пишет, как поживает маленькая Домна. Мне писали, что на днях ее должны были привезти к Вам в Питер, но как она вообще себя чувствует, никто не пишет. Прорезались у нее зубки, говорит ли она что-нибудь? Мне раньше писали, что у нее плохо действует левая ручка. Ты на свидании говорила, что, кажется, поправляется, но ты теперь как-нибудь поподробнее напиши. Помнит ли она обо мне и других дядях? Вообще о ней вы ничего не пишете...

А о себе, право, абсолютно нечего писать. Порядок дня таков:



в 6 часов вставать, в 7 поверка и затем чай. С 8 часов начинаются работы до 12 часов. Теперь у нас работают только 6 человек в переплетной и столярной, больше мастерских нет. Я в это время занимаюсь. Затем обед до 2 часов, отдых, а после до 6 часов, кто работает, идет на работы. Я читаю и занимаюсь. Затем в 7 часов ужин, в 8 поверка и так до завтра, а завтра эта песня длинная начинай сначала.

Сижу один в камере. Тишина. Один час прогулки в обществе пяти товарищей — настоящий отдых. Ну, настроение у меня, ты знаешь, всегда одно и то же.

...Еще раз напоминаю, если я не отвечаю, тому виной не я.

Ну, целую тебя, надеюсь увидеть... Боря».

Получив это письмо, Зина растерялась и не на шутку забеспокоилась. Борис заговаривается, бредит...

Какая Домна? Почему у нее с ручками плохо?

Прочитала еще раз и... расхохоталась. Ловко! Ну конечно же, «Домна» — это Дума, а «левая ручка» — левая фракция II Думы. Помнит ли «племянница» о дяде Боре? Вот на этот вопрос ответить пока затруднительно, уж больно хилая племянница и при этом «непослушная».

Потом Зина уже не задумывалась. «Дядя Петя Столыпинский» — не кто иной, как председатель совета министров, душитель революции — Столыпин, «Семен Дмитриевич», «Степан Рудольфович» «Константин Дмитриевич» — не что иное, как социал-демократическая, социал-революционная и конституционно-демократическая партии.

Борис не тешил себя иллюзиями. Хотя он и не мог следить за всеми перипетиями думской борьбы, но усвоил главное — царизм не потерпит оппозиционной Думы, так или иначе, вплоть до изменения избирательного закона — он добьется, чтобы у него под рукой была послушная Дума, в которой была бы оппозиция не «его императорскому величеству», а «его императорского величества». От такой Думы освобождения не жди.

ГЛАВА XVII

Борис проснулся весь в поту, между тем в его камере было прохладно. Да и пот какой-то липкий, противный. Очень болит голова, и к горлу подступает приступ кашля.

Кашлял он и во сне, но никак не мог проснуться.

Утром тюремный врач измерил температуру, едва коснулся трубкой лопаток... и ушел.

И только во время обеда Борис понял, что у него начинается легочный процесс. Вместо куска плохо выпеченного ржаного хлеба он вдруг обнаружил, что ему протягивают в дверную форточку белую булку и вместе с миской супа кружку молока.

«Дело плохо», — решил Борис. Но в уныние не впал. Усилен-

ные занятия гимнастикой, целый день на ногах, на прогулке обязательная пробежка. Сначала ему казалось, что долго он такой режим не выдержит. Бегая, он задыхался, пот заливал глаза. Гимнастические упражнения отдавались острой болью в груди. Но Борис не позволял себе прилечь на кровать, небольшая передышка и снова вдох, выдох, приседания.

Прошла неделя. Утром, в воскресенье, помощник начальника тюрьмы Гурамов, обычно не затруднявший себя регулярным обходом камер, вдруг соизволил явиться во время завтрака.

Гурамов был уже человеком пожилым, страдал одышкой, своими обязанностями тюремщика тяготился и втайне сочувствовал заключенным.

— Сидите, сидите,— хотя Борис и не собирался вставать,— жалобы есть? Нет! Очень хорошо. Раз нет, я делаю вам подарок.— Гурамов нарочно подчеркнул уважительное обращение на «вы», но тут же оглянулся — как бы не услышал надзиратель.— Послушай, «подарок», иди сюда.

Борис с любопытством посмотрел на Гурамова. Какая-нибудь новая начальственная пакость, или, быть может, помощник того, немного не в себе, всему Шлиссельбургу известно его пристрастие к вину.

Но в эту минуту в камеру вошел Письменчук.

— Борис Петрович, вот уж радость-то!

— Хороший подарок?

Борис от неожиданности даже забыл поблагодарить Гурамова, а когда опомнился, «благодетеля» уже в камере не было.

— Меня перевели к вам, Борис Петрович, помощник сказал, что вы хвораете.

— Ах, какой хороший «подарок», дорогой мой боцман. Только я обманул Гурамова, сказал, что болен. И вот результат.

Простодушный с виду Письменчук поверил хитрости Бориса, не хотевшего, чтобы товарищи волновались за его здоровье. В тюрьме каждая мелочь, самый ничтожный слух вызывает бурную реакцию, волнение, а нервы нужно беречь на будущее.

Но уже вечером Письменчук усомнился в том, что Жадановский здоров — мучительный кашель, как его ни сдерживал Борис, прорывался наружу. И ночью матрос просыпался, разбуженный кашлем.

— Э, нет, Борис Петрович, я не помощник, меня не обманешь.

На следующее утро Борис был удивлен — оказывается, ему увеличили ежедневную прогулку на два часа.

Белый хлеб, молоко, два с половиной часа свежего воздуха — не каторга, курорт!

Борис горько усмехнулся. Ужели тюремщики ожидают, что эти «послабления» смирят человека, купят его гордость, его человеческое достоинство. Каторжнику можно чуть-чуть «ослабить цепи», и он уже почувствует «крутую перемену» судьбы к лучшему. Какое лицеме-

рие — «забота» о больном чахоткой. Ну, нет, с чахоткой он справится сам, а что касается подачек тюремщиков — его этим не купишь.

В первый же день двухчасовой прогулки Борис почувствовал, что очень устал. Сегодня он гулял в одиночестве, если, конечно, не считать надзирателя. Письменчук от прогулки отказался, заявив, что он лучше поработает в переплетной. Когда истек срок прогулки, Борис едва добрался до камеры. Его так и тянуло улечься на постель, унять дрожь в ногах. Как больной, он имел теперь право лежать днем. Но Борис не лег, лечь — значит проявить слабость, сдать хоть и малую, но все же позицию наступающему врагу — чахотке. Но куда запропастился матрос?

Письменчук дал о себе знать зычным призывом — готовить посуду к раздаче обеда. Обычно обязанности эти выполняют уголовники, и Борис вновь удивился. Письменчук за один день задал ему две загадки. Но и на сей раз Борис не стал расспрашивать матроса. Если нужно — расскажет сам. До ужина время пролетело незаметно. Математические формулы, задачи — все, что еще полюбилось в кадетском корпусе,— наполняли тюремную жизнь иным, новым смыслом. Они не только отвлекали от тяжелых мыслей, позволяли забыть о камере, надзирателях, болезни, они уводили Бориса в мир безграничности, абстракции и в то же время в живой мир логики.

Когда в камеру явился Письменчук с чайником, Борис с трудом оторвался от решения очередной задачи. И не потому, что матрос принес кипяток, Борису показалось, что вслед за Письменчуком в камеру проникли уже забытые запахи.

Черт возьми, галлюцинация обоняния, этого еще не хватало. Борис сердито потянул носом. Чем может пахнуть в камере, кроме сырости, параши и махорки? Махоркой пахло от Письменчука, но нет, право, пахнет чем-то вкусным. Борис почувствовал, как рот наполняется слюной, а изголодавшийся желудок тоскливо заныл.

— Письменчук, что-то я, братец, того.— Борис выразительно покрутил пальцем у виска.

Матрос хитро улыбнулся, зачем-то подошел к двери, прислушался, потом поманил Бориса и, когда тот приблизился вплотную, быстро открыл крышку чайника.

У Бориса закружилась голова, вырвался стон восхищения.

— Откуда курятина?

— Да тут рядком, Борис Петрович, аккурат цельная ферма. Божья, конечно, боженька, видать, единственный печалец за арестантов.

Борис уже не мог больше задавать вопросов, которые бы развеяли туман вокруг божественного курятника. Его рот был забит ароматнейшим куском мяса. Когда первый приступ «обжорства» немного притупился, Борис заметил, что курятина несколько отдает горьковатым привкусом. При этом божьи курочки весьма хлипкие, с маленькими лапками и слабенькими крылышками.

— Ладно, матрос, все ясно и без слов, но куда вы девали голубиные перья? Теперь ждите кары не небесной, а земной. И боюсь, что на сей раз боженька будет преспокойно почивать на небеси, когда мы попадем в карцер.

— Это за что же, Борис Петрович?

— А за то, братец мой, что перья, обильно смоченные водой, надежно закупорят канализационную трубу.

— Э, нет, Борис Петрович, я их аккуратненько, по перышку опускал. Наш аспид заглянул, спрашивает: «Никак у тебя с брюхом непорядок?»

— А где же вы сварили птичек?

— Все в том же чайничке, в обед кипяточком обдал — не дошли, так я на ужин залил — упрели.

Голуби в изобилии водились в старой крепости, охотно слетались на подоконники камер и поймать их не составляло особого труда, но никто из заключенных до Письменчука, даже прошедшие огонь и воду уголовники, не догадался, как этих голубей сварить. Вскоре «голубиный беф — по-письменчукски» нашел признание, и это сразу же отразилось на канализации, вызвало гнев начальства, и теперь за «голубиный пир» можно было попасть и в карцер. Но и каторжане стали хитрее, их нелегко было поймать с поличным.

ГЛАВА XVIII

Близился конец 1908 года. Реакция забирала все круче и круче. Столыпин беспощадно карал всякое проявление свободомыслия, непокорности.

Шлиссельбургская тюрьма была забита до отказа. В камерах уголовников теперь сидели и приговоренные за политику.

Борис никогда не упускал случая беседовать с уголовниками, учил их грамоте, пытался пробудить в них интерес к борьбе, которую ведут революционеры за социальную справедливость.

Уголовники были не против учиться чтению. Особенно один из отпетых — Сенька-Хлюст. В каторжную тюрьму он угодил случайно. Вернее, он так считал, что случайно. Вор-карманник, Сенька в годы революции «развернулся», стал совмещать карманные кражи с налетами на обывательские квартиры. «Я экспропировал эксплуататоров»,— гордо заявлял он своим сокамерникам.

— Не экспропировал, а экспроприировал,— кто-то поправлял Сеньку.— А где ты слышал эти слова?

— Знакомец один, слесарь, сделал для меня набор отмычек, а потом спросил — для чего они. Ну, я и ответил, хочу богатеев немного попотрошить. Вот он и сказал это, как его «экспропритация...» тьфу, пропасть.

На частые беседы Сеньки-Хлюста с Борисом обратил внимание уголовник-осведомитель тюремной администрации.

Однажды в присутствии этого доносчика Сенька сказал Жадановскому:

— Ты, брат, учи меня скорее, хочу сам читать, что пишут политические в письмах, которые отсылают на волю без цензора.

Значит, Сенька-Хлюст знает о письмах, которые нелегально идут на волю. А может быть, он сам их получает и передает. Об этом подумал затесавшийся в камеру провокатор.

Однажды вечером, когда заключенные пораньше завалились спать — целый день убирали тюремный двор, готовились к зиме и умаялись, Мирошка, так звали «подсадную утку» в камере, подсел к Семену.

— Спишь?

— Иди-ка ты, не мешай.

— А почитать письма не хочешь?

Семен сел на нарах. Подозрительно поглядел на Мирошку. Тот сделал безразличное лицо — мол, сам напрашивался, не хочешь — не надо, я читать умею, а ты — как угодно.

— А что, если ты слегавишь?

— Ты знаешь, что с легавыми делают?

— Я-то знаю, а вот откель знаешь ты?

— Читал, брат Семен, читал!

— Ну? Ужель и об этом в книжках прописано?

— В книжках, Сеня, все прописано, учись читать.

— Ну, гляди у меня, если что.

Семен спустился с нар и полез куда-то в угол, старательно загораживая от взгляда Мирошки свой тайник.

— На-кось, читай. Только чтобы ша. Гляди, разбудишь.

Мирошка развернул маленький листок бумаги, написанный так убористо, так мелко, что сразу и не разберешь.

— Идем к лампочке.

— Нет, читай здеся.

— Да я ничего не вижу.

Семен хмыкнул.

— Небось нахвалился, тоже мне грамотей!

Мирошка напряг зрение. Это было письмо Бориса товарищам и родным на волю. Сенька-Хлюст нашел верный путь к передаче писем за крепостные стены Шлиссельбурга.

«...За 1907 год,— писал Борис,— мы многого добились и сильно улучшили свое положение сравнительно с началом. Конечно, все это мы могли сделать при том условии, что на воле еще не затихло, еще реакция не вступила вполне в свои права. Но вот наступил перелом на воле, и в воздухе запахло другим. Начальником главного тюремного управления стал Курлов. Начальник Шлиссельбургской тюрьмы не позаботился даже о приличном предлоге для переворота.

1 января как-то случайно вышло, что вторая прогулка запела Марсельезу. То же самое проделала третья и четвертая. В тот же день об этом и забыли. Никто, конечно, не сказал ни слова. У нас обыкновенно всегда, хотя и не очень громко, пели на прогулках. Но теперь изменились времена, и вот на другой день является начальник с конвойными под командой полковника и объявляет, что он за пение лишает нас книг и табаку. Это был явно вызов, ибо у многих книги не были отобраны, а табак тоже почти у всех остался. Дело было в самом факте наказания. Для нас было совершенно ясно: искался предлог. Уступили бы мы здесь, заставили бы уступить и в другом, третьем и т. д. На это мы ответили тем, что на следующий день уже все четыре прогулки возвращались с Марсельезой в корпус. За этим следовал целый погром: являлось человек десять надзирателей и забирали абсолютно все из камеры; не брали только нас, бывшей на нас одежды и тюфяков, одеял и подушек. Забрали даже деревянные кровати (в тех камерах, где сидели по двое, были складные деревянные койки), полки, полотенца, посуду, мыло и т. д. и объявили нам карцерное положение.

Настроение у всех было повышенное до крайности. Пища была исключительно в 2 фунта черного хлеба на человека в сутки и через три дня в четвертый горячая пища. Карцерное положение, конечно, совершенно не запугало нас. Те, которые случайно оказались не на карцерном положении, выбросили из камер все свои вещи и потребовали, чтобы их посадили на карцерное.

С начала, то есть 4 января, и до конца карцерного положения, то есть 4 февраля, вся тюрьма гудела. Днем обыкновенно орали кто как может, главным образом революционные песни. Все почти повыбивали стеклышки в дверях камер и вели друг с другом разговоры через эти отверстия. Все время играли в шахматы, так что целый день в тюрьме гудело с одного конца: «Королева 4.4 на 5.5», а с другого конца коридора в ответ неслось: «Тура 6.6 на 6.4» и т. д. Вечером наступало концертное отделение или же один из товарищей читал реферат.

Вот несколько рефератов: «О национализме», «О милитаризме», «О значении 9 января 1905 года», «Содержание книги Гернета «Общественные причины преступности», «Об анархизме» и другие.

Концертное отделение состояло из декламации (у нас очень порядочные декламаторы) и пения соло и дуэтов. Много дурачились. Когда замечали, что пришел кто-нибудь из начальства, кричали, свистели и орали что есть духу: «Товарищи, тише-е-е, начальство на коридоре-е-е-е». Было весело, хотя и утомительно, жили, как в общей камере, хотя каждый в одиночке. Начальник грозил, что если не прекратят скандалить, он еще увеличит наказание, но это только жару поддавало. Вначале мы каждую минуту ждали прихода солдат и расстрелов. Но месяц кончился, и, вопреки предположениям, нам возвратили наши вещи и сняли карцерное положение со всех. Впрочем, мы все-таки не

переставали перекрикиваться через волчки, а многие залепливали впоследствии волчки бумагой.

После карцерного положения настало мрачное время. Разнеслась весть о том, что Маклакова высекли. Маклаков уголовный; он тогда сидел в другом корпусе, но взят и наказан он, видимо, за наше общее дело. Ничто не может сравниться с этим! Что значат перед сечением расстрелы, побои и т. д.? Все это чепуха, порка же — это гнусность, ниже которой быть ничего не может. Даже когда убили товарища, близкого товарища, это не казалось мне таким ужасным, как порка. Для меня в этом отношении, конечно, нет и не было никаких сомнений. Отомстить я, пожалуй, не смог бы, но с собой я всегда бы покончил, не колеблясь.

За этим последовал второй удар. Приехал Курлов и вошел в камеру Сперанского. Но впереди шел начальник. Увидя начальника, Сперанский закричал: «Пошел вон, негодяй!» — и сам хотел выйти в коридор. Начальник же разыграл сцену, будто Сперанский бросается на Курлова. Он выхватил шашку и стал перед Сперанским. Затем все вышли из камеры. Через несколько дней Сперанского и Арановича (Аранович сидел в одной камере со Сперанским; в этом была вся его вина) перевели в другой корпус, а еще через несколько дней мы узнали, что Сперанский и Аранович были высечены. Это был второй удар. За ним последовал третий, быть может, не меньшей силы: Сперанский и Аранович не покончили с собой, остались жить. Наконец, последний удар — убийство Краснобродского. Краснобродский встал на скамейку, протянул руки в разбитое окно и стал сыпать на подоконник хлеб для голубей. Надзиратель Потапов, увидя его, закричал: «Слезай с окна!» У нас, между прочим, запрещено только выбрасывать записки, а у окна стоять можно. Краснобродский ответил, что когда накормит, слезет. «Убирайся с окна!» — «Не тыкай!» — «Слезай!» Бах — и Краснобродский убит на месте! Что переживали мы все в это время, не могу изобразить. Злоба, страшная, бессильная злоба. При воспоминании о таких минутах только и можно понять и даже оправдать часто ненужное пролитие крови при народных восстаниях, при захвате народом власти.

Это было 7 мая. С тех пор положение все время улучшается. Жить становится легче. Зато как много тяжелых впечатлений: впрочем, я прекрасно помню каждую минуту, что на этом дело, верно, не остановится, что не сегодня-завтра настанет время и опять пойдет «безумие и ужас». С 7 мая мы не ходим на прогулку, когда стоит Потапов,— убийца Краснобродского, то есть мы теряем $^1/_3$ прогулок.

Как видите, жизнь неважная. И единственная вещь, которая поддерживает — это наука. Конечно, забыться совсем нельзя, да я и не хотел бы, но наука увлекает, заставляет многое хоть на время забывать, вдохновляет. Без книг ничего не стоило бы сойти с ума. Только здесь я начал серьезно читать, и за это время, 2 года — нет, меньше,— $1^3/_4$,

я успел многое прочесть, многое понять, много поставить себе вопросов, на которые еще не нашел ответа. Самое важное то, что вопросы поставлены. И знаете, несмотря на то, что бывали времена — и не однажды, когда заносил одну ногу туда, откуда никто не приходил, бывали моменты — и не моменты только!— действительно ужасные, страшные, несмотря на это, говорю я, ни за какие миллионы не согласился принять свое прежнее состояние, то есть, конечно, духовное или, вернее, душевное, а, конечно, быть на воле, быть юнкером, кадетом, офицером, конечно, согласился бы. Я бы использовал это положение в целях революции».

— Вот это люди!

Семен не понял и половины из того, что было написано в этом письме.

— Смотри, люди-то какие. Раз высекут, значит, сам отдавай концы. А меня секли и не помню уже сколько — дня два поваляюсь, и здоров.

Мирошка не отвечал. Он был потрясен этим письмом, этой стойкостью духа, силы воли, убежденностью автора. Но кто он, кто? Кадет, юнкер, офицер?

Нужно снять копию и показать Зимбергу. А если Зимберг прикажет обыскать камеру, найдет тайник Хлюста!..

И так и так — западня.

Нет, копии он снимать не будет, проследит, куда Семен положит письмо, а завтра выкрадет его и прямо к начальнику с письмом. А вдруг ему посчастливится и его отправят в Сибирь, на поселение? Ведь это же почти воля.

— Спрячь, Сеня, хорошенько. Письмо-то важное. Пусть там, на воле, узнают, как тут живется людям.

— Людям? Это кто ж бубновых тузов за людей-то почитает? Ты вот что, мил человек, возьми это письмишко, а завтра, как нас на двор поведут, сунь мне обратно.

— А почему ты сам не можешь его захватить?

— Э, Сеньку-Хлюста кажинный раз обыскивают апосля того, как я из каптерки бутылку политуры смыл, да и выпил ее во дворе, за здоровье господина надзирателя.

— Ты что, с ума сошел?

— Это ж почему? Раз выпил, значит, псих?

— Да ну тебя, Семен. Ведь политуру пить — без глаз остаться.

— Без глаз мне нипочем нельзя. Профессия такая. Глазастая.

— Удивительный ты человек. Профессия? Ты что же, надеешься снова по карманам шарить?

— А ты думал землю пахать?

— Но у тебя же «вечная».

— Эвон, «вечная». Годика два-три на казенных прохарчуюсь здесь, в Шлиссельбурге, а там, глядишь, и в Сибирь сэтапируют. Ну, а

мы привычные. С этапа кто не бегал? От Тобольска почитай в каждом селе за красненькую десяток доброхотов найдется. И кандальчики твои напялят и туз бубновый им нипочем. Ты, значитца, на печи отлеживаешься, пельмешки с медвежатиной пожевываешь, а ен, сердешный, до следующего этапа ковыляет. Ну, а там вестимо «объявится».

— Постой, постой, что значит «объявится»?

— Эх, и недоумок ты, Мирошка, а грамотный. Ну пришли — привал, значит, али этапный острог. Вот тут-то он, сердешный, «караул» кричать начинает. Ну, ведомо дело, его под микитки, да и к офицеру. Так, мол, и так, по недоразумению закован. Прорывался до вас, ваше благородие, но вы-с соизволили без просыпу. Это он на пьянку намек имеет. На этапе архангелы все пьяным-пьяны. Ежели кто из кандальных сбежать захочет — раз плюнуть, да и ружьишко по руке прихватит — только выбирай! Но зимой «бубновых» на волю не тянет. В остроге и кормят, и печи топят. А по весне, считай, половина «адью» показывает.

— Адье, брат Семен, не показывают. Это французское слово означает «до свидания»!

— А свидание, грамотей, к зиме поближе. Каждый вор к зиме норовит на казенный харч, да и в тепло попасть. Ладноть, господин грамотей, иди-ка ты спать, да письмишко не забудь,— оно целковый стоит.

Борис проснулся и долго не мог понять — откуда в его камере столько света. На дворе ноябрь — самый тоскливый месяц поздней осени. «Новая» тюрьма имеет центральное отопление. Но калориферы гонят холодный, смрадный воздух.

Но откуда столько света?

«Снег! Выпал снег. Первый, ноябрьский. Белый, белый. К полудню он обернется сыростью и грязью».

Борису вдруг так захотелось выйти на улицу. Сгрести этот первый, липкий, скатать бабу. Запустить в кого-нибудь леденящим снежком.

Свисток известил о поверке.

— Господин надзиратель, я прошу сегодня прогулку с утра.

Борис говорил и не верил, что его сейчас выведут во двор, прямо на этот искрящийся, душистый снег.

Старший надзиратель криво усмехнулся.

— С господами кобылянскими изволите пообщаться?

Борис не понял насмешки. Надзиратель вышел из камеры, так и не дав ответа. Принесли завтрак. Борис проглотил его, даже не разобрав, что он, собственно, съел.

Скорее бы на прогулку да Семена не упустить. Интересно, передал ли он на волю предыдущее письмо. Не приведи господь, попадет

оно в руки тюремщикам, снова лишат переписки на год. Впрочем, он и так ее лишен. Да и велика ли радость — одно письмо в месяц. Через Семена можно писать куда чаще и все, что вздумается — цензуры не будет.

— Выходи!

Резкий, белый свет заставил Бориса зажмуриться. Потому он не сразу заметил, что уголовники чем-то взволнованы. Сбившись в кучу, они, не обращая внимания на надзирателей, возбужденно о чем-то спорили, оглушительно гремели кандалами.

Семен, увидев Жадановского, сделал предупреждающий жест — мол, не подходи, у нас тут происшествие.

«Обидно,— подумал Борис,— как же передать письмо Семену?» Но подойти не решился.

Снег пьянил, хотелось не дышать, а прямо-таки глотать пахнущий снежной свежестью воздух. Борис торопливо подхватил пригоршню, слепил снежок — в кого бы запустить? Он с удовольствием влепил бы его в физиономию надзирателя, но бросить снежок руками, закованными кандалами, очень не просто, а попасть в цель и вовсе невозможно. Сегодня он не будет дразнить тюремщиков.

Борис оглянулся. Уголовники уже разошлись и теперь вышагивают по двору. Семен перехватил взгляд Бориса, начал мимикой спрашивать у него, где, в каком кармане лежит письмо.

Сначала Борис не понял — письмо он положил в карман, когда катал снежок, теперь же на всякий случай вновь держал его зажатым в руке, чтобы в любой подходящий миг сунуть Семену. Но Хлюст явно указывает на карман. Борис пожал плечами и медленно, так, чтобы заметил Семен, сунул руки в левый карман куртки. Сделать это нелегко — ведь одна рука обязательно сопровождает другую в коротких наручниках. Приходится изгибаться и если потребуется быстро достать письмо из кармана, то сделать это незаметно попросту невозможно.

Борис был раздосадован — что это Семену вдруг вздумалось дурить. Предыдущее письмо он передал ему из рук в руки. Наверное, ничего сегодня не получится, и вся мимика Семена означает — «положи в карман до следующего раза».

— Прогулка окончена.

Борис уже не радовался снегу, и, кажется, впервые ему захотелось скорее очутиться в камере, прилечь на койку.

Уголовники также спешили в камеры, у входа началась сутолока. Надзиратели засуетились, забегали, закричали.

Кто-то толкнул Бориса, и он с досады решил отойти в сторону, пропустить этих «бешеных».

Когда захлопнулась дверь камеры и замолкли шаги надзирателя, Борис присел на табуретку. Нужно сообразить, куда припрятать письмо. В последние дни политики стали замечать, что их камеры обыскиваются, когда они гуляют.

Матрац? Нет, этот «тайник» давно известен тюремщикам. Семен рассказывал, что он подклеивает письма хлебным мякишем к обратной стороне нар. Но в камерах уголовников нары на день не убираются, его же койка откидывается к стене. Пожалуй, безопаснее всего иметь письмо при себе. Обыски одежды бывают редко. А это письмо самое позднее нужно отправить завтра, иначе мама уедет. Борис полез в карман. Письма не было. Что за чертовщина. Ведь не мог же он положить письмо мимо кармана. Еще и еще раз ощупал карман — письмо исчезло. Оно уже было в руках Семена.

Мирошка стоял на коленях в кабинете начальника тюрьмы.

— Идиот несчастный, украл одно письмо, не мог снять копии. Конечно, я накажу этого Хлюста. Но все равно найдется другой, и этот другой будет осмотрительней. И мы снова не будем знать о тайной переписке каторжан. Пойдешь и отдашь письмо этому человеку, скажешь, что я сам тебя призвал к себе, а не ты напросился.

— Ваше превосходительство, они меня убьют. От надзирателя узнают, как я к вам попал.

— Давай письмо!

Мирошка торопливо полез в карман, путаясь в наручных кандалах. Письмо исчезло.

— Ну, я жду.

— Ваше... Сперли! Честное слово, стащили.

— Что?

— Прикажите обыскать Хлюста. Это он украл.

— Не говори глупостей. «Украл». Хотел меня обмануть!

— Не губите...

«Чухна», конечно, знал, что ловкачи из уголовников способны не только письмо украсть, стащат надзирателя и концы в воду.

Сенька-Хлюст чувствовал себя героем. Забыв об осторожности, он взахлеб рассказывал сокамерникам, как этот «учитель» хотел его, Сеньку-Хлюста, провести. А Сенька — парень не промах. Как заслышал, что «интеллигент» по начальству запросился — раз и готово! Письмецо-то тю-тю, уже передал. А тот дурак и не почуял, когда к нему залезли в карман.

Уголовники хмурились, слушая Хлюста. Значит, им в камеру подсадили «кукушку». Что ж, с «кукушками» разговор короткий, пусть только вернется. А пока! Пока следует отлупить Сеньку — нашел кому довериться. Он не был в обиде, проучили справедливо. И хорошо еще, что он не успел похвастаться, как ловко вытащил из кармана куртки письмо этого маленького подпоручика. Тоже, поди, сидит у себя в камере и диву дается. Оба письма в надежном месте, а точнее, у сторожа. И сегодня же тот передаст их кому следует на волю.

Владимир Лихтенштадт был человеком высокой культуры. Он учился за границей и в отличие от многих своих товарищей, усиленно штудировавших философские, юридические, исторические и прочие гуманитарные науки, предпочитал заниматься химией, физикой, математикой. Человек горячий, увлекающийся, в годы революции он свел дружбу с максималистами. Мастерил бомбы и бросал их. Вместе с боевиками участвовал в подготовке взрыва дачи Столыпина на Аптекарском острове, за что был приговорен к смертной казни, замененной потом бессрочной каторгой.

С Жадановским он сошелся сразу и стал его близким другом, что, однако, не мешало им спорить чуть ли не по каждому поводу, а частенько и без повода. Лихтенштадт не переставал удивляться беспредельности научных интересов, которые отличали Бориса от большинства каторжан Шлиссельбурга, хотя среди них было немало хорошо образованных людей. Но неожиданно проявившееся у Жадановского глубокое внимание ко всему, что было связано с авиацией и воздухоплаванием, изумило Владимира.

Была рождественская неделя 1909 года. Мать Лихтенштадта сумела взять на себя краснокрестную заботу о шлиссельбуржцах. Никогда еще узники крепости не получали такой богатой передачи.

Борису казалось, что он праздничную неделю только и делал, что ел. Он так и озаглавил письмо родным: «Жратвенные подвиги».

Накануне нового года, когда камеры успокоились, неожиданно открылась дверь в его одиночке и Борис увидел на пороге Лихтенштадта.

— Вот это новогодний сюрприз!

— Боюсь, Боря, что ты прав, только новогодний. У меня в камере делают какие-то срочные исправления, ну, я и попросился к тебе.

— Все равно радость. Но как хорошо ты выглядишь, и по-моему, даже пополнел.

— И ты теперь понемногу обрастаешь мясом. Тебя, наверное, тоже подкормили.

— Еще как! И все твоя матушка, не знаю уж как ее и благодарить.

— Пустое! Главное, ты здоров. Но давай присядем.

Борис предоставил гостю почетное место на постели, сам уселся на табурет. Но Владимир тут же потянулся к столу, на котором лежало несколько книг.

— Опять авиация, опять воздухоплавание. Да объясни ты, наконец, чем они тебя захватили? Или это увлечение по принципу сходящихся противоположностей.

— Что ты имеешь в виду?

— А то, что саперного, земляного, можно сказать, ужа потянуло в небо к соколам. Как у Горького. И помнишь, чем кончил уж?

— Террорист несчастный, ты вот лучше скажи мне, всезнайка,

какую роль играл воздушный шар при побеге Петра Кропоткина из тюремной больницы?

Лихтенштадт с минуту недоуменно смотрел на Бориса, а потом заливисто расхохотался.

— Нет, не могу, право, уморил, чертушка. Анекдот.

— Но шла же там речь о каком-то воздушном шаре?

— Не шаре, не шаре, саперишка, а шарике, небольшом таком красненьком или зелененьком детском шарике, которые продают по воскресеньям на всех перекрестках.

— Ничего не понимаю.— Жадановский вскочил с табуретки и заметался по камере. Шесть шагов туда, шесть обратно, на третьем перескакивал через длинные ноги Владимира.— Я тебя серьезно спрашиваю, а ты мне «детский шарик».

— А я тебе серьезно и говорю, что организаторы побега Кропоткина со двора тюремной больницы должны были дать ему сигнал, подняв над каменным забором детский воздушный шарик. У них там еще оказия приключилась — как на грех все шарики с утра были раскуплены и они чуть было не опоздали.

— Вот в чем дело, а я думал...

— Постой, постой, ужели ты серьезно думаешь упорхнуть из этой мерзкой тюрьмы с помощью воздушного шара?

Борис продолжал ходить, словно и не слышал вопроса Владимира. Лихтенштадт знал, сколько сил, ума, изобретательности истратил в прошлые годы его друг, чтобы убежать. Казалось, неудачи должны были в конце концов охладить пыл Жадановского. Инженер, сапер, он понимал, что из Шлиссельбурга, из крепости, нельзя сделать подкопа. Вот откуда и родилась, вероятно, мысль о воздушном шаре.

— Владимир, видишь ли, теоретически улететь отсюда можно. Подожди, не перебивай... Теоретически. Скоро начнутся работы на огородах. Они, как тебе известно, длятся с утра и дотемна. Если бы нашелся смелый пилот, дерзнувший в быстро наступившей темноте незаметно подлететь к условленному месту — много шансов улететь благополучно...

— Борис, ты бредишь. Во-первых, где эта быстро наступающая темнота, когда дело идет к белым ночам. Во-вторых, воздушный шар неуправляем и, если ветер чуть отклонится в сторону, прилететь в условленное место не удастся. Чтобы сбросить лестницу, нужно снижаться и основательно снижаться, но как потом подняться, сразу выбросить балласт... на головы конвоиров. Последствия скажутся тут же: воздушный шар — это «та зверина, что больше овина»,— в него не попасть просто невозможно. А ведь попадание пули в воздушный шар — это не просто дырка в оболочке, это немедленный взрыв и мгновенная гибель пилота и беглеца, да и тех, кто поблизости окажется. А конвоиров не предупредишь, они о взрыве и не знают.

— Но взрыв не обязателен.

В голосе Бориса не чувствовалось уверенности.

— Видишь ли, я, конечно, не знаю, может быть, и не обязателен, но я читал о катастрофе во Франции, году, наверное, в четвертом. Не помню уже сейчас имен, но суть в том, что воздушный шар занесло куда-то в лесистую местность и стало прижимать к земле. А тут на беду какой-то охотник с собакой. Собака заметила снижающийся шар, в ужасе припала к земле и завыла. Охотник тоже перепугался и, ничего не соображая, пальнул. Взрыв! И ни шара, ни пилота, ни собаки. Охотник обгорел, но выжил.

— М-да!

— Но я не могу поверить, что ты серьезно думал о таком фантастическом варианте побега.

— Гамбетта во время франко-прусской войны 1870—1871 годов неоднократно вылетал из осажденного немцами Парижа и возвращался обратно.

— Борис, Борис! Конечно, мечта окрашивает жизнь и тем более нашу, но ведь так можно дойти до галлюцинаций!

— Не беспокойся. Я по-прежнему буду интересоваться авиацией, но забуду о воздушных шарах.

— Вообще-то жаль. Знаешь, я во сне все же летал. Ах, как это чудесно! Видел сверху нашу проклятую крепость. Жаль, не досмотрел я этого сна, а уж теперь он не повторится.

И снова пришла весна. И снова ее приход Борис встретил приступами мучительного кашля, кровохарканием.

Письменчук вновь забеспокоился. Он и сам за этот год основательно сдал. Куда-то, словно сдутые тюремными сквозняками, улетучились силы, которые, казалось, нельзя было растратить за такую короткую жизнь, как человеческая.

По утрам стало трудно отрывать голову от жесткой подушки, на прогулке дрожали ноги и все время хотелось присесть, закрыть глаза, отдохнуть под лучами яркого, но еще по-весеннему чуть тепленького солнца.

«Каково же Борису Петровичу? Ведь в этом воробушке и духу-то негде разместиться, не то что силенкам!»

Но Борис упрямо, ни на минуту не останавливаясь, не присаживаясь, мерил шагами тюремный двор.

«Человечище!» Иного слова Письменчук не находил.

Поздняя весна расцвела грушами и яблонями, посаженными во дворе крепости еще народовольцами.

— Ишь, какие вымахали,— Письменчук осторожно гладил нежные яблоневые цветы, удивлялся, как на этой неприветливой земле посреди суровой Ладоги может прорасти такая красота.

— А как же им не вырасти, боцман, если народовольцы просидели в этой крепости почти по четверть века. Вот и считай — самой молоденькой яблоне не менее 30 лет.

— Борис Петрович, так яблоня всего-то живет лет 40—50.

Борис тоже подошел к яблоне, потрогал лепестки цветов. Совсем недавно по настоянию тюремного врача ему сняли ручные и ножные кандалы. А он с ними свыкся, сжился. Долгие годы они горбили его спину, и теперь, наверное, весь остаток жизни он будет ходить согнувшись.

Работы на огородах, без кандалов — истинное наслаждение, а ведь работают они с небольшими перерывами по 10 часов в сутки. Только теперь Борис понял ту неотвратимую тягу к земле, которую испытывают хлебопашцы. Сколько раз он слышал тяжелые вздохи солдат, когда по весне они выходили в поле, но не с сохой, не с плугом, а с винтовкой в руках.

Земля и жизнь, как по-новому звучит теперь для него, человека, выросшего в городе, древний миф об Антее, земля вселяет силы. И как она пахнет. Нет слов, чтобы передать — как!

Усталый, он спал без снов и просыпался, не чувствуя поясницы, с ломотой в руках, ногах, но как никогда бодрый.

Рядом работают Письменчук, Вороницын, Лихтенштадт.

Письменчук похудел, у него провалились глаза, кровоточат десны. Борис тяжело переживает болезнь друга. Да что друга — брата, причем брата младшего, хотя матрос был старше Бориса. Брата, которому он посвящал долгие часы, передавая ему свои знания, свою веру, свою стойкость. За эти годы Письменчук изменился неузнаваемо. Он теперь краснел, когда кто-либо из «стариков» с улыбкой вспоминал «боцманские морские загибы». Он потянулся к книге, сначала читал без разбора, но вмешался Борис и стал руководить его чтением. Письменчук слушался маленького подпоручика во всем беспрекословно, кроме одного.

Вот и сегодня, отложив лопату, Борис перебрался на грядки к матросу.

— Как ты себя чувствуешь?

— Хорошо, Борис Петрович, смотрите, благодать-то какая. И от землицы дух, голова кругом.

— А голова все-таки кружится?

— Кружится, да и пусть себе. Это от воздуха, от земли, Борис Петрович.

— Нет, мой дорогой, это от болезни. А ты упрямо не хочешь лечиться. Ну, почему, почему ты не обращаешься к врачу?

Письменчук выпрямился, его запавшие, ставшие какими-то тусклыми глаза вдруг гневно сверкнули.

— Да чтобы я... пошел... к этому... Разве он доктор... Тьфу! Вша подколодная, черт с дипломом.

— Письменчук, Письменчук! Опять.

— Не буду больше, Борис Петрович! Но рассудите сами. Коханова помните? Помните. Простыл чуток. Попросился в больницу, а оттуда прямым курсом на кладбище. Помощник лекаря Левченко, он же коновал, мясник. У Шильмана глаз покраснел. Уж на что я к врачеванию отношения не имею, а слыхал — в глаз при красноте надо пускать цинковые капли. А Левченко... кислоту влил. Шильман кривым остался и до окончания дней своих.

— Я знаю об этом.

— А известно ли вам, что третьего дня этот гад нашего севастопольца Циому чуть к праотцам не отправил.

— А что случилось?

— А то, что у Циомы чирий на шее и по спине пошел. Ну, известное дело, к доктору. А тут на беду этот, прости господи... Левченко мазь сует, говорит, сам составил, первейшее средство от чириков. Втерли, а вечером Циому на брюхо уложили, день и ночь кричит — такие ожоги от той мази — смотреть страшно, шкура с него сползает. Вот так-то, а вы говорите — иди к доктору. Нет уж, я как только травка проклюнется, кота на огород пущу. Присмотрел у нашего сторожа. Коты, они знают, какую растению щипать, я примечу, да и отвар из этих травок сделаю — вот и вся недолга.

Ну что ты будешь делать с этим упрямцем, хотя он прав во многом. Лекарские знания тюремного доктора Борис испытал на себе.

Между тем в тюрьме появился новый помощник начальника, некий Талалаев, он сразу же невзлюбил Жадановского и никак не мог понять, почему Зимберг старается не задевать этого каторжника. На его бы месте придрался да выдрал бы экс-офицера розгами. А «чухна» боится «историй», газетчиков. Да плевать на них.

Талалаев был не прочь спихнуть Зимберга с теплого местечка. А потому решил, что Жадановский может сыграть не последнюю роль в подсиживании начальника.

Талалаев придирался к Борису как только мог. Борис понял сразу, что помощник ищет только повода. Ну что же, он не пойдет навстречу провокациям Талалаева, но спуску при случае не даст.

И случай не заставил себя долго ждать... Как-то, возвращаясь из больницы, Борис нос к носу столкнулся с Талалаевым. Сопровождавший Жадановского надзиратель замер и тоненьким голосом крикнул:

— Смирно! Шапку долой!

Борис даже не обернулся, продолжал идти.

Талалаева передернуло. Он закричал.

— Стой! Снять шапку!

Борис, не останавливаясь, ответил:

— Я без шапки ни перед кем стоять не намерен. Если вы поздо-

роваетесь по-человечески, я отвечу, а так я вас просто не замечаю, тюремную гадину.

— Ублюдок, каторжник, ты обязан исполнять команды.

— Пошел к черту, негодяй!

— А, ты не желаешь подчиняться, да я тебя, мозгляк, одной рукой...

— Идиот, расхвастался своим жиром, прочь с дороги.

И Борис прошел дальше.

Талалаев галопом помчался в канцелярию. Схватил «Дисциплинарный листок» Жадановского.

«Карцер. Карцер на целый месяц. Темный карцер. На хлеб, воду, к крысам на съедение».

Но Зимберг карцера не утвердил. На возмущенные протесты своего помощника ответил, что Жадановский не снимет шапки даже перед государем-императором.

И тогда Талалаев решил действовать. Целый вечер и часть ночи он сочинял донос в Главное тюремное управление. Помощник был достаточно искушен, чтобы прямо обвинять Зимберга. Нет, боже избавь. Но порядки в тюрьме! Распущенность каторжников. И этот заводила Жадановский!

Борис проснулся от легкого стука.

— Лежите, лежите.— Письменчук стоял, прижав ухо к стене.

Вчера Жадановский пришел с огорода совершенно обессиленный и сегодня на работы не вышел. У него вскрылся шов.

Письменчук и сам едва держался на ногах. Если бы глоток свежего воздуха, но он не пошел на огороды, кто же позаботится о друге, кто будет охранять его зыбкий сон?

— Что там случилось?

— Минутку!

Легкий стук повторился.

— Циома передает — у него только что побывал инспектор, и...

Письменчук быстро-быстро застучал по стене хлебным высушенным молоточком. Кончил и тут же снова приник ухом.

— Елки-палки, с инспектором сам петербургский губернатор пожаловал.

Губернатор Зиновьев был человек уже пожилой, лицо его с белоснежной бородой и реденьким пучком волос на макушке напоминало репу, только что вытащенную из грядки. Уже более часа он ходил по камерам. Встречали его сдержанно, но не враждебно. Генерал устал.

А Зимберг, рассыпаясь мелким бесом, забегал и забегал вперед, докладывая, кто сидит в той или иной камере. А камер не счесть. Ге-

нералу все это порядком надоело. Сидят, ну и слава богу. Жалобы? Если они и есть, то все равно он о них забудет.

— Господин инспектор, вы говорили, что в управление поступила гм... гм... докладная и в ней виновником всех бед этой тюрьмы назван какой-то бывший офицер.

— Жадановский, ваше высокопревосходительство!

— Господин Зимберг, проводите, пожалуйста, нас в камеру к этому Жадановскому.

Ох, как не хотелось «чухне», чтобы его высокопревосходительство свиделось с Жадановским. Уж этот не смолчит и на превосходительскую грубость ответит тем же. А что губернатор не преминет «тыкнуть», Зимберг не сомневался. Сколько они уже обошли камер, и всюду Зиновьев обращался к каторжникам только на «ты».

Дверь камеры распахнулась. Зимберг, забыв о субординации, опередил начальство и сунулся первым. Слава богу, они вошли в тот момент, когда Жадановский и матрос о чем-то беседовали, стоя возле стены. А то, чего доброго, Жадановский и не поднялся бы с постели, увидев «высоких» посетителей.

Письменчук обернулся и, узрев генеральские эполеты, сделал шаг вперед, как бы защищая собой щупленького друга.

Зиновьеву же показалось, что у этого узника сработала привычка военного вставать во фрунт при виде начальства.

— О, вы, вероятно, служили в гвардии? Впрочем, в гвардии нет саперных частей. Что вы кончали?

Зиновьев обращался к Письменчуку, явно принимая его за Жадановского.

Борис едва сдерживал улыбку в предвкушении ответа матроса.

— Так что, ваше высокопревосходительство, два класса городской школы, а из третьего изгнали — иголку педелю в стул воткнул.

Зиновьев замотал бородой, даже «ножкой» притопнул от возмущения.

— Это неслыханно, это черт знает что такое. В карцер негодяя...

Письменчук сделал шаг, поднял руки в кандалах. Нервы у Зимберга не выдержали. Смешно пискнув, он выхватил шашку и встал между матросом и генералом.

Борис больше не мог сдерживаться, расхохотался до слез и даже свалился от смеха на открытую кровать.

— За что же, господин губернатор, бедного невинного матроса да в карцер. Ведь за ту иголку его и так из школы выгнали.

— А это что еще за сморчок?

Генерал распалился.

— Господин Зимберг! Я запрещаю сажать уголовников к политическим, чтобы уголовники им прислуживали. Каторжник должен быть каторжником, а не барином. Вышвырните вон этого... недоростка!

— Ваше высоко...



— Я знаю, что я «высоко». А вы, господин Зимберг, сами развращаете узников, а потом жалуетесь на их поведение.

Жадановский? Когда я командовал корпусом во время последней войны, у меня служил поручик — сапер Жадановский. Извольте заметить — офицеры в ту войну отказались от денщиков и посылали их в строй, в окопы, а тут эта дылда, видите ли, без холуя не может обойтись.

— Ваше высоко...

— Да, да, господин инспектор — приказываю выпороть этого Жадановского, дабы не повадно было комедию ломать. Заодно двадцать розог и тому жулику. Встать, негодяй. Закрой рот, а не то я покажу тебе — больше до гроба не посмеешься.

— Сам ты превосходительный негодяй.

— Мол-чать! Выпороть и в карцер на 30 суток.

— Ваше высокопревосходительство,— инспектор прямо усами влез в генеральское ухо,— этот маленький и есть Жадановский. А тот верзила — матрос-севастополец, но тоже «вечный» — политик.

— Ах, вот как? Так какого черта вы молчали, хотя, впрочем,

я уже понял — у поручика с ноготок не мог народиться этакий гиппопотам.

Генеральские мысли порхали, словно стрижи. Его «высоко» был уверен, что поручик Жадановский, некогда служивший под его началом,— обязательно отец маленького узника. Ну, а если генерал уверен, то иначе и быть не должно.

— Выпороть и отписать отцу — да, да, пусть знает, и остальных сыновей держит в строгости.

— Ну и дурак. Совсем из ума выжил,— Борису показалось, что он произнес эти слова про себя. Но Письменчук вдруг прыснул. Не обращая внимания на высокое начальство, матрос пробасил:

— Борис Петрович, да ему моль вместе с волосами и мозги поточила...

— Расстреляю мерзавца!

Генерал круто повернулся на каблуках, не удержался и, наверное бы, рухнул, если бы не инспектор, успевший подхватить его под руки...

Зимберг стоял белый как полотно. Он теперь уже ни за что не ручался, и менее всего за свое место начальника Шлиссельбургской тюрьмы.

Если выпороть Жадановского, тот непременно покончит с собой. А это означает газетный вой, запросы в Думе. И его, начальника, уберут, а может быть, и вовсе выгонят — слишком компрометирующе будет звучать его фамилия. А не выпороть — губернатор по дурости устроит разнос и добьется, чтобы неподчинившегося чиновника изгнали без мундира и пенсии.

Так и так — на карьере надо поставить крест. Зимберг пришел в бешенство. Уже закрывая дверь камеры, он просунул в щель голову и дрожащим от ярости голосом прошипел:

— Уж не знаю, твой ли отец служил у генерала, но что твой умер, не перенеся позора из-за сына, мне сообщили еще несколько месяцев назад.

Дверь захлопнулась.

Умер. Умер папа! Борис неподвижно сидел на кровати, а Письменчук в бессильной ярости схватился за дверную решетку.

Умер. Что же, теперь и он тоже умрет. Если бы был тот спасительный свет, где встречаются усопшие души, его душа могла бы сказать папиной — я ненадолго тебя пережил. Впрочем, его душе уготован ад — ведь он умрет, покончив с собой, не дожидаясь розог. А самоубийц в рай не пускают.

Что со мной творится? Откуда в такой страшный момент у меня появляются какие-то нелепые, просто бредовые мысли?

Но «бредовые» продолжали роиться, и Жадановский ничего поделать с ними не мог. Только потом, через несколько дней, он сообразил, что те нелепые мысли были попросту самозащитой, к которой при-

бегнул его мозг, чтобы не свихнуться. Но каков мерзавец Зимберг — он знал о смерти отца несколько месяцев и молчал. А как поймет мое молчание мама, Зина? Ведь они представить себе не могут, что я находился в неведении относительно папы.

Эта мысль отдалась такой болью, что Борис застонал.

— Борис Петрович, что с вами? Да не верьте вы Зимбергу, врет он все, врет.

Здоровенный матрос готов был расплакаться.

А, может быть, действительно — соврал в отместку? Эта мысль, как луч надежды. Но нет. Зимберг слишком пропитан немецким бюргерским филистерством и пунктуальностью. Раз по инструкции каторжник был лишен права переписки, то хоть гори Москва, расколись пополам земной шар — знать об этом узнику не положено.

Жадановский заметался.

— Боцман, есть у нас хоть какой-либо листок бумаги? Нужно сегодня же связаться с Семеном.

Письменчук молча полез куда-то за парашу. В его руках оказался маленький бумажный четырехугольник. Но он рос на глазах, по мере того как матрос разглаживал складки.

— И карандаш приберег, Борис Петрович.

— Спасибо, спасибо тебе, дорогой. Но будь другом до конца, прилепись спиной к глазку. Спешить надо — нам еще остается кое-что сделать, пока не объявят об экзекуции.

Письменчук понял намек Жадановского. Он встал спиной к двери, и уже не спускал с Бориса широко раскрытых глаз, и не таил слезу. Он знал — Борис допишет письмо и... покончит с собой. Ведь сколько раз он говорил, что не позволит унизить свое человеческое достоинство.

«Покончит с собой?» А он, Письменчук? Он тоже не задержится в тюрьме. Борис Петрович и не знает, что в последние месяцы матрос чувствует, как каждый день болезнь забирает у него не только силы, но и самою жизнь. Ее осталось на донышке и не стоит умирать в околотке, в слабости.

Борис, забыв обо всем, писал:

«Дорогая, милая мама! Как тяжело говорить о такой ужасной вещи. Как ни трудно надеяться здесь, в тюрьме, но все-таки надеяться можно, и до сих пор я всегда мечтал увидеть тебя, папу, сестер, Мишу, знакомых. И вот теперь папы нет, и нет никакой возможности надеяться увидеть его. Писала мне Зина, что в последнее время папа довольно сильно изменился, стал еще добрее, сердечнее. У меня, конечно, осталось о нем то представление, какое оставил он во мне, главным образом в бытность мою дома... Папа всегда был добродушным, сердечным человеком, и как он всегда любил всех нас! В нем была всегда некоторая внешняя, напускная строгость. Папа всегда был защитником старины с ее обычаями, с ее внешностью. Помню, как подсмеивались

все мы, от мала до велика, над его стараниями поддержать религиозность в семье. Помню до сих пор знаменитый кулеш в пятницу и субботу великого поста. Уже в последнее время пришлось, вероятно, и папе отступить со своих старых позиций под напором новых освободительных идей. Этот кулеш в последние годы был, вероятно, достоянием истории. Мы были в последнее время представителями совершенно противоположных начал. Но, господи, как, несмотря ни на что, я любил папу, как мечтал увидеть его, как мечтал убедить его в преимуществах моего миропонимания. Я знал, что это одни мечты, что для старика именно с таким характером, как у папы, радикальная перемена взглядов невозможна. Но разве не все равно? Я мечтал, и больше ничего.

Когда я теперь думаю о папе, мне особенно становится ясно, несмотря на всю свою видимую приверженность старине, папа был, по существу, передовым человеком. Сколько в нем было гуманности и истинной разумности в его отношениях к детям. Если сравниваешь теперь положение детей в нашей семье и в других знакомых семьях, то, пожалуй, можно сказать, что нигде дети не пользовались большей свободой, чем у нас. Папа любил иногда поворчать на нарушителей обычая, но свобода наша от этого не страдала. Поскольку я знал его отношения с подчиненными, он был всегда гуманным, непридирчивым, входящим в положение и, во всяком случае, не допускавшим грубости начальником. И вот папы нет. Как тяжело думать об этом мне, но вам всем, а в особенности, мама, тебе, это должно быть еще тяжелей».

В двери кабинета Зимберга прошел тюремный врач. Он зло хлопнул дверью, да так сильно, что она вновь приоткрылась и из кабинета донеслось:

— Как угодно, господин Зимберг, но я не понимаю, почему этому Жадановскому должны быть сделаны послабления. Его высокопревосходительство распорядился дать 25 розог... Вы говорите, не вынесет. Я тоже так думаю, даже уверен, но...

— Он покончит с собой, прежде чем мы зададим ему порку. А это, батенька, означает, что взвоет вся левая печать. Вас, как врача, тут же прогонят. Вы освидетельствовали арестанта, вы признали, что он не выдержит порки, и вы же дали на нее согласие.

Меня тоже уволят только потому, что этого потребует думская оппозиция. С ней, в этом сумасшедшем году, из-за меня ссориться не станут...

Зимберг аккуратно вставил в «Дисциплинарный листок» собственную запись врача:

«Вследствие легочной чахотки не может быть подвергнут телесному наказанию».

Поперек этого заключения начальник тюрьмы размашисто написал:

«В темный карцер на один месяц. Зимберг».

Как только эта персона выйдет из карцера — если выйдет, конечно, а не вынесут его ногами вперед, надо непременно от него избавиться. К черту, пусть с ним возятся другие, а с него, Зимберга, хватит.

Взвизгнула дверь. Липкая, промозглая тьма. Холодно. Холод сразу, как старый знакомец, схватил за руки, фамильярно ущипнул за нос. А потом уже без шуток заключил в ледяные объятия.

Борис долго сидит в каторжных тюрьмах и поэтому знает — раз карцер, значит, порка отменяется. И самоубийство поэтому тоже отменяется. Порку, смерть заменили мучительной пыткой. Тридцать дней в ледяном мешке, в беспросветной могиле. Два фунта пахнущего овчинами и прелью черного хлеба в день и через трое суток на четвертые горячая баланда... С чахоткой он вряд ли это выдержит...

Ощупью Борис нашел грубые нары. Неструганые доски — и больше ничего. А ведь у него отобрали шапку, теплое белье.

Через час он перестал ощущать холод. Но мелкий, противный озноб по-прежнему сотрясал тело. И вспомнилась придорожная канава, свист ветра, снежная круговерть и причудливые, но такие нежные, прямо-таки эфирные образы и музыка... Она была неземной. Озноб знал только одну мелодию — барабанную зубную дробь.

Мучительно хотелось есть. И это было удивительнее всего. Ведь он же голодал 17 суток? Голодал! Впрочем, первые два или три дня той голодовки тоже хотелось есть и если в голодном полузабытьи его и посещали образы, то эфирными их никак не назовешь. Они были очень земными — как гадюки вились колбасы, хрюкали жирные окорока, прозрачными облаками витали ломтики сыра.

Борис свернулся калачиком на нарах, накинул на себя бушлат, подложил руку под голову. Теперь главное — прогнать прочь видения и забыться, хоть на несколько часов уйти из этого темного кошмара.

Он проснулся, совершенно окоченев. Не чувствуя ни рук, ни ног, проснулся только потому, что на потолке расплылась красноватой каплей электрическая лампочка и открылась форточка в двери.

Хлеб! Плохо выпеченный, плохо пахнущий, но все равно хлеб!

Наверное, он бы проглотил эти два фунта клейкой мякоти, даже не почувствовав вкуса, но в это время красная капля на потолке потускнела, расплылась, и в еще более сгустившейся тьме Борис явственно увидел себя маленьким мальчиком, стоящим под раскидистой липой. За столом обедает крестьянская семья, у который инженер-капитан Жадановский снял на лето половину дома. Борис тогда не мог понять, почему эти странные люди за столом едят деревянными ложками, смешно подставляют под них кусочки хлеба. Дохлебав свое

варево, аккуратно сметают в ладошку хлебные крошки и отправляют их в рот. Он считал тогда, что это злые люди, ведь хлебные крошки так любят воробьи. Теперь он знает цену крошкам хлеба.

Трое суток, как годы. В ночь на четвертые под потолком расплылась все та же красная капля и уже больше не гасла.

И вместо кружки холодной воды, кружка кипятку. Хотелось тут же ее выпить — быть может, наконец, уймется противный озноб. Но кружка горячая, в ней пока горячая вода. И Борис грел кружкой руки, грудь, пытался поднести к пяткам, но в кандалах он только расплескивал драгоценную влагу. Потом выпил... и вспотел. Это было так неожиданно, что Борис рассмеялся.

Тут же открылась форточка и в нее влезли надзирательские усы.

Тюремный страж немало повидал на своем веку узников, которые вот так, в одночасье, вдруг начинали смеяться. И плакали, когда зажигался свет. А в темноте говорили, говорили, говорили,— о чем только они не говорили! Иной раз заслушаешься. А ведь по инструкции нужно сломя голову бежать в околоток, докладывать врачу...

Уж больно складно у некоторых все выходило... Врач-то подождет. Известное дело — рехнулся. А для сторожа эти, которые свихнулись, самые примечательные. Надзиратель прислушался. Нет, как будто заснул.

Четвертые сутки —лукуллов пир! Завтрак с кипятком. Обед с горячим супом. И на ужин кипяток.

И целый день мерцает электрическая сосулька.

Оказывается, карцер только без света необитаем. А при свете он антология тюремной поэзии.

От стены к стене, как страница за страницей, узники Шлиссельбурга писали:

Здесь толстые стены тюрьмы,
Здесь холод, и голод, и мрак...
Но с гордыми душами мы,
Свобода наш чудный маяк.

* * *

Остров каменный, остров угрюмый,
Остров пыток и муки людской.
Стал священной могилой ты многих,
Павших ради идеи святой.
    Мы пришли в твои страшные тюрьмы,
    Чтобы новую жертву отдать,
    Чтобы юною жизнью своею
    Ненасытную пасть напитать.
Еще многих он, знаю, погубит,
Еще много он лет простоит,
Но великое дело свершится
И твердыню его сокрушит.

В гневе встанут народные волны,
Революции гром загремит,
И над островом слез и мучений
Гимн свободы святой прозвучит.

Да! Как с точки зрения теории стихосложения — он не берется судить, но мысли и чувства хороши.

Месяц прошел.

Когда открылась дверь и в глаза ударил поток света, Борис почувствовал, что теряет сознание. Невероятным усилием воли он удержался на ногах, да и то только потому, что закрыл глаза и привычная темнота вернула ему равновесие.

Ночь на 17 июля 1912 года в Шлиссельбургской тюрьме напоминала ночь перед решающей битвой, а тюремная канцелярия — штаб воинского соединения. Ни на минуту не стихал дробный стук пишущих машинок. Канцеляристы скрипели перьями под наблюдением «начальника штаба» старшего помощника. А Зимберг чувствовал себя главнокомандующим, уже знающим, что он выиграл генеральное сражение.

Да, он выиграл. Хотя еще вчера думал, что проиграл. Вчера в Шлиссельбурге в карцерах оказались почти все политические и значительная часть уголовников. «Буза» была всетюремной.

Зимберг в отчаянии взмолился— «уберите зачинщиков».

И Главное тюремное управление смилостивилось.

«Зачинщики» изгонялись из «образцовой, Шлиссельбургской».

Зимберг никому не доверил составление характеристики на своего «любимца» — Бориса Жадановского. Сам напишет ему такое, что в Орловском централе, самом страшном, самом «образцовом» — этому смутьяну, этому гордецу... Зимберг, откинувшись на спинку кресла, тихонько захихикал и потер от удовольствия руки.

Секретно
Срочно.

Начальнику С.-Петербургской конвойной команды.

По распоряжению Главного Тюремного Управления от 17 сего июля за № 24122 из Шлиссельбургской каторжной тюрьмы подлежат переводу с этапом 18 сего июля в С.-Петербург для дальнейшего отправления в Орел следующие арестанты: 1) Элья Бернштейн, 2) Николай Билибин, 3) Иван Бурков, 4) Борис Жадановский, 5) Антон Конуп... 12) Захарий Циома...

Поименованные ссыльно-каторжные имеют быть отправлены из С.-Петербургской пересыльной тюрьмы, а может быть, и без завоза в тюрьму 18 же июля в Орловскую каторжную тюрьму для дальнейшего содержания.

Сообщая об изложенном и имея в виду, что переводимые арестанты и являются главными участниками нарушения нормальной жизни в Шлиссельбургской каторжной тюрьме, Тюремная инспекция просит Ваше Высокоблагородие сделать надлежащее распоряжение о предупреждении конвоя, который будет сопровождать упомянутых арестантов от гор. Шлиссельбурга до гор. Орла, о необходимости иметь за ними особо бдительный надзор в целях воспрепятствования им совершить побег в пути следования; в особенности надзор должен быть усилен за арестантом Борисом Жадановским и Захарией Циомой, осужденными в каторжные работы без срока и склонными к производству беспорядков и нарушению тюремного режима.

* * *

А в почтовый ящик квартиры вдовы инженер-подполковника Жадановского упало письмо.

Борис по пути в Орел написал родным:

«Нас 14 человек, публика боевая, настроение повышенное, чувствуется победа. С какою радостью и вместе грустью слежу я с пароходика за исчезающим «проклятым» Шлиссельбургом. Сколько чудных людей узнал я там, сколько там осталось! Был роскошный солнечный день, и эта прогулка по Неве была невероятным контрастом с нашим темным сидением последних 10 дней.

Мы страшно спешили — с пристани на пристань, на вокзал. И вот мы уже летим к Москве в вагоне. Из автомобиля все-таки мелькнули мне и Невский, и Литейный.

Скоро мы узнали, что все в Орел. Это было мрачной тучкой. Но все старались уверить самих себя, что долго такие ужасы не могут длиться, и теперь там, вероятно, очень хорошо.

Этап наш был экстренный, и потому мы ехали одни и останавливались только на один день в Москве. Тут пошла в ход сигнализация. На вопрос «Каково в Орле?» — последовал ответ: «Беда». В дальнейшем на все вопросы нам повторяли это слово... Сомневаться было нельзя — нас гнали на рогатину».

ГЛАВА XIX

Орел — название, конечно, гордое. Тем паче, что и герб Российской империи тоже увенчан орлом... Правда, тот, что на гербе — уродец о двух головах. Ну, а город с названием Орел похож на побитое молью старое чучело. Новый здесь только Орловский каторжный централ.

...Борис согнулся под тяжестью мешка, ему трудно поднять голову,

чтобы посмотреть на улицы города. Да и не вызывают орловские улицы ни любопытства, ни интереса. Их партию гонят средь бела дня, и жители Орла не останавливаются, не провожают кандальников тревожными или соболезнующими взглядами. Привыкли, насмотрелись, да и наслышаны об ужасах орловского застенка.

Борис старается не думать о том, что произойдет через полчаса, час — сразу, как только за ними закроются ворота тюрьмы. Все 14 каторжан из Шлиссельбурга решили не подчиняться режиму. Их хотят устрашить? Потому и спровадили в Орел. Что же, они готовы к борьбе.

Борис плохо помнил, что было потом. Баня, дикие выкрики надзирателей. Но побоев поначалу не было. Каторжники держались вместе, угрожающе поднимали цепи. В бане чуть что, недвусмысленно хватались за шайки.

И тюремщики отступили. Но Борис не радовался. Он знал, что как только их партию разъединят, эти палачи возьмут свое. У них буквально чешутся руки.

После жаркой бани в коридоре тюрьмы было холодно. Откуда-то сквозило, и распаренные арестанты мерзли в своих потрепанных куртках.

Их выстроили и приказали ждать.

Тихо переговариваются тюремщики, поглядывая на дверь канцелярии. Тоже ждут. И вот открылась дверь. Борис не разглядел, кто из нее вышел. Но сразу понял — Синайский, начальник тюрьмы. Это имя знали не только каторжники Орловского централа, оно было известно всем арестантам всех российских тюрем.

Синайский за годы своей тюремной карьеры разучился говорить связно. Он привык командовать. Менее всего его заботило красноречие.

Что бы он ни выкрикивал — смысл его слов был один: «здесь особая тюрьма», «здесь я бог», «запорю», «сгною», «растопчу».

Борис не слушал. Он весь собрался в предчувствии неизбежной схватки. Вот и пришла пора проверить свою решимость, свою готовность умереть, но не позволить унизить человеческое достоинство.

Из всей партии в коридоре остались Жадановский и Шмидт.

Синайский подошел к Борису.

Шмидт сжался. Он знал, что сейчас последует.

— Эй ты, как твоя фамилия?

— Я попрошу вас говорить мне «вы».

Шмидт зажмурился, но не зажал уши и услышал хруст выбитых зубов. Открыл глаза и в ужасе отшатнулся. Жадановский выплюнул с кровью сломанные зубы. И вдруг, подняв закованные руки, бросился на Синайского. Начальник тюрьмы отскочил назад каким-то нелепым прыжком и присел. Конвойный солдат обрушил на спину Бориса приклад. Подбежавший жандарм ударил лежащего на полу узника эфесом шашки.

Борис не кричал, не стонал. Он потерял сознание и пришел в себя на асфальтовом полу темного карцера.

Первая его мысль была — покончить с собой. И легче всего это сделать, начав с этой же минуты голодовку.

Пять дней к нему в карцер заходили надзиратели, помощник начальника и даже прокурор, инспектирующий в это время тюрьму. Он слышал, как по одному избивали его товарищей — шлиссельбуржцев. До него доносились с тюремного двора команды надзирателей, прогуливавших заключенных строем. Борис жил, как в тумане. Ему казалось, что это не он лежит на холодном полу карцера. Просто он со стороны наблюдает за мучениями человека, очень похожего на него. А порой он просто терял сознание.

Голода он не чувствовал, равно как и боли. Часто терял сознание. И однажды пришел в себя на полу тюремной больницы. Дневной свет нестерпимо резал глаза. Борис зажмурился. Потом открыл глаза и увидел рядом два сапога. Надзиратель стоял в раздумье: ударить или не ударить. Потом решил, что лучше позабавиться, глядя на мучения этого полуживого человека.

— Лезь на кровать!..

Борис встал на ноги. Но голова закружилась и он упал, больно ударившись о железную спинку койки.

Так повторялось несколько раз.

В больнице начались кошмары и галлюцинации. Их вызывало искусственное кормление. Оно длилось двенадцать дней, страшных дней.

Жадановский таял и таял на глазах. Товарищи, которых тоже приволакивали в больницу, чтобы сделать им искусственное кормление, решили, что Борис протянет еще день, два — не более, того же мнения был и врач.

Начальство всполошилось. Если станет известно, что в результате голодовки и несмотря на искусственное кормление умер политический, наверняка левые в Думе сделают разоблачающий запрос. Поднимут вой газеты. А время такое, что малейший повод приводит к новым стачкам и забастовкам рабочих.

Пролетарская Россия бастовала уже с весны 1912 года. И количество забастовок росло день ото дня. Число их уже стало большим, чем в 1905 году. В России назревала новая революционная ситуация. И «синайские» немного присмирели.

Борис прекратил голодовку на 17-й день. Он остался в одиночестве, а в одиночку голодовка не имела смысла.

Из Орловского централа убрали Синайского, и тюрьма возликовала. Даже Борис решил, что наступают лучшие времена. Но новый начальник Колченко не отказался от старых порядков. И все же возврата к «синайщине» уже быть не могло. Заключенные-орловцы, видя пример Бориса, медленно, но неуклонно стряхивали с себя оцепенение,



забитость. Они теперь протестовали по любому поводу. И ни карцер, ни лишение прогулок, передач, книг не были им страшны.

Борис очень страдал от отсутствия книг, писем. Но не шел ни на какие компромиссы. Орловцы не называли его иначе, как «Борис Петрович». И он боролся.

Новый начальник тюрьмы сразу же почувствовал, кто является коноводом.

Шли годы. Уже более семи лет томится в каторжных одиночках Борис. Состарилась Ольга Николаевна. Наверное, она бы в конце концов привыкла к мысли, что старший сын потерян для нее навсегда, что только редкие, редкие свидания — как солнечный луч сквозь штормовые тучи мимолетно вспыхнет, но не согреет. Но у Бориса было столько веры в неизбежность скорой победы революции, что не только сам он жил этим, но и вселял уверенность в мать, в товарищей.

Ольга Николаевна ни на день, ни на час не прекращала своих хлопот, чтобы добиться для сына возможно сносных, если такое слово применимо в отношении каторжных режимов царских тюрем, условий, в которых бы Борис дожил, дождался бы революции.

Она обивала пороги министерства юстиции, писала прошения, нашла депутатов IV Государственной думы, которые эти прошения поддержали. Ее не пугали поездки в Орел, хотя ей так и не удалось добиться от Синайского разрешения на свидание с сыном.

Когда Ольга Николаевна в очередной раз приехала в Орел, в кабинете начальника тюрьмы ее любезно встретил Колченко. Усадил в кресло, предложил чаю.

Но на все просьбы дать свидание разводил руками.

— Ваш сын, мадам, наверное, просто не желает вас видеть. Нет, нет, я не шучу, какие уж тут могут быть шутки. Вы мне не верите. Прекрасно, я дам вам возможность самой убедиться в правоте моих слов. Вот вам бумага, перо, прошу вас, напишите своему сыну письмо. Попросите его подчиниться тюремному режиму. Если он даст честное слово, то я в нарушение всех инструкций тут же предоставлю вам свидание. А пока, неугодно ли вам заглянуть в дисциплинарный журнал вашего сына?

Ольга Николаевна читала, крепилась и все же разрыдалась.

Не успели ее сына перевести из Шлиссельбурга в Орловский каторжный централ, вдогонку идет отношение начальника бывшей «государевой тюрьмы».

«От 20 июля 1912 за № 6119...» о том, что Жадановский «...во время утренней поверки заявил протест против того, что его товарищей пороли...»

«За это «преступление» не забудьте в Орле предъявить должок

бессрочнику, поместите его в темный карцер на хлеб и воду, сроком в 21 день».

С этого началось, а потом пошло и пошло!

21 июля 1912 г. «По прибытии с этапа в отделение (Орловский каторжный централ официально именовался «Орловское арестантское отделение и Временная каторжная тюрьма») держал себя вызывающе, предъявляя в числе других арестантов незаконные требования... учинял в одиночной камере беспорядок (стук в дверь и крики).

За это подвергнуть Жадановского «темному карцеру на 7 суток и светлому на 7 суток».

Но избитый до полусмерти Жадановский помещен в тюремную больницу, потому следует приписка, наказание исполнить «после перевода из больницы в одиночный корпус».

Мать читает листки дисциплинарных взысканий, а слезы застилают глаза.

«1912 год, сентябрь 26. За упорное нежелание, начиная с самого дня прибытия в отделение, подчиняться установленным тюремным правилам, требует обращения на «вы» и не отвечает на приветствие установленным порядком...

Лишить переписки, свиданий, чтения книг и выписки продуктов на 1 месяц, то есть по 26 октября 1912 года».

И далее — слово в слово, с тупым и жестоким автоматизмом, за подписью начальника тюрьмы Синайского идут записи «дисциплинарных взысканий» Жадановскому: «Лишить переписки, свиданий, чтения книг и т. д.» — меняются лишь сроки, на которые подвергается наказаниям узник.

«С 27 октября по 27 ноября 1912 года», «с 27 ноября до 27 декабря 1912 года».

1912 год закончился, начался год 1913, и месяц за месяцем — январь, февраль, март — наказание становится постоянным. Требуешь, чтобы к тебе обращались на «вы», не хочешь приветствовать тюремщиков — получай за это — ни писем, ни свиданий, ни книг... Мало того: в апреле 14 суток карцера, в сентябре 14 суток карцера.

«Находясь в камере одиночного корпуса, 5 июля с. г. шумел и бил парашей с целью произвести беспорядок в тюрьме»,— и снова, и снова — карцер, лишение выписки продуктов, одиночка, лишение свиданий, переписки и чтения книг, кроме священного евангелия.

Мучители, проклятые мучители, когда же будет всему этому конец. Когда же ее сын вырвется из кровавого застенка?

Борис был страшно удивлен, когда надзиратель сунул ему клочок бумаги. Всего несколько строк, но они написаны маминой рукой. Прочел раз, еще раз. Потом понял. Ну, конечно же, мама написала большое подробное письмо и так, между прочим, просит его подчиниться ненавистному режиму, а взамен получить свидание.

Свидание! Увидеть маму. Поговорить с ней. Услышать родной

голос. Это было огромным искушением. Ведь они не виделись столько лет. И, быть может, он ее вообще больше никогда не увидит. Мама уже очень и очень старенькая. И она перенесла уйму горя.

И все же нет. Подлецы, мерзавцы, они передали из маминого письма только эти строки о подчинении.

Ладно, мама получит, наконец, и от него письмо. И его не прочтут тюремные цензоры. Только вчера он узнал, что Сеньку-Хлюста тоже перевели в Орел «для исправления». Но этот карманник, эта забубенная душа уже успел связаться как-то с волей. Цена старая. По целковому за письмо. Завтра же на прогулке он отдаст его Хлюсту.

Но тут Борис вспомнил, что писать ему не на чем и нечем.

Что же делать? Что делать? Борис машинально повертел в руках мамино письмо. Эврика! Оборотная сторона почти чистая. И если писать экономно, то можно о многом рассказать. А мама увидит, что сделали эти негодяи с ее письмом.

Теперь весь вопрос, как раздобыть карандаш. Конечно, можно завтра попросить Хлюста достать. Этот добудет. Но тогда письмо не застанет, наверное, маму в Орле.

Борис прислушался. В коридоре тихо. Подошел к стене и застучал: «Мне нужен карандаш. Если есть, подумайте, как его передать сегодня же».

За стеной сидел старый шлиссельбуржец — Лукс. Его, кажется, не лишили права переписки.

Ответ пришел только через полчаса: «Карандаш засуну за хлястик надзирателя, раздающего ужин...»

Борис рассмеялся и отстучал:

«А если это будет Кротов?»

Лукс ничего не ответил, но он, конечно, понял. Кротов до того тощ, мундир на нем, как на метле, ни один карандаш за хлястиком не удержится. Хорошо бы сегодня раздавал Калафуто — этот жирен, на нем мундир в обтяжечку.

Борис едва дождался ужина. Ему показалось даже, что он еще никогда не был так голоден.

Калафуто, как обычно, приветствовал узника отборнейшей бранью. Так он поступал в каждой камере. Но всегда приберегал для Бориса самые «изысканные», самые грязные эпитеты.

И Борис никогда не оставался в долгу. Нет, он не ругался. Наоборот, учтивейше осведомлялся о состоянии умственных способностей «старшего». Сокрушенно качал головой, отсчитывал «максимальный срок», который еще имеется в распоряжении надзирателя, прежде чем его упрячут в сумасшедший дом.

Калафуто готов был пустить в ход кулаки, но...

На сей раз «старший» был озадачен. Что случилось с Жадановским, не язвит, не издевается. Не моргнув глазом, выслушал всю порцию ругательств. И почему-то встает на цыпочки, пытается заглянуть

через плечо надзирателя в дверь. Вот опять, сделал даже большие глаза.

Калафуто оглянулся. Из-за тучности он не мог повернуть шею, пришлось развернуться на 180 градусов.

Этого мгновения Борису было достаточно, чтобы увидеть и выхватить из-за хлястика мундира надзирателя огрызок карандаша.

«Толстокожий, он и не почувствовал»,— подумал Борис.

Но старший почувствовал. Спешно обернулся к Борису. Но тот был невозмутим.

— Может быть, вы все-таки дадите мне ужин, право, именно сегодня я очень голоден.

Но Калафуто не обратил внимания на слова узника. Если несколько минут тому назад, в камере Лукса, он решил, что ему показалось, будто Лукс дотронулся до его спины, когда он нагнулся к ведру за кипятком, то теперь он уверен, что и Жадановский притрагивался к нему.

Калафуто ни слова не говоря начал расстегивать мундир. Снял его, осмотрел внимательно спину, но ничего там не нашел.

«Сейчас обыщет, а карандаш у меня в руке».

Борис схватил миску. Слава богу, каша, спасительная каша. Пока старший, кряхтя, напяливал обратно мундир, Борис сунул карандаш в кашу.

— Стой, а ну протяни руки!

Борис поставил миску.

— Не протяни, а протяните...

Но Калафуто уже схватил Бориса за цепь наручников, разжал кулаки и ничего не увидел.

— Ну вот, говорил же, что у вас начались галлюцинации. Это первый признак белой горячки. Нельзя же так много пить. А то ненароком и чертики вам на нос начнут садиться.

Надзиратель выскочил из камеры, хлопнул дверью и даже забыл ее запереть. Борису очень хотелось прогуляться по коридору. Но за это могли посадить в карцер, сегодня он не мог рисковать.

Целый вечер украдкой писал письмо.

«Милая, родная моя мамочка! Итак, ты, бедная, приезжала в этот проклятый Орел и беседовала с этим отвратительным человеком. Бедная мама! Меня об этом уведомили, конечно, дали кусок твоего письма. Ну я должен на этом кусочке изложить вам все, мои дорогие, о себе. Здоровье у меня не так плохо, как, мамочка, думаешь. В общем, могу, не кривя душой, сказать, что не хуже, чем в Шлиссельбурге, а условия здесь действительно ужасны, уж ни в какие сравнения с Шлиссельбургом не пойдут... Условия страшно тяжелы. Я не стану этого скрывать. Этот новый начальник весьма большой негодяй... Духом я так же бодр, как всегда, и даже теперь моложе, чем когда бы то ни было. Ха, как это выдумали они лишить переписки!

Ужасно тяжело это лишение. Я не говорю о моем поведении, я уверен, что все вы прекрасно понимаете: не могу же я подчиняться правилам, направленным исключительно к унижению человеческого достоинства. Так унижать себя я никогда не позволю и об этом у меня не может быть ни сомнений, ни вопросов. Ты, мама, писала в письме против того, но я уверен, что ты прекрасно понимаешь в этом меня, как я понимаю тебя, моя хорошая. Итак, видно, вопрос относительно перевода меня в какую-либо другую тюрьму можно считать окончательно лопнувшим. Ишь ведь, выбирали наихудшую и из нее не выпустят».

Григорий Иванович Петровский — большевик, депутат IV Государственной думы, готовился к очередной поездке в Поронино, к Владимиру Ильичу Ленину. Не часто выпадали эти поездки, не долго он «гостил» у Владимира Ильича. И на этот раз ему предстоит обсудить с Ильичем тактику, которой должна придерживаться небольшая группа депутатов-большевиков в Думе.

Запросы правительству — это острое оружие, способное разоблачать мерзости царизма. Хочешь не хочешь, а на запрос нужно отвечать. Правительственные и буржуазные газеты ни запросов, ни тем более ответов не публикуют. А вот рабочая, большевистская «Правда» напечатает, да еще с комментариями.

Если бы не завтрашний отъезд, то Петровский обязательно подал бы запрос министру внутренних дел относительно режима, царящего в каторжных тюрьмах.

Только вчера он встретился с Ольгой Николаевной Жадановской. Эта пожилая женщина, вдова, просто потрясла его своим рассказом о судьбе сына — Бориса. Имя это хорошо известно, и Петровский всегда считал, что саперный подпоручик уже давно член большевистской партии. Оказывается, нет, не успел оформиться. Но он большевик. Только большевик мог вести себя так на каторге, особенно в этом страшном Орловском централе.

Оказывается, за 18 месяцев пребывания в Орловской тюрьме Борис Петрович всего один раз воспользовался прогулкой. А ведь он болен туберкулезом. Отказывался от прогулок в знак протеста против зверств в каторжном централе. Это он «уговорил» заключенных на каждый случай проявления жестокости и беззакония тюремщиков стучать в двери, кричать.

И ни карцер, ни беспрерывная брань и зуботычины надзирателей — ничто не смогло укротить Бориса Жадановского. «Правда» должна поместить о его борьбе большую статью.

В Орле пороли, в Орле убивали кавказцев холодным карцером, целыми партиями отправляли в покойницкую после всего одной недели «темной».

Но Жадановский был несгибаем. Его дух закалился в этой борьбе. Да, такой человек должен быть в партии большевиков.

Петровский собрал подписи депутатов большевиков, да и не только большевиков под требованием — немедленно перевести Жадановского из Орла.

Ольга Николаевна плакала, читая эту бумагу, у нее не хватило сил дочитать до конца маленькую записочку, прибывшую из Сибири.

«Так как положение Бориса скверное и улучшения не видать, он просит о замене каторги на тюрьму, так как туберкулезным заменяют по просьбе на 25 лет тюрьмы. Он же сам не может подать прошения по этому поводу. Ему мешает орловская администрация, так как он непокоримый. Сделайте все, что можете, иначе он погиб!»

Нет, он не просил писать это письмо. Он не подавал никаких прошений. Он оставался непокоренным и непокоримым.

ГЛАВА XX

Когда Жадановскому стало известно о переводе в Херсонскую тюрьму, он, конечно, не испытывал сожаления по поводу предстоящего расставания с Орловским централом. Но про Херсон поговаривали разное, был даже слух, что по части избиения херсонская тюрьма может дать очки вперед всем российским каторжным централам.

Но одно Борис знал твердо: если его переводят — это его победа, признание его решимости, его борьбы. Что и говорить — такое радовало, придавало новые силы.

А то, что эти силы понадобятся ему буквально уже завтра, в этом Борис не сомневался. Завтра — этап. Орловский конвой отличается своей разнузданностью. Через несколько дней новая тюрьма. Новая для Бориса, но и вечный каторжник Жадановский тоже «новый» для херсонских тюремщиков. И снова нужно отстаивать свои права, снова будет и карцер, и побои, и лишение прогулок, переписки, передач...

Последняя ночь в Орле.

Нужно выспаться, но сон не идет. Завтра на него навалится целый воз свежих впечатлений. 18 месяцев он не видел улиц, простых человеческих лиц, повседневной городской суеты. Быть может, за партией каторжников увяжется какая-нибудь шальная дворняга и своим заливистым лаем напомнит о детстве, деревне, где каждое лето снималась изба и где по улицам мычали сонные коровы, а вечерами за околицей хороводила полуночная молодежь.

Потом суета вокзала, и обязательное сердцебиение...

И перестук колес, если закрыть глаза, напомчит о первой поездке в Полтаву и первом возвращении домой, на зимние вакации...

Впрочем, нет. Колеса напомнят о том, как они стучали, гремели, просто угрожающе рычали в ту страшную и счастливую ночь, когда он висел за окном вагона, но уже был на воле.

Потом в тюрьмах он только мечтал о побегах, даже убегал ...во сне. Летел на воздушном шаре и сбрасывал на голову Синайского последний балласт — свои кандалы...

Борис тяжело перевернулся с бока на бок. Сел. Цепи, словно их обидели воспоминаниями, звонко напомнили о себе.

Темнота обступила Бориса привычными запахами. Орловский запах.

Борис прислушался. Где-то далеко, далеко, а может быть это просто померещилось, стучат колеса.

Бежать! Завтра, с этапа.

Борис осторожно откинулся на мешок с соломой — тюремную подушку.

Нет, теперь ему уже не выпрыгнуть на полном ходу из окна вагона. И нет у него кандалов на винтиках.

Он встретил утро страшной головной болью, ныло все тело, ломило спину. Но в эту ночь Борис отчетливо понял — почему так мучительно, до галлюцинаций хочется убежать.

Вот однажды настанет день!.. Сколько раз он мысленно переживал его — веселый, солнечный. И кто-то собьет засов с ненавистных дверей. Этот «кто-то» станет его братом. Протянет ему руку, что-то скажет, обнимет.

А мечталось о другом. Не «кто-то», а он — Борис Жадановский будет крушить тюрьмы. Не его — он будет освобождать узников.

Боль напомнила о кандалах. Боль прозвенела позывными Орловского централа.

* * *

Херсонская тюрьма оказалась провинциальным патриархальным застенком.

И помощник начальника — как некая эмблема этой патриархальщины — старенький, седенький, приторно вежливый.

Сам начальник суховат. Объявил о строго одиночном режиме — сопроводительные характеристики на Бориса орловских тюремщиков были прескверными.

Зато порадовал тюремный попик. Не любил Борис длинногривое племя, но этот был умен, поздоровался за руку и сразу же о книгах.

Херсон поначалу стал тюрьмой-передышкой. И кормили здесь отменно — украинскими борщами да кашей на свином сале.

И в довершение всего — свидание с матерью.

Борис не верил в то, что все эти «блага» свалились на него, как начальственные милости. Нет, нет, просто передышка, отвоеванная в Шлиссельбурге и Орле. И он был недалек от истины. Сам начальник тюремного управления уведомил херсонских тюремщиков, что его превосходительству лично известен сей каторжанин. И херсонские

власти поняли, что лучше не притеснять Жадановского — его не сломать, а неприятности же самому генералу будут.

Сколько лет Борис не видел матери. И как он боялся, и хотел этой встречи.

И сумел понять, оценить это счастье только потом...

«...Я боялся, что, встретившись с мамой, я вдруг увижу новое, незнакомое мне лицо. Но нет, с первого же взгляда мне стало ясно, что со мной та же милая, родная мама, с которой я никогда не расстаюсь. Ты, конечно, изменилась, мамочка,— в чем, трудно сказать, но изменилась именно так, как я тебя изменял в моих думах. Кстати, по наружности перемены совсем мало, а ведь я боялся увидать совсем дряхлую старушку! Мои праздники в этом году прошли совсем необыкновенно, ни в коем случае не «по примеру прежних лет». Прежде всего приезд мамы, разговоры, расспрашивания, поцелуи, пожатия... И все это наяву! За мамой целая гурьба милых мне лиц в фотографии. Забавно, что и здесь я нашел лица такими, какими ожидал их увидеть. В камере вдруг меня окружает пасха, торт («наш торт») и всякие иные милые вещи, которых давно уже не видел. А затем пришли книги. Господи! Сколько интересного! Глаза разбегаются, жадность такая, что все сразу хочется захватить. К праздникам же получил множество поздравительных открыток. Можете себе представить, как все это наполнило эти дни, каким солнышком засияло в моей одиночке!»

По царскому манифесту в связи с 300-летием дома Романовых бессрочная каторга была заменена Борису двадцатилетней. «У меня маленькая новость,— сообщал он об этом в письме от 14 мая 1914 года,— вчера мне объявили, что по манифесту 1913 года бессрочная каторга мне заменена на 20 лет. Сейчас же мне сняли наручники, а месяца через два могут снять и кандалы — нужно пробыть в этой тюрьме 6 месяцев. Большая штука эти наручни — без них так и кажется, что взлететь можно. Кандалы значительно тяжелей (по весу), но во много раз легче для ношения, чем наручни. Вот второй день, как я без наручней, а до сих пор еще поднимаешь руку и по привычке тянешь за ней другую».

Соответственно с этим изменением был дополнен «Листок примерного расчета каторжных работ для Бориса Жадановского», предсказывавший ему следующее течение его каторжной жизни:

«При одобрительном поведении:

Может быть окончательно освобожден от каторжных работ и перечислен в ссыльно-поселенцы...

2 января 1924 года!»

Но ведь «одобрительного» как раз и не было. И срок перевода в отряд исправляющихся отодвигался.

Война!

О ней Борис узнал в тот же день, когда заговорили пушки. Узнал от вдребезги пьяных по случаю войны с Германией надзирателей. Их «патриотический порыв» не имел границ. И не удивительно — ведь тюремщиков на войну не брали — у них редкая и дефицитная специальность.

Война!

Для Бориса она была неожиданной. И только потому, что он 7 лет не читал газет.

Война!

А ведь он военный, профессионал. Ему ли не думать о сражениях. Ему ли не переживать битвы. Тем более что в тюрьму теперь официально пропускают телеграммы с фронта.

Он думает о другом. Думает и в неподцензурном письме делится своими сомнениями с сестрой:

«Непосредственных ощущений войны, и особенно такой чудовищной войны, у нас нет. Ведь жизнь наша течет тем же порядком. Не видим мы ни раненых, ни солдат, ни пушек, ни измененной физиономии городов в связи с уходом мужского населения на войну. Ничего этого у нас нет, и как ни напрягаешь воображение, достаточно яркого, непосредственного чувствования войны нет. Но все главные новости войны до нас доходят, и, понятно, мы много мудрствуем глубокомысленнейшим образом о всех возможных последствиях нынешних событий... Есть много суждений и чаяний, ставящих во главу угла не ожидание освобождения из тюрьмы (даже в этом есть много извинительного), а интересы гораздо более широких слоев. Право же, я не поверил бы еще недавно тому, кто сказал бы мне, что есть в тюрьме не то, что сторонники, а просто не слишком озлобленные противники того режима, представителем которого является Синайский, например. И, однако, есть немало людей, которые стараются свою личную ненависть, доведенную здесь до крайней степени господами Синайскими, умерить и рассуждать по возможности объективно...

Надо сказать, что я в настоящее время довольно хорошо осведомлен (сравнительно, конечно) об общем положении. Например, я знаю отношение «Современного Мира», с одной стороны, а с другой — коечто о мнении Петровского и других с.-д. депутатов — ныне ссыльнопоселенцев. Хотелось бы знать, есть ли последние только маленькая группа или же они имеют солидную поддержку среди рабочих? Статья Плеханова в «Современном Мире» отчасти указывает на существование раскола. Ну, как бы там ни было, а в конце концов не пройдут даром эти моря крови!»

Война войной, а тюрьма тюрьмой. Менялись надзиратели. Появился в Херсоне и вновь исчез палач Синайский.

Умерла Зина. Смерть любимой сестры была самым страшным ударом для Бориса.

Крепкие стены централа отгораживали узников от мира. Но Борис знал, верил, что однажды они рухнут.

И вот однажды...

В коридорах шум, топот, смех. Борис проснулся и даже зажал уши. Они привыкли к тишине одиночки.

«Ужели?!» Борис вскочил с койки. Но он так и не успел одеться до конца. Двери настежь! Сколько лиц. Объятия, поцелуи, цветы. Крепкие, ласковые руки. Да что же это такое?

Революция! Свобода! Царя-батюшку с престола турнули...

— Ура! Революция, революция!

— Борис Петрович, дорогой, дай я тебя обниму.

— Жадановский, ты не знаешь, куда сгинули тюремные крысы?

— А ну, даешь их сюда.

— В карцер, в карцер их!

Бориса подхватили, подняли над головами.

—Товарищи, друзья, штаны, штаны дайте надеть.

Дружеский хохот был ему ответом.

— Мы тебя сейчас в генеральские с лампасами.

Март. Море солнца разлилось по необъятному, высокому небу. А рядом Днепр. Родной Днепр. Он стал родным в Киеве. И теперь Борис каждый день или сидит на набережной, или переправляется на многочисленные острова и слушает, слушает журчание воды. А она вышла из берегов, как «вышла из берегов» Россия.

Из Харькова каждый день телеграмма: «Ждем», «с нетерпением ждем», «приезжай скорее».

Но разве же он не спешит? Еще как спешит разгрузить Херсонскую тюрьму.

Министры «временного» издали указ об освобождении только политических. А уголовники остались по ту сторону тюремных стен.

Конечно, среди них много убийц, воров, рецидивистов. Но разве они не помогали «политикам»? Разве не уродливый строй царизма заставил этих людей стать на тропу преступлений?

Борис верит, что при новом, демократическом строе эти люди начнут честно трудиться.

Он не покинет Херсон, пока из тюрьмы не выйдет последний заключенный.

ГЛАВА XXI

Стучат и стучат, выбивают свою дробь колеса. Медленно тянется эта последняя ночь в поезде Херсон — Харьков. Сколько было их — черепашьих ночей за минувшие одиннадцать каторжных лет. Ему сей-

час тридцать. Верно ли это? Нет, ему лишь девятнадцать, каторга не в счет.

Уже месяц, как только приближается ночь, он делает над собой усилие, чтобы лечь, закрыть глаза, уснуть. Он пережил смертный приговор и темные карцеры, побои, издевательства. Он умирал от чахотки — но ни разу не попросил о пощаде. Он воевал со своими мучителями и победил их. Но вторично пережить все это — нет, у него не хватит сил. И даже во сне не хватит.

В его вещевом мешке лежит изъятое им из тюремной канцелярии «Дело» бессрочного каторжанина. На десятках и десятках листов — летопись его тюремных одиссей. Нелестные характеристики, сведения о наказаниях, о пребывании в карцерах. «Дело» пестрит различными почерками — ведь его перемещали из централа в централ, от «чухны» до Украины.

Пусть же этот тюремный кондуит со зловещим клеймом «ХРАНИТЬ ВЕЧНО» навсегда сохранит свидетельство его непокоренности, его борьбы... А он сейчас мечтает только об одном — найти себя сегодня, а не пережевывать прошлое.

Замелькали пригороды большого города. Поезд подходил к Харькову. Вот и перрон. Борис ждал родных в вагоне. Чтобы подняться и пойти к ним навстречу, у него не было сил. Последние недели, невзирая на обострение легочного процесса, он напряженно работал в «Комиссии по разгрузке Херсонского каторжного централа», освобождал заключенных. Он не уехал из Херсона, пока последний каторжанин не покинул тюремные стены. И теперь за пределами тюрьмы в очередной раз его свалила чахотка.

Ну, что там говорить. Были и поцелуи, и слезы, улыбки и снова объятия. Ольга Николаевна и плакала, и смеялась. Потом грузно осела на диван, схватилась за сердце.

— Вот, Боренька, и сбылись твои предсказания. Но как долго, как безнадежно долго тянулись эти одиннадцать лет...

И столько в словах матери было тихой радости и неизъяснимой печали, что Борис с трудом сдерживал слезы.

Он понял — Ольга Николаевна исчерпала жизненные силы в этом ожидании. И первая встреча отняла у нее их остаток.

Но мать всегда мать. И хотя не было сказано ни одного грустного слова, хотя дома их ждал все тот же Василий, но уже не денщик, а просто состарившийся член семьи, и стол источал давно забытые ароматы домашних пирогов, солений, наливок, Ольга Николаевна все время видела, что Боря расстроен, опечален, и она понимала — причиной тому является она сама.

В хлопотах, бесконечных вопросах — ответах, воспоминаниях и бессвязных восклицаниях пролетел этот незабываемый день. А на следующий Борис слег. Нервное напряжение последнего месяца, ликвидация Херсонского централа, встреча с родными — этого было

слишком много для его источенного болезнью организма. А тут еще и недовольство собой. Ему бы отлежаться, немного отдохнуть, окруженному любовью и заботой, но это не в его характере. Бездеятельность, сознание собственного бессилия угнетали его больше, чем темный карцер...

Потянулись недели встреч. Его навещали старые друзья. К нему пришли харьковские большевики. Шибинская чуть ли не просила прощения. А за что?

«Вероятно, Вы меня сейчас вспомните, Борис, потому что при всех Ваших душевных, глубочайших переживаниях (что ими полна Ваша жизнь — я не сомневаюсь) внешних было маловато. Из них одно — я, Шибинская, в Киеве введшая Вас в кружок революционной молодежи и так жаждавшая Вас увидеть на свободе.

Сейчас мне только хочется Вам сказать, что память о Вас в нашей семье была священной. И все эти годы мы душой болели о Вас. Я лично даже терзалась, зачем допустила Вашу молодую жизнь на путь страдания и тяжелой борьбы... Будем счастливы иметь от Вас весточку, видеть Вас...

Сердечно Вас обнимаю, приветствуем Ваше возвращение...»

— Наивные, милые люди. Они думают, что приобщили меня к революционной деятельности, терзались, что их крестник прошел годы испытаний и тяжелой борьбы. Как упрощенно представляют они себе процесс формирования революционного самосознания и действий, согласных с этим отношением к окружающему обществу.

Его долго уговаривали поехать на юг, отдохнуть, а главное, подлечиться в живительном воздухе Крыма.

Борис отнекивался, хотя и прекрасно понимал, что нужно, иначе он станет обузой для семьи и для революции. А она только начинается.

Временное правительство — сборище хозяев и их лакеев, из числа всевозможных подонков. Керенский — эсер, как «заложник революции» в стане буржуазии. Но этот «заложник» в любой момент продаст и революцию, и хозяев, а при случае и Россию.

Жадановский еще не успел разобраться во всем многообразии явлений социальной и политической жизни России, порожденных Февральской революцией. Себя он считал социал-демократом — интернационалистом и был поэтому ярым противником войны, что сразу ставило в ряды его врагов, всяких там Милюковых, Гучковых и всю эту компанию. Ближе всех по воззрениям ему были большевики. Но пока большевики находились в меньшинстве в Советах, образовавшихся по образу и подобию тех, которые Борис помнил еще с 1905 года.

Болезнь уложила в постель — что же, он может читать газеты, которые не успел прочесть в тюрьме.

Для родных наступили хлопотливые дни — добывать для Бори

газеты за 1914, 15, 16 и 17-е годы. Газеты всех толков и направлений. Он глотал по полсотни номеров в день, но никак не мог насытиться. Ведь он не просто читал. Он переживал год за годом ту жизнь, от которой был отгорожен тюремной решеткой.

Прошло еще несколько дней, и Борис понял — надо, пока не поздно, ехать в Крым. Если он промедлит сейчас, то через неделю, две — у него не останется сил даже на дорогу.

Ялта. Ее издавна именуют «жемчужиной Крыма». После мрачной Ладоги, после Орла и даже Херсона Черное море и амфитеатр горных склонов Яйлы кажутся каким-то волшебством. Да, древние греки умели выбирать для своих колоний живописнейшие места.

Из окон дачи доктора Васильева — «Гнездышка» видно далеко-далеко в море. И кто назвал его Черным — оно ведь синее-синее. Синее быть не может.

Борис часами, не отрываясь, смотрел на море. Потом оглядывал город, раскинувшийся внизу, у него под ногами. Ялта, Галлита, Эталита — так называли Ялту древние греки и генуэзцы — город благоустроенный, канализация, водопровод, электрическое освещение. Но главное, конечно, море, сухой ровный климат — лежи, набирайся сил.

Борис был только один из многих сотен политкаторжан, прибывших в Ялту, чтобы отдохнуть и подлечиться. Хочется познакомиться со всеми, хочется работать, но болезнь не спешит выпустить из своих лап жертву. Играет, как кошка с мышкой: то Борису казалось — вот и все позади. Он вставал, гулял, а на следующий день опять поднималась температура. И все же чудесное южное солнце, целительный воздух Крыма делали свое дело. Борис поднялся с постели и даже сделал первую вылазку в город.

В Ялте, как и по всей России после Февральской революции, существовали две власти. Наряду с городской думой еще в начале марта 1917 года был создан Совет рабочих и солдатских депутатов. В Совете засели меньшевики и эсеры. Была здесь и буржуазная националистическая татарская партия «Мили-фирка». Националисты провозгласили «Крым — для крымцев». У них имелись свои воинские формирования — конные эскадроны. Ялта кишмя кишела офицерами, оставшимися без дел после того, как их воинские части проголосовали ногами против продолжения войны с кайзеровской Германией. Националисты и бывшие царские офицеры опасались Советов, боялись солдат и татарской голытьбы, и на «всякий случай» создали в Симферополе «Крымский штаб» — центр контрреволюции.

Между тем события в России заставили Бориса и многих близких

7 Заказ 2168

ему по духу и делам товарищей забыть о своих болезнях, покинуть больничные койки и целиком отдаться политической борьбе.

Ялтинская организация РСДРП, включавшая в свой состав и меньшевиков, и большевиков, кооптировала Жадановского в Совет рабочих и солдатских депутатов. Одновременно он был назначен редактором «Известий Ялтинского Совета рабочих и солдатских депутатов».

Давно уже миновал «медовый месяц» революции. Временное правительство все время лихорадили кризисы. Рабочие и крестьяне, обманутые на первых порах буржуазией, с помощью большевиков учились различать, кто их друг, а кто враг. Уже вылетели в отставку ярые поборники «войны до победного» — лидер кадетов Милюков и военный министр «временного» Гучков. Эсеры и меньшевики, спасая буржуазное правительство, вошли в его состав. Уже отгремели залпы на улицах Петрограда, где буржуазия и ее союзники из эсеро-меньшевистского хлева расстреляли мирную демонстрацию рабочих и солдат. Теперь буржуазия спешила закрепить «победу». Центральный комитет партии большевиков, Ленин были вынуждены уйти в подполье. Вновь наполнились опустевшие в марте тюрьмы.

А буржуазия искала «сильного человека», которому можно было бы вручить всю полноту власти, и этот сильный должен был беспощадно расправиться со всякими там Советами, покончить с революцией.

На роль диктатора претендовал министр — председатель Керенский. Но реакционнейшая русская буржуазия и слышать о нем не хотела. Ведь Керенский как-никак «социалист», в прошлом эсер. А потом для диктатора нужен «человек сабли», военный.

Буржуазия перебирала имена старых царских генералов. Одни устраивали кадетов, но не хотели им служить, другие казались буржуазии недостаточно реакционными.

И, наконец, нашли «народного главнокомандующего», генерала Корнилова.

В Ялте готовилось сборище корниловцев. Банкет в честь «народного героя», спасителя всея Руси от немецких агентов. Инициаторами этого сборища были члены комитета офицерского союза — монархисты. И одним из активных комитетчиков был Замбржицкий. Грязные осколки самодержавия были выметены в Крым. Набережная Ялты оказалась последним пристанищем Замбржицкого в России. Он щеголял в погонах, надеясь, что они, погоны артиллерийского поручика, скроют его жандармское прошлое. И он не хотел расставаться с ними. Ялтинский Совет требует, чтобы офицеры сняли царские погоны! Значит, долой Советы! Замбржицкий стал ярым корниловцем.

Чествование генерала должно было стать началом расправы с Со-

ветом рабочих и солдатских депутатов. Сведения об этом офицерском заговоре стали известны Жадановскому.

Узнал о готовящемся заговоре и приехавший в Ялту в качестве инструктора по выборам в Учредительное собрание революционный моряк Некрасов. Встревоженный, он явился в Ялтинский Совет.

— Куда это годится, дорогие товарищи!— Некрасов даже не представился.

— С кем мы имеем честь?

— Я уполномоченный по выборам в Учредительное собрание. Военный моряк из Севастополя. Вот мандат.

— А, товарищ Некрасов! Нам сообщили о вашем приезде. И очень хорошо, что вы уже в Ялте.

— Чего там хорошего, у вас под носом корниловцы организовали заговор, готовят переворот.

— Товарищ Некрасов, уверяем вас, мы не сидим сложа руки.

Борис улыбнулся, приглашая уполномоченного не горячиться и совместно обсудить план срыва заговора.

Жадановский, Некрасов и еще несколько членов Ялтинского Совета расположились в зале заседаний.

Борис собрался было говорить, но его опередил солдат, добровольно взявший на себя функции охраны «товарищей».

Забавный был солдат. Сам родом из Сибири, мечтал всю жизнь по морю синему поплавать. Когда началась война, солдат был уже в запасе. Прослышал он, что Россия экспедиционный корпус отправляет во Францию. Добился призыва правдами, неправдами. Добрался до Москвы, да так и застрял там. «Вша мечту сгрызла. Вместо окиян-моря к тифозному бараку пришвартовался, да и надолго. А тут и революция. Ну, и подался к морю». Эту историю словоохотливый «мореход» рассказывал каждому встречному-поперечному. «Окиян-море» пришлось солдату по душе, но только на берегу. Первое его плавание на небольшом пароходе от Ялты до Алушты и обратно обнаружило, что у «морехода» сугубо сухопутная душа, и, главное, желудок совершенно не приспособлен к качке.

— Борис Петрович, ты намеднись грозился этакое порассказать про генерала Корнилова.

— Отстань, Егорыч, сейчас есть дела поважнее.

— А что, Борис Петрович, действительно, вам что-либо известно о «лихом рубаке»? — Некрасов, видимо, был человеком любознательным и охочим до всяких историй.

— Да, вот кое-что вычитал в газетах, когда лежал больной в Харькове.

— Ну, о Корнилове много писали, особенно в связи с его «героическим» побегом из австрийского плена. Аника-воин, подумать только — отстрелялся чуть ли не от целого взвода австрияков, да и объявился в штабе русских войск.

— Значит, и вам известно об этом «подвиге» народного генерала.

— Читал, читал, и никак в толк не могу взять — генерал он царский, хотя папаша его не из благородных. Ну, а царские редко такой доблестью отличались, разве что Брусилов. Наверное, просто повезло этому генералу.

— О, да вы ничего не знаете. Что ж, пять минут можно отвести некоторым подробностям героических подвигов генерала Корнилова — быть может, они и пригодятся, когда с народом говорить будем.

— Ты, Петрович, не тяни, не тяни — враз и сказывай.

— Ладно! Мне случайно попалась одна австрийская газета. Только вот не знаю, случайно ли ее прихватил один мой знакомый-сапер, ехавший с австрийского фронта. Он меня в Харькове навестил, да и дал почитать эту газетку. По-немецки я читаю не очень, разобрал с трудом. Оказалось, мой товарищ подсунул мне судебный отчет по делу одного фельдшера-чеха.

Если бы я тогда предполагал, что Корнилов всплывет на небосклоне буржуазных правителей России, то постарался бы разобрать, да и запомнить имена и названия. Но суть дела вот в чем.

Корнилов во время войны командовал кавалерийской не то бригадой, не то дивизией. Да так ладно командовал, что вместе со всем своим штабом угодил в плен к австрийцам.

— Докомандовался, антихрист, прости, господи.

— Поместили генерала в какой-то там замок неподалеку от линии фронта, да и стерегли кое-как. А в замке этом, превращенном в тюрьму, служил фельдшером чех, насильно мобилизованный в австрийскую армию. Ну, чехи, известно, служить в армии своих притеснителей не хотели, при всяком удобном случае старались перебежать на сторону русских.

— Вестимо, они ведь тоже славянского корня.

— И вот этот фельдшер, узнав, что в замке содержится пленный русский генерал, задумал освободить его и вместе с ним перейти линию фронта. Фельдшер добыл пистолет для Корнилова, сумел вывести генерала из замка. Ну, а потом и смех, и грех.

У самого уже фронта понадобилось чеху забежать в какой-то дом, воды, что ли, напиться. Корнилов остался возле дома в кустах. А тут патруль. Ну, чеха, конечно, забрали. А бравый генерал, вместо того чтобы перестрелять двух австрийских солдат, бросился наутек. Хорошо, побежал в русскую сторону. Сплошной линии фронта там не было, и генерал ломился сквозь какой-то колючий кустарник до тех пор, пока не сообразил, что фронт-то остался позади. Ну, тогда Корнилов стал палить в белый свет, как в копеечку. На выстрелы вскоре прискакал русский кавалерийский дозор. И представьте зрелище — генерал в ободранном мундире, исцарапанный до крови, в руках пистолет...

Корнилова доставили в штаб — тут вот и начались его «подвиги»,

он-де со своим спутником чехом, отстреливаясь от наседавших австрийцев, ушел из замка, пробился к линии фронта. Его товарищ, царство ему небесное, погиб. А вот он, генерал, снова среди русских воинов.

Представляете, на фоне продажных царских генералов, да такой герой. Корнилову тут же звание корпусного дали.

— Влип, значитца, ненароком в герои. Петрович, тебе всенепременно надобно об этом солдатам пересказать. А то герой да герой, а на поверку-то враль, а не герой.

— Борис Петрович, а ведь Егорыч прав. Превосходный агитационный материал. Но давайте вернемся к делу. Что вы задумали для срыва этого корниловского банкета?

— Видите ли, в городском саду на летней эстраде офицерики планируют лотерею с продажей портрета генерала Корнилова... Нужно, чтобы кто-то из наших товарищей первым выкрикнул смехотворно низкую, копеечную цену. Начнется, конечно, заваруха. Тут понадобятся дюжие ребята.

— Такие найдутся. Меня здесь никто не знает. Я и назову такую цену, что офицерье остолбенеет...

— Согласны...

Вечерняя Ялта выглядела празднично. Из городского сада доносились звуки духового оркестра. На улицах не протолкнуться, тротуары заполнили разряженные барыньки, гимназисточки, щеголеватые офицеры.

На летней эстраде все было готово к началу лотереи, но ее устроители хотели, чтобы в «патриотическом» начинании приняло участие возможно больше публики. Лишь только стемнело, на дорожках сада замелькали картузы, кепи, матросские тельняшки.

Пора и начинать. На трибуну взобрался первый оратор.

Трудно было понять, о чем вещал этот корниловец, но отдельные его выкрики, базарная брань адресовались большевикам. Публика слушала и хмурилась. Это молчание испугало организаторов митинга, но они уже не могли остановить разбушевавшихся черносотенцев.

Замбржицкий почувствовал: еще один такой оратор, и толпу прорвет.

Экс-жандарм вскочил на сцену, очень непочтительно взял очередного краснобая под ручку и указал ему на кулисы. Толпа одобрительно загудела, раздались аплодисменты.

Замбржицкий решил, что пришел его час.

— Граждане! Все вы хорошо понимаете значение сегодняшней лотереи. Она символ нашей любви к народному герою, спасителю России — генералу Корнилову.

Замбржицкий сделал паузу, театрально хлопнул в ладоши...

Занавес летней эстрады медленно пополз вверх. На сцене стоял огромный портрет «обожаемого генерала», освещенный прожекторами.

— Граждане! Назначайте первую цену портрету героя и пусть будет вознагражден тот счастливец, который не пожалеет денег на патриотическое дело.

— Пятак! Я даю пятак!

У Некрасова оказался сильный густой бас. Городской сад откликнулся эхом. «Пятак», «ак», «так».

И сразу все смешалось. Крики, свист, хохот, брань.

— Красная цена в базарный день!

— Безобразие, возмутительно!

— На пятак связку бычков можно купить, а с генеральского портрета и козлу корма не будет.

— Хватайте его, хватайте.

— Матросня поганая, немецкий шпион!

— Полундра, братишки, на шарап генерала!

Некрасов с невинным видом втолковывал окружившим его разозленным офицерам:

— Но, граждане офицеры, я ведь со своего достатку и от чистого сердца. Пятак, он у меня последний...

Замбржицкий выхватил наган. С ним такое бывало, трус от природы, в припадке гнева он не всегда контролировал свои действия...

— Застрелить эту большевистскую сволочь!

Офицеры схватились за оружие.

— А может быть, отважное воинство вложит револьверы в кобуры.

Замбржицкий быстро оглянулся на голос. «Жадановский. Неузнаваемо изменился и все же это он». Экс-жандарм почувствовал, как слабеют его ноги. «Застрелит и делу конец». Замбржицкий заметил, что офицерское кольцо, сжавшееся вокруг матроса, предлагавшего пятак за Корнилова, в свою черець плотно окружено вооруженными дружинниками. И каждый из них взял на мушку «своего» офицера. Первый же выстрел в большевистского агента, обернется уничтожением корниловцев. С Жадановским шутить опасно!

Моряк из Севастополя, воспользовавшись завязавшимися переговорами Жадановского с офицерами, исчез.

Торжество было омрачено... И еще долго по саду мелькали фигуры офицеров, филеров, искали виновника срыва долго готовившегося черносотенного сборища. Жадановский вместе с охраной, а также представитель черноморской революционной эскадры благополучно возвратились в Совет.

— Ну, Борис Петрович, вы хотя и сапер, а провернули дело по-нашему, по-моряцки. Лихо.

— Да будет вам, товарищ Некрасов. Главное — сорвали.

Как редко выпадали на долю Жадановского дни и даже не дни, а часы, которые можно было посвятить отдыху. Дела в Совете и приступы болезни. А рядом море, горы и люди, которые могут вечерами бродить по ливадийскому парку, подниматься к Массандре, стоять на набережной и слушать море.

Борис сначала не любил часов без работы. Он понимал, конечно, что передышка необходима, что без нее он долго не протянет, но в очень редкие часы отдыха его угнетало одиночество, отсутствие близких.

И часто он мысленно возвращался к тому единственному, счастливому и теперь уже кажущемуся нереальным месяцу, проведенному на ферме Политехнического института. Забылась боль, забылись кошмары, но так запомнилось милое лицо Кати, ее ласковый голос, ее добрые руки. Еще несколько лет назад в Шлиссельбург приходили ее письма. Потом связь оборвалась. Где она? В России или уехала за границу? Стала ли врачом, или забросила медицину, вышла замуж и сделалась хлопотливой хозяйкой?

Ничего он не знает. Как не знала о Катюше мама, когда он расспрашивал ее в Харькове.

Катя — теперь это только грустное воспоминание. Незабываемое прошлое. Как это у Горького, «в каретах прошлого далеко не уедешь». Что верно, то верно. Ну, а если думать о будущем?

Каждый день в Совете он встречается с техническим секретарем. Ее зовут Лидой. Этому человеку всего лишь двадцать лет. Как-то не поворачивается язык называть Лиду Лидией Иннокентьевной Трофимовой. Каждый раз, когда он заходит в секретариат, Лида краснеет, отвечает невпопад, потом сама же весело над собой смеется. Если же они одни, Лидия не краснеет, а просто смотрит на Бориса и чего-то ждет. А чего? Вот тогда он начинает плести какую-то чушь. Вчера, например, пригласил Лиду покататься на лодке вдоль ялтинского побережья. Лида тут же согласилась, а он вдруг подумал: пожалуй, не выгрести ему, если будет хотя бы самая легкая волна. Хотел уж извиниться, да вспомнил о товарищах, живущих вместе с ним в «Гнездышке».

Друзья тотчас согласились. Кое-кто предложил захватить гитару, потом вся компания с серьезным видом обсуждала, какие романсы и серенады будут уместны — ведь в лодке как-никак собирается прокатить свою даму не простой смертный, а член Совета и редактор городской газеты. Борис едва отшутился!

Сколько раз он смотрел из окна своей комнаты на море, горы, восхищался чудесным видом. Ялта с моря — зрелище поразительное, тем более вечером она манящая, сказочная. Где-то далеко, далеко едва слышно играет оркестр, и ленивый ветерок доносит с набереж-

ной смех. На фоне быстро темнеющего неба вырисовывается резкий профиль Ай-Петри. А перевал уже затянули фиолетовые сумерки.

Скрипят уключины, только эти звуки и напоминают о море. Оно тихое-тихое и все время меняет окраску. Вот уже и не видно сквозь черное полотнище Ялту. Только вдали мерцают огоньки. Луна протянула ослепительную дорожку. По ней бродят какие-то неясные тени.

Лодка подошла к причалу. Борис проводил Лиду домой. Они молча попрощались. А потом Лида записала в дневнике:

«Мое чувство к Борису можно было назвать преклонением, восхищением. Он первый показал мне на личном примере, какой духовной красоты может достигнуть человек. Сознание необыкновенности Бориса, нашего неравенства сдерживает мое чувство».

Прошло немного времени, дневник пополнился новой записью.

«Я с нетерпением жду каждого дня, когда я вновь встречусь с Борисом на собрании. И как только он появляется, я не могу наглядеться на его лицо, такое одухотворенное, волевое, и с каждым днем я все больше и больше начинаю чувствовать, как мне не хватает его нежной, тихой ласки».

Борис покинул санаторий «Гнездышко» и переехал в маленькую комнатку, чтобы быть поближе к месту работы в Совете. Дальние пешие переходы его очень утомляли.

В Ялте даже поздней осенью почти не бывает холодных северных ветров. Там, за горами, в далекой Москве, в Питере, Харькове уже облетели последние листья и землю секут злые дожди. Здесь же на берегу моря теплынь.

Но Борис даже рассердился на Лиду, когда она явилась в одном платьице к зданию Ялтинского исполкома.

— Лида, ты простудишься, автомобиль открытый.

— Ну, что ты, смотри, как тепло!

— Господи, ну что делать с этим ялтинским растением? Мы же едем за перевал, а там, наверное, дождь, сыро и холодно.

Увы, возвращаться для переодевания было уже поздно.

Лида еще никогда не ездила на автомобиле. В Ялте их было немного. Раньше они принадлежали хозяевам роскошных отелей, были и автомобильные извозчики, которых нанимали богатые курортники, и такие поездки стоили страшно дорого.

Машина скрипела, чихала, надсадно выла на крутых подъемах и, только скатившись с очередной горки, мчалась, захватывая дух, по коротким ровным впадинам. Но потом ровных мест и вовсе не стало. С перевала потянуло сыростью, Лида поежилась. Борис, не говоря ни слова, снял с одного рукава толстое теплое пальто, накинул на плечи Лиде... Ехать бы так бесконечно... Но приехали быстро.

Обратная дорога из Алушты в Ялту в темноте очень беспокоила

шофера. С перевала автомобиль спускался рывками, словно старался на каждом шагу уцепиться за чахлый кустарник, притормозить.

В Ялту вернулись поздно. Шофер подрулил к дому, где жил Жадановский.

Борис вышел из машины. Хотел попрощаться. К его удивлению, Лида тоже вышла из автомобиля. Не говоря ни слова, они прошли в дом.

Борис потянулся к выключателю.

— Не надо, Боря.

Так они и стояли в темноте.

— Боря, я люблю тебя. И буду твоей женой.

Известие, которое пришло в Ялту рано утром 25 октября, испортило «бархатный сезон» завсегдатаев южного побережья Крыма.

Восстание в Петрограде. Победное. Временное буржуазное правительство в Петропавловской крепости. Керенский невесть где. А власть в руках большевиков.

«Известия Ялтинского Совета» вышли в этот день раньше времени. Вся газета — гимн победившему восстанию. Приветствия. И в то же время призыв устанавливать Советскую власть и в Крыму.

В эту ночь Борис так и не ложился. Когда поздно ночью пришло известие о взятии Зимнего, он только-только собрался домой. Ну а после — какой уж там сон — нужно готовить экстренный выпуск газеты.

Утром в Совет пожаловали представители городской думы. Нет, они пришли не с поздравлением. Наоборот, думские гласные заявили, что не признают власти Советов, что она незаконная и до решения Учредительного собрания дума будет продолжать свою деятельность.

Жадановский, усталый, едва державшийся на ногах, все же нашел в себе силы вступить в спор с выспавшимися думцами. Но стоявший на часах у дверей Совета матрос возмутился.

— Товарищ Жадановский, шли бы вы спать, а я тут поговорю с этими господами по-нашему, по-матросски.

И, не дожидаясь ответа, матрос неторопливо снял с плеча винтовку и преувеличенно внимательно начал разглядывать затвор.

Думские депутаты как-то неуклюже, толкая друг друга, затоптались на месте, но через минуту их уже не было в здании Совета. Борис устало улыбнулся.

— Спасибо вам... Как ваша фамилия?

— Скворцов, товарищ Жадановский.

— Да, товарищ Скворцов, с этими деятелями лучше всего разговаривать языком трехлинейки.

— Так за чем же дело стало?

— У нас в Ялте за многим, матрос, за многим.



Этот небольшой инцидент подсказал Борису мысль о необходимости немедленного учреждения Военно-революционного комитета, который от имени Совета и должен осуществлять всю полноту власти в городе и его округе.

Вот и кончился «бархатный сезон», но, на удивление постоянных жителей Ялты, число «курортников» с каждым днем увеличивалось. Особенно много среди них было офицеров. Прибывали они в штатском платье, с женами и детьми, но их «мирный» вид никого не мог обмануть, печатающий шаг, повелительные интонации в голосе, обязательное прищелкивание каблуками — это было «второй натурой», которую не спрячешь под визитками, фраками, тройками.

Конечно, «курортники» пополняли число сторонников думы.

Борис понимал, что пора жарких словесных баталий миновала. Надо готовиться к решительной схватке с местной буржуазией, националистами, офицерами. Между тем кое-кто в Совете все еще надеялся мирным путем уговорить гласных думы признать Советскую власть и самораспуститься.

Нет, уговоры не помогут. Временный революционный комитет, созданный в конце октября,— вот кто должен осуществлять власть.

Борис Жадановский был избран заместителем председателя ВРК. Но фактически он руководил комитетом.

Так прошел месяц. Однажды утром, направляясь в ВРК, Борис решил немного пройтись по набережной, подышать морским воздухом. День выдался на редкость солнечным, ясным, а ведь уже кончался ноябрь. Но, видимо, не один Борис стремился воспользоваться последними ясными денечками — на набережной с утра уже было полно фланирующей публики. И как в «старое, доброе время», расфуфыренные барыньки прогуливали своих уродливых болонок и мопсов. «Безработные» офицеры собирались небольшими группками, не забывая о чинопочитании, вяло переговаривались. К этим картинам Борис уже привык и не обращал внимания на бездельников. Задумавшись, Жадановский чуть было не столкнулся с каким-то господином. Тот шел, не разбирая дороги, никому ее не уступая! Борис отскочил в сторону. «Вот это новость!» Мимо него строевым шагом продефилировал офицер в форме, которую бывший сапер русской армии никогда не видел. Какая-то смесь азиатских пестрых одежд — шаровары, заправленные в низкие, козьей кожи сапоги, стянутый широким офицерским ремнем полукафтан с полами-раструбами. Высокая баранья шапка. На левом боку кривая сабля, а на правом, свисая чуть ли не к коленям — маузер в деревянной кобуре.

«Ну и ну! До сей поры в Ялте еще не было таких попугаев».

Придя в ВРК, Борис узнал, что сегодня ночью дума вызвала в Ялту эскадрон татарских националистов. Стало ясно — со дня на день можно ждать выступления буржуазии.

Нельзя было терять ни минуты.

Борис созвал членов ВРК на экстренное заседание. И к удивлению собравшихся, начал рассказывать о восстании киевских саперов в 1905 году, о тех ошибках, которые допустили руководители восстания. Перейдя к событиям, происходящим в Ялте, Жадановский потребовал, чтобы ВРК перехватил инициативу из рук буржуазной думы.

Обывательская Ялта притаилась. По вечерам, несмотря на то что погода была на удивление теплой, хотя уже наступил декабрь и пора бы пойти дождям, жители сидели по домам, закрыв железными полосами оконные ставни, приспособив к дверям новые замки.

По улицам ходили патрули дружинников. Ни одного вечера, ни одной ночи не обходились без перестрелки, а наутро в городе становилось известно, что стреляли в патруль, кого-то арестовали. И ни одной ночи не проходило без того, чтобы не обворовывали чей-либо дом.

С севера шли тревожные вести. Антанта ответила заговором молчания на призыв Советской республики начать мирные переговоры.

Откликнулись немцы, но уже первые встречи в Брест-Литовске свидетельствовали о том, что с кайзеровской Германией едва ли удастся заключить мир без аннексий и контрибуций.

На Украине буржуазная Центральная Рада объявила себя верхов-

ным правителем и тоже послала своих представителей в Брест. Вот с ними немецкие милитаристы быстро договорятся.

В тревоге, напряженно отсчитывались дни декабря.

15 декабря Борис почувствовал себя очень скверно. Второй день без перерыва Ялту заливал запоздавший в этом году дождь. Он налетал порывами, исхлестывал улицы, сбивал листву, ветер силился склонить к земле гордые станы кипарисов.

Дождь сменяли снежные заряды, крупные хлопья мокрого снега летели параллельно склонам гор, застревали в садах и садиках.

В такую погоду хотелось сесть на поезд и скорей, скорей очутиться где-либо в Москве, Туле, Владимире — там уже установилась зима с санным путем, с ядреными морозцами — когда так легко и глубоко дышится.

Едва добравшись до дому, Борис свалился на диван. Лида попыталась его накормить, но Борису было противно смотреть на еду. Хотелось согреться, уснуть и остановить приступы сухого, раздирающего грудь кашля.

Измученный, обессилевший, он уснул далеко за полночь. И ему показалось, что прошло не более пяти минут, когда его разбудил голос Лиды.

— Не нужно его трогать, он очень болен.

— Но Лидия Иннокентьевна, в городе переворот. Националисты и кадеты разоружают дружинников.

— Что случилось? — Борис сел на кровати.

— Борис Петрович. Вас срочно вызывают в ВРК.

Борис не задавал лишних вопросов. Выстрелы, доносившиеся с темных улиц Ялты, были свидетельством того, что дума перешла в наступление.

В комитете Жадановский уже никого не застал, кроме какого-то старичка в очках.

— Вы по какому делу, товарищ?

— Да мне бы кого-нибудь из главных.

— Ну, считайте, что я главный.

— Если ты главный, то вот почитай-ка. Я наборщик. И сегодня в ночь нас заставили набирать этот листок.

Борис взял свежий оттиск — не то листовка, не то газета, а вернее всего, это был просто лист бумаги, на котором второпях было оттиснуто обращение Ялтинской думы к жителям города. Дума заявляла, что большинством голосов решено изъять из рук ВРК охрану города, вся власть переходит к думе.

«Влияние Совета рабочих и солдатских депутатов уже не нужно для общего дела спасения Родины...»

Вот так и не меньше ялтинские кадетики вырядились в тогу Цезаря — они спасители России.

— Ну, мы им пропишем!

— А что, и пропишем. Нас, наборщиков, они под дулом держат. Я на старость да немощи сослался — отпустили. А наши типографисты знай набирают. Только вот что я тебе скажу, дорогой товарищ, наборщики всего несколько листов правильного набора сделали — это для ихнего главного, а весь тираж — смех и грех, все вверх тормашками — нипочем не понять, о чем тут речь, да и пару другую крепких словец вставили.

— Молодцы! Вот только крепкие словца — это ни к чему.

— Да ведь в наборном-то я один старик, а остальные зелень. Ну, да я их прищучу.

В последующие дни Борису так и не удалось прочесть «сочинение» наборщиков ялтинской типографии, наверное, кто-то из деятелей думы все же обнаружил, что весь тираж — сплошная абракадабра.

Жадановский потребовал созыва всех членов Совета. И 20 декабря Совет собрался. Председательствовал Жадановский. После обсуждения доклада о Временном революционном комитете была принята резолюция: 1. Отныне Ялтинский Совет признает только власть Советов, все решения II съезда Советов России; 2. Ревком ответствен только перед Совдепом... 3. Немедленно проводить в жизнь все декреты народных комиссаров и в ближайшее время приступить к реализации решений Совета, изменив его устав.

Да, предстояла борьба с оружием в руках. И Борис знал, что он не будет отсиживаться где-либо в штабе. Он пойдет на улицы. Так же, как он шел в 1905 году.

Это сознание неизбежности вооруженной схватки, сознание того, что он снова встанет под пули, заставило Бориса взяться эа письмо домой, в Харьков. Времени было в обрез. Но письмо необходимо отправить. Нужно, чтобы дома сберегли все его бумаги. Кто знает, не найдет ли вновь его пуля, как нашла в Киеве. И ялтинский стрелок может оказаться более метким.

«Дорогая Аня. Ты мне поверишь, может быть, если я скажу, что писать последние три месяца я не имел возможности — все времени не было. И все-таки это так: положительно ни одной минуты свободной. Ты, вероятно, можешь представить себе жизнь общественного человека. Разумеется, я состою ответственным членом массы комитетов, советов и комиссий. И последние дни до такой степени захватили меня, что я фактически бросил газету и числюсь ее редактором лишь формально. Если дело позволит, я снова вернусь к редакторству и «спокойному» редакторству, хотя, как ты знаешь, и это не из спокойных родов занятие. Здоровьем своим я доволен: приходится спать по 5 часов в сутки и при неважном питании, держусь до сих пор хорошо — не сдаю. Климат-то здесь хороший, хотя последние дни очень дождливые. На горах и в Симферополе (куда мне приходится ездить по общественным делам) — снег. Мечтаю как-нибудь приехать в Харьков, но теперь и дела не пускают и уж очень дорого стоила бы такая

поездка. Да и Харьков уже не тот. Не стало бедной мамочки, бедной старушки, которая так любила всех нас и так мало видела от нас ласки. Как горько и обидно мне было думать, что бедная мамуся умерла одинокой, что даже я, кого она так долго ждала, очень редко писал ей, дал повод думать, что я забываю, не помню о ней. Хочется мне думать, что смерть мамы не будет тем последним, которое окончательно разорвет тонкие ниточки, соединявшие около мамы всю нашу семью...

Милая Аничка, береги, пожалуйста, оставшиеся у тебя мои вещи: мое «дело», карточки, письма, вырезки и т. п. Я думаю, что я все же приеду к тебе и заберу эти дорогие мне вещи. И сейчас вот как-то странно среди самой горячей работы вдруг выпал часок-другой свободного времени — давно уже этого не бывало. Ну, до свидания, дорогая. Если не станешь считаться письмами, напиши, как у тебя идут дела, как сестры, Миша, как знакомые. Мой адрес: г. Ялта, Совет рабочих и солдатских депутатов. Б. Жадановскому».

Уже пробило 12 часов ночи, когда Лида и Борис вспомнили, что наступил новый, 1918 год.

Борис, редко и с неохотой рассказывавший самому близкому ему человеку о своем тяжком прошлом, в эту новогоднюю ночь, повинуясь какому-то безотчетному чувству, говорил Лиде:

— ...Одни, попав в каторжную тюрьму, с первых дней стали себя заживо отпевать, опустились и кончали обычно сумасшествием. Другие боролись, не отступали, не шли на компромиссы и в том черпали жизненные силы. Я никому это не рассказывал и тебе, по-моему, не говорил. В 1906 году, ожидая каждую минуту исполнения смертного приговора, мне приспичило заниматься английской грамматикой. В общем, мне много дали «тюремные университеты».

— Я предпочла бы поменять их на здоровье.

— Ну нет, Лидушка, вот кончим мы эту заваруху, ликвидируем всю контру, тогда и я справлюсь со своим «внутренним врагом».

— Сколько в тебе оптимизма, Борис! Давай выпьем за оптимизм, за твое здоровье.

— Превосходно, я пойду подогрею чайник.

— Ну, нет, у меня есть маленький сюрприз. Ведь я давно живу в Ялте, а под боком Массандра. Вот я и забежала к одной своей знакомой, которая там работает, и в результате...

Лида встала из-за стола, прошла к окну, откинула занавеску, и Борис увидел две бутылки массандровского портвейна.

— Лидуша, спасибо. Только мы с тобой выпьем одну бутылку, а вторую завтра отнесем в госпиталь. Немного, конечно, но кому-то из раненых может и пригодится.

— Я была уверена, что ты именно так и поступишь. Хорошо, отнесем. А сейчас за твое здоровье!

— Нет, прежде всего давай выпьем за мировую революцию. Я верю в нее, верю в нашу победу.

— А за здоровье?

— Ну, нам хватит и на другие тосты.

3 января татарские буржуазные националисты, бывшие царские офицеры, кадеты преподнесли жителям Ялты свой новогодний «подарок». Они объявили, что власть в городе перешла к мусульманскому комитету.

У городского Совдепа не хватало сил, чтобы самому справиться с контрреволюцией. Ялта оказалась в руках националистов и монархистов.

С минуты на минуту можно было ожидать арестов членов Совдепа, расстрелов, погромов. Ялтинский отряд красногвардейцев был плохо вооружен, да и не обучен военному делу. А ведь ему противостояли офицеры, профессиональные военные. Что делать? Что делать? И Борис вспомнил о том отважном моряке-севастопольце, который дал пятак за портрет генерала Корнилова. Ну, конечно же, помогут севастопольские моряки.

8 января вечером, несмотря на дождь, на разбушевавшееся и теперь действительно «черное» море, ялтинские рестораны, духанчики, подвалы были полны. Вино — рекой. И песни. На улицах вместе с посвистом ветра и дождевой барабанной дробью вдруг разносилось подвывание — «Боже, царя храни», «Розы душистые»... «Солдатушки — бравы ребятушки».

Контрреволюция праздновала победу. Замбржицкий, очутившийся в компании подвыпивших офицеров, предложил устроить поход в порт.

— Там, господа, есть некий склад. Да, да! Склад, господа, в котором, я своими глазами видел, стоят штабелями ящики с коньяком и марочными винами. Хозяин склада бежал в Турцию.

— Ура! Пошли.

Пьяная ватага офицеров вывалилась на улицу из погребка на Базарной площади.

— Черт, прохудилось небо!

— А пусть себе. Мы согреемся.

— Господа, господа. Мы захватим по ящику, а потом я поведу вас в театр. Да, да, опера и оперетта, драма и комедия! Обещаю зрелище.

— Господин Замбржицкий, в этой дырявой Ялте ни оперы, ни драмы — одна комедия.

— Господа, я предлагаю схватить совдеповских комиссаров, они-то и будут солировать в опере и балете.

— Браво!

— Пошли.

Пьяные офицеры доплелись до ворот порта, который никем в этот вечер не охранялся.

— Где ваш склад, поручик?

— Там, у стенки. Э, черт, где вообще причал?

Замбржицкий вышел вперед и с пьяным упорством, согнувшись, придерживая фуражку, которую ветер старался сбить с головы, направился к темневшим у входа на причал складам.

— Господа, господа! Нет, вы посмотрите, посмотрите — вон туда. Или у меня уже галлюцинации.— Замбржицкий на мгновение поднял голову... Остановился. Дождь заливал лицо, глаза. Замбржицкий полез за платком. Нет, ему это только померещилось. Сейчас он протрет глаза.

— Господа, это миноносец типа нашего «Гаджибея».— Лейтенант гвардейского экипажа, оказавшийся в этой компании, хорошо знал классы судов черноморской эскадры. Он служил на миноносце «Гаджибей» и только случайно не оказался за бортом в феврале 1917 года. С тех пор лейтенант в Севастополе не показывался, да и свою щегольскую морскую форму припрятал подальше в сундук, благо в Ялте у него проживали родственники.

— Господа, назад. Это действительно «Гаджибей». На нем команда из одних большевиков.

Замбржицкий и сам не понимал, откуда в пьяных его ногах оказалась такая резвость. Когда бежать стало невмоготу, он остановился, прислушался. По-прежнему завывал ветер, стучал по крышам дождь. И темнота вокруг. Где он? Куда его со страху занесло?

Ни зги не видно. Он, наверное, далеко позади оставил офицерскую компанию. Решат, что поручик струсил? Ну и черт с ними. Сами хороши.

Тишину ночи прорезал винтовочный выстрел. За ним треснул залп. Застучал, захлебнулся пулемет.

«Началось,— подумал поручик.— Домой возвращаться теперь опасно. Моряки, конечно, высадили десант и вмиг расколошматят татарский батальон. У них и главный калибр на миноносце, наверное, наготове».

Замбржицкий решил подаваться в горы. Там, за перевалом, у него есть знакомый духанщик — он припрячет на время. Дальше видно будет.

9 января Жадановский подписал воззвание к населению Ялты. В нем говорилось о роспуске городской думы и о восстановлении власти ревкома.

Но воззвание воззванием, а бои с контрреволюционерами, упорные бои идут у самого порога Ялты.

Матросский десант с «Гаджибея» выбил татарский эскадрон из



города, но с минуты на минуту «Крымский штаб», засевший в Симферополе, может прислать подкрепление. «Крымский штаб» — центр борьбы с Советами в Крыму — располагает значительными силами.

И одна надежда на флот. Моряки горой стоят за Советы. Все же нельзя постоянно держать миноносец в Ялтинской бухте. Обстановка в Крыму напряженная, никто не позволит распылять силы флота. Значит, нужно подумать и о других возможностях обороны города.

Борису так и не пришлось применить свои знания сапера на практике. Не успел. И теперь невольно его мысль вращалась вокруг различных вариантов инженерных сооружений, которыми можно было оградить город от нападения со стороны гор и вдоль морского побережья.

Жадановский был реалистом, он понимал, что в распоряжении Совета и ревкома слишком мало сил для того, чтобы строить какие-либо укрепления, оборудовать батареи. Нет, речь может идти только о создании полей проволочных заграждений, ну, может быть, удастся заминировать какие-то дороги. Вот только где достать для этого фугасы.

Борис поделился своими соображениями с членами ВРК и командиром миноносца. Моряки пообещали взрывчатку, а члены ВРК — местные рабочие, посовещавшись друг с другом, заявили — проволоку найдем, в крайнем случае сделаем.

И тогда Борис решил выбраться на инженерную разведку. Тем более что бои за город не прекращались, и Жадановский считал, что его присутствие профессионала-сапера может быть не бесполезным для обороны города. Он заместитель председателя ВРК — ему и карты в руки.

Борис выехал немедленно. По мере того как двуколка приближалась к горам, слышнее стали выстрелы. Кони испуганно храпели, а старик возница неодобрительно качал головой и не очень-то торопил лошадей.

Ялта осталась позади. Борис решил, что двуколка слишком заметная цель, ведь они уже добрались до того участка симферопольской дороги, куда залетали шальные пули. Оставив двуколку под прикрытием какого-то холма, Жадановский короткими перебежками стал приближаться к редкой цепочке красногвардейцев, залегших за обломками скал.

«Да, дело дрянь. Если к контре подойдут подкрепления — города не удержать,— подумал Борис.— А такая перестрелка — только трата патронов».

Когда Борис добрался до командира отряда, ружейный огонь усилился. Со стороны гор ударили два пулемета.

— Товарищ Жадановский, Борис Петрович, вы зачем сюда пожаловали?

— Следите за боем. Мне кажется, к националистам подошли резервы. Раньше я не слышал пулеметов.

— А черт их разберет. Вчера бил пулемет, но моряки шарахнули по нему гранатой. Может, исправили.

— Что-то матросов маловато.

— А часть их в обход по горе подалась.

— Вряд ли нужно распылять силы!

— И я так думаю. Послал своего парня к морякам, чтобы возвращались скорее. У нас, Борис Петрович, патронов только то, что в патронташах, самое большее еще на час.

— А у моряков?

— У них тоже не густо. Зато богато гранат.

Пока Борис переговаривался с командиром отряда красногвардейцев, националисты и офицеры усилили огонь. Пулеметы они перетащили на фланги.

— Ну, теперь держись, ребята. Сейчас контра пойдет в атаку. Без команды не стрелять.

Пулеметы прижали красногвардейцев и матросов к земле. Под их прикрытием начал наступать татарский батальон.

— Не стрелять!

Куда там!

Красногвардейцы — рабочие ялтинского порта, судовых мастерских, необстрелянные, неопытные в солдатской науке — не выдержали. Стреляли плохо, огонь вели не прицельный. Вот уж в дело пошли гранаты.

Борис понял: спасение в одном — поднять красногвардейцев в штыки.

— За мной! Бей контру!

Борис поднялся во весь рост. У него не было винтовки. А в барабане нагана всего три патрона — непростительная оплошность для строевого офицера. Но теперь уже не дозарядишь.

Рукопашная была жаркой, но непродолжительной. Как и предполагал Борис, к силам контрреволюции из Симферополя подошли покрепления.

Красногвардейцы не выдержали, стали откатываться назад.

Борис остался один. Он и не заметил, когда расстрелял свои три патрона. Курок нагана сухо щелкнул. Наган теперь бесполезен. Борис оглянулся — может быть, рядом валяется брошенная кем-нибудь винтовка. И в этот момент почувствовал, как сзади его схватили за горло. Он вывернулся, но поздно. Трое офицеров держали безоружного Жадановского.

— Один есть. Ведите его к полковнику.

Два прапорщика, еще разгоряченные боем, подталкивали Бориса штыками. Он задыхался. Идти в гору было и без того нелегко, а тут как назло приступ кашля.

— Иди, иди, большевистский выродок, да брось перхать, все одно перед смертью не откашляешься.

Прапоры захохотали.

Бориса втолкнули в палатку, разбитую под уступом скалы.

Там сидел седоусый и совершенно лысый полковник, в полной форме, с погонами. Взглянув на пленного, отрывисто бросил:

— Фамилия, большевистская морда?

Борис молчал. Если полковник не знает его в лицо, то, наверное, среди офицерского сброда найдется немало негодяев, которые не раз сталкивались с заместителем председателя ВРК Ялты. Полковник сделал какой-то знак стоящему рядом с Жадановским прапорщику. Тот, путаясь в застежках кобуры, дрожащей рукой пытался вытащить револьвер.

— Стыдитесь, прапорщик. Вы геройски шли в атаку, а теперь не можете пустить в расход этого...

Борис усмехнулся. Хотя и седые усы у этого полковника, но в жизни ему не доставалось и тысячной доли тех страданий, которые перенес узник «Косого капонира», Шлиссельбурга, Орла, Херсона.

— Отставить, прапорщик. Позовите ко мне штабс-капитана Леонтьева.

Через несколько минут штабс-капитан козырял полковнику.

— Алексей Васильевич, я не успел еще поблагодарить вас и в вашем лице «Крымский штаб» за своевременную подмогу. Но теперь мы справимся сами. Начальник штаба написал мне, что вашему отряду предстоит много дел в Симферополе. Собирайте своих людей и в путь. Заодно захватите с собой вот этого... большевика... Уверен, в Симферополе ему развяжут язык, а мне недосуг с ним возиться.

— Слушаюсь, господин полковник. Разрешите откланяться?

— С богом, с богом, Алексей Васильевич.

— Ну, ты, шагом...

Бориса связали и кинули в какую-то фурманку военного образца.

«Скверно. Уехал, ничего не сказал Лиде. Она прибежит в ВРК и узнает, что я на позициях. Всю ночь просидит у окна, а завтра, чего доброго, кинется искать на месте боя. Это в ее характере. Ах, как плохо все получилось».

Борис повернулся на бок.

— Ну ты, не шелохайся.— Над Жадановским склонилось лицо какого-то татарина-эскадронца.

Дорога вела в горы и чувствовалось приближение перевала. Внизу, в Ялте, дождь, а здесь пахнет снегом. «Почему же вспотел конвоир? Наверное, пьян — вот ему и жарко».

Борис пошевелил затекшими кистями рук, и вдруг почувствовал, что веревки ослабли. «Ну, брат, ты родился в рубашке. Сколько раз пытался бежать, сколько строил планов побега. И ни разу не убежал.

Впрочем, нет, один раз все-таки утек. Но поймали. Значит, не считается. Может быть, на сей раз тебе повезет?» Борис пошевелил ногами. Они не связаны, но тоже затекли, а главное, замерзли.

Когда миновали перевал, Жадановский уже не мог унять озноба. Ледяной ветер прошивал его пальто насквозь, а ведь ему казалось, что оно толстое и теплое. Замерзло лицо, и он совсем не чувствовал ног. Но и его конвоиры тоже порядком продрогли, да и к тому же стало темно, а по слухам где-то возле Симферополя находились отряды красногвардейцев, оставивших город.

И когда показался духан, когда ветер донес соблазнительные запахи чебуреков, офицеры не выдержали. Приказав солдатам расседлать коней, они шумной гурьбой ввалились в духанчик.

— Эй, хозяин! Принимай гостей! Да поворачивайся!

Испуганный духанщик, собравшийся уже было на покой — кто в такую темень и в такое тревожное время поедет по дороге, задержится в духане,— выскочил из задней комнаты.

— Что угодно господам?

— Все угодно. Но прежде всего тащи вино, водку — не видишь, господа офицеры замерзли.

— Сейчас, сию минуту!

— Алексей Васильевич, куда пленного девать?

— Позовите-ка хозяина, прапорщик.

Прапорщик решительным шагом направился к двери кухни, но не дошел до них, как дверь отворилась и из кухни вышел поручик.

— Ба, да это Замбржицкий! Но как вы здесь очутились, поручик?

— Выполнял особое задание, господин штабс-капитан.

— Поручик, уже не третьего ли дня в ночь вы бросились со всех ног бежать из порта, чтобы выполнять особое задание. Мы вас так и не догнали.

— Я попрошу вас, прапорщик...

— Господа, господа! Эй, хозяин! — Духанщик робко высунулся из кухни.

— У тебя есть комната с крепким засовом?

— Есть, мой господин.

— Прапорщик, приведите пленного и заприте его в комнате. Только не забудьте осмотреть ее сначала!

— Слушаюсь.

Офицеры уже расселись за длинным столом и нетерпеливо поглядывали в сторону кухни.

— Господа,— Замбржицкий почувствовал себя в роли метрдотеля этого духана, — господа, имейте в виду, погреб у хозяина преотличнейший, я всегда заворачиваю сюда...

— После выполнения «особых поручений».

Замбржицкий нахохлился. Офицеры, пока не подали вино, старались отогреться хотя бы смехом.

— Но господа,— Замбржицкий осекся на полуслове — на пороге духана стоял... Жадановский.

— Продолжайте, поручик, или один только вид связанного большевика отнял у вас язык?

— Господа, а вам известно, кого вы взяли в плен?

— Большевистского недобитыша, но мы его добьем. И иже с ним. Аминь!

— Это Борис Жадановский — заместитель председателя Ялтинского ревкома.

В духане стало тихо. Жадановский? Кто из офицеров не слышал это имя? Но всем почему-то казалось, что грозный заместитель председателя ВРК — человек огромного роста. Обязательно опоясан пулеметными лентами, с гранатами за поясом... А тут!

Маленький, щупленький, с землистым цветом лица, которое даже на морозе не разрумянилось, Жадановский щурился на свет, ударивший в глаза после темноты.

Когда было произнесено его имя, Борис пригляделся.

— О, кого я вижу? Господа офицеры приняли в свою теплую компанию карточного шулера, жандарма, поздравляю вас, господа офицеры.

Замбржицкий схватился за кобуру...

— Поручик, поручик — осторожней. У меня имеется приказ доставить пленного в «Крымский штаб». Так что забудьте о пистолете...

— Господин поручик, а на каторгу вы, часом, угодили не за крапленые карты? Или, быть может, убийство ревнивого мужа? И не расскажете ли вы нам, как этот офицер-сапер очутился в голубых мундирах?

— Прапорщик, я вас вызываю...

— Ах, милый шулер, я не дерусь с картежными мошенниками и жандармами.

«Боже мой, я уже слышал, слышал эти слова».

Замбржицкий выскочил из духана на мороз, в темень. Он клокотал от бешенства. «Эти мерзавцы, чистоплюи, жалкие трусы, как запахло жареным, бросили окопы, покинули Москву, Питер, сбежались сюда с одной надеждой смазать пятки, скрыться за границей. Им жандарм, видите ли, не компания. А этот шелудивый щенок, прапор, явно из студентов-вольноперов. На словах — герой, а на деле третьего дня бежал без оглядки. «Мы вас не нагнали!» Тьфу, мразь. Ну, погоди! Я убивал и не таких. А этого щенка прапора пристрелю в трезвом уме и доброй памяти».

Экс-жандарм не учитывал, что прапорщик вместе с другими офицерами конвоирует Жадановского и, если он будет стрелять в прапорщика, его тут же прибьют насмерть — жандармы у офицеров всегда были на дурном счету.

Но Замбржицкий не рассуждал. Не обращая внимания на мороз, он затаился за стволом пирамидального тополя, стоящего прямо против входа в духан.

Очутившись в темной, но теплой комнате, Борис почувствовал, как ноги и руки пронзили тысячи иголок. Это было и больно и приятно. Когда перестало колоть, он энергично начал двигать кистями. Борис не ошибся. Узел веревки действительно ослаб. Обдирая кожу, Жадановский освободил руки. Он долго не мог их поднять, острая боль сводила плечи.

Ноги уже отошли, да и он сам быстро согрелся. Стало легче дышать, и впервые за этот сумасшедший день Борис почувствовал, что голоден. А из запертых дверей несло такими нестерпимо-соблазнительными ароматами. Ну, да ладно, ему приходилось голодать и побольше. А пока нельзя терять ни минуты. Как хорошо все-таки, что он ни на секунду не выпускал из поля зрения дорогу. За месяцы работы в Совете он изучил каждый ее изгиб. И духан этот он тоже помнит — заезжал. То-то ему показалось, что духанщика как-то перекосило, когда он взглянул на пленного, узнал, конечно.

Борис мысленно проделал весь путь от Ялты до духана. Нет, он не мог ошибиться, хотя духанов на Симферопольской дороге много. Этот не из богатых, глинобитный.

Борис тут же проверил свою догадку — ощупал стены. Глина. Значит, нужно точно сориентироваться — где наружная стена этой комнаты. Борис прислушался. Из-за дверей доносилось шипение поджаривающегося мяса — там кухня. Прекрасно, значит, противоположная стена — наружная. Борис еще раз ощупал стену и теперь заметил, что та, которая, по его предположению, должна выходить наружу, холодней остальных. Приложил ухо — и услышал приглушенные посвисты ветра.

Остается одно — проломить в этой стене отверстие, через которое можно было бы выбраться. Но хорошо сказать проломить, а вот как, чем? Если бы у него был хотя бы перочинный ножик. Конечно, можно попробовать ударами каблука вышибить кусок стены. Обычно ближе к углам эти стены очень непрочные. Но удары может услышать из кухни хозяин. Уж он-то не позволит ломать свое заведение.

Борис задумался и только в последнее мгновение услышал, как заскрипел засов. Едва успел заложить руки за спину, в глаза ударил свет. В проеме двери появились четкие тени голов.

— Прапорщик, прапорщик, вот еще одна косточка. Право, она сахарная или мозговая. Это от меня несчастному страдальцу.

Дружный хохот пьяных офицеров заглушил слова.

— Эй, ты, большевистский ублюдок, господа офицеры жалуют тебе со своего стола ужин. Ложки, вилки и ножи тебе не нужны, так

как не положено пленным развязывать руки. Но тебе, собака, не привыкать глодать кости. Адье!

Дверь захлопнулась. Заскрипел засов.

«Пьяные негодяи. Удивительно, как это они не пристрелили меня по дороге — ведь тогда можно было бросить фурманку и быстро доскакать до Симферополя».

Но Борис решил, что эта свора царских прихлебателей не стоит даже возмущения. У него просто нет на это времени. Чем же все-таки расковырять стену? В следующую секунду Борис чуть было не расхохотался. Пусть господа офицеры веселятся, он принимает кости на ужин. Борис на ощупь выбрал из груды еще теплых костей самую острую. Стенка подалась, хотя дело двигалось очень медленно. Борис приналег на костяной бурав, и кость не выдержала, хрустнула и переломилась. «Молоденький, видать, был барашек. Ладно, в миске есть и другие кости». Борис стал искать миску. Что за чертовщина, куда она запропастилась. Рука наткнулась на какой-то холодный предмет. «Железная палка? Нет, это старый шампур от шашлыка. Превосходно! Если он не проржавел насквозь, то лучшего орудия и придумать трудно».

С помощью шампура дело стало подвигаться быстрее. Еще усилие, и Борис едва устоял на ногах — шампур проткнул стену насквозь.

Расширить отверстие было уже нетрудно, Борис просто руками отламывал куски стены. Дыра постепенно расширялась. Стало возможным высунуть наружу голову. Свистит ветер. И слышно, как у входа в духан ржут кони. Работы осталось немного и, наконец, Борис выбрался из духана, не забыв прихватить с собой спасительный шампур — все-таки оружие. Конечно, хорошо бы сейчас подобраться к лошадям, отвязать одну и... Ночь мгновенно скроет всадника. Но у коновязи наверняка оставлен часовой. Нет, лучше не рисковать.

Борис сделал большой крюк, пробираясь по старым грядкам не то бахчи, не то огорода и вышел на тропинку, вьющуюся параллельно симферопольской дороге. Он рассчитал точно — часом раньше или позже офицеры обнаружат побег пленника, бросятся в погоню, уверенные, что беглец движется обратно в Ялту. Куда же ему еще идти, ведь в Симферополе засели националисты, там войска «Крымского штаба».

А он пойдет именно в Симферополь — тут не так уж и далеко... верст пятнадцать-двадцать. В Симферополе ему известны адреса явочных квартир большевистского подполья. Большевики —люди предусмотрительные.

Замбржицкий чувствовал, что замерзает. Ветер давно выдул хмель из головы, но трезво рассуждать поручик уже не мог. Сколько прошло времени с той минуты, когда он хлопнул дверью духана,— час,

два? Неизвестно. А господа офицеры не торопятся. Если они собрались здесь заночевать, то он замерзнет, так и не отомстив своим обидчикам. Рядом у такого же пирамидального тополя похрапывали кони, вкусно пережевывая в торбах овес. Увести, что ли, лошадей — благо эти вояки даже часового не поставили. Эта мысль показалась Замбржицкому соблазнительной. А что — десяток прекрасных верховых лошадей. Завтра где-нибудь в глухой татарской деревушке он выгодно их продаст. Это же огромные деньги. А татары все отдадут за таких лошадей. Решено.

Замбржицкий выбрался из-за ствола тополя. Огляделся. Нет, он не ошибся. Часового не видно. Тихо подошел к коновязи. Лошади, не переставая жевать овес, попятились.

— Ну, ну, тихонько, родимые, тихонько. Чем бы это вас связать в одну упряжку?

Заметив стоявшую рядом фурманку, поручик сообразил, что там должны быть вожжи. И действительно, вожжи лежали рядом с седлами.

Осторожно, переходя от лошади к лошади, Замбрицкий снимал с конских морд торбы, вставлял удила, закидывал на шею повод и в кольца продевал вожжи.

Последнюю лошадь он оставил для себя. Нашел подпругу, седло, хорошо затянул.

«Ну, что же, господа, когда вы проспитесь, я буду уже далеко. И к черту Крым, Россию. С деньгами можно жить где угодно. На первое время хватит».

Замбржицкий не привык думать о будущем и долго размышлять. Закатав полы шинели, он вставил ногу в стремя. Лошадь шарахнулась в сторону, но поручик крепко держал повод. Но и вторая попытка вскочить в седло была неудачной. Замбржицкий забыл, что в духане могут услышать ржание лошадей, топот копыт. Проклиная упрямого коня, он с остервенением стал хлестать его концом вожжи, которой были связаны остальные лошади. И в этот момент дверь духана отскочила в сторону.

— Вот он, держите! — Именно в это мгновение Замбржицкому удалось взобраться в седло и дать шпоры.

— Стреляйте, господа, стреляйте!

Загремели беспорядочные револьверные выстрелы. Пронзительно заржала какая-то лошадь, в которую угодила пуля. Выстрелы гремели и гремели. Наконец, стало тихо.

— Господа, спокойствие. По-моему, беглец получил свое.

С этими словами прапорщик побежал к лошади, на которой мешком висел человек.

— Господин штабс-капитан... Но это не пленный.

Прапорщик даже попятился.

— Не говорите глупостей. А ну кто-нибудь принесите фонарь.

Когда испуганный духанщик появился с фонарем, штабс-капитан подошел к лошади. Конь радостно заржал, он узнал хозяина.

— Стой, Абрек! Подымите повыше фонарь. Да ведь это поручик Замбржицкий! Прапорщик, снимите его с лошади. Стой, стой, Абрек!

Замбржицкого стащили с седла, внесли в духан. И только тут увидели, что пуля, всего одна пуля, раздробила затылок поручика. Смерть наступила мгновенно.

Офицеры растерянно молчали.

— Господа, никто не знает, чья пуля прикончила поручика. Поэтому каждый из нас может быть назван убийцей. Но мы убийцы невольные, произошла ошибка. Поэтому предлагаю считать, что поручика убил бежавший пленник.

Прапорщик! Уложите поручика в фурманку и доставьте в Симферополь в госпиталь. Подайте рапорт, остальные господа офицеры — в погоню. Этот большевик не мог уйти далеко. Черт, зачем Замбржицкому понадобилось вязать лошадей?

— Вполне вероятно, господин штабс-капитан, что покойный поручик был только наполовину поляком.

— Что вы этим хотите сказать, прапорщик? Какая еще у него другая половина?

— Цыганская, Алексей Васильевич!

— Прекратите ваш балаган!

Борис остановился, прислушался. Ему показалось, что очередной порыв ветра донес приглушенные звуки выстрелов. Нет, тихо, только по-прежнему неистовствует ветер.

В Симферополь нужно попасть рано утром, когда сон сморит ночные караулы и патрули.

Через два часа Борис услышал, как по дороге движется какая-то повозка. Притаился в канаве. Мимо проскрипела фурманка, как две капли воды похожая на ту, в которой его везли. И скрипит так же. А может быть, она и есть, но где же тогда верховые?

Борис дождался, когда затихли скрипы на дороге. Вгляделся. До Симферополя еще далеко. Но теперь, когда его обогнала фурманка, нужно войти в город со всеми предосторожностями. Может быть, не спешить, обогнуть Симферополь с севера.

Только к вечеру этого дня Жадановский благополучно добрался до явочной квартиры симферопольских большевиков.

Они же помогли ему вернуться в Ялту.

В Ялте продолжались бои. На помощь красногвардейцам и экипажу «Гаджибея» подошли миноносцы «Керчь» и «Дионисий».

12 января Борис проснулся от гула артиллерии. Это были мино-

носцы. Стреляли по городу, стараясь не попасть в дома. Но, конечно, попадали. Националисты и офицеры в конце концов не выдержали, удрали из Ялты, но, как клопы, засели в горных расщелинах на подступах к городу и выкурить их оттуда артиллерийским огнем с моря было трудно. Ночью же офицерье врывалось в город. Устраивало бессмысленную резню. Даже пыталось захватить береговую батарею. Но безуспешно.

Днем над Ялтой кружили два гидроплана, присланные Севастопольским ревкомом. Бои за город продолжались, но недолго. 16 января они закончились полной победой революционных моряков и красногвардейцев. В Ялте и на всем Южном берегу Крыма утвердилась Советская власть.

В Симферополе была провозглашена «Социалистическая Советская республика Таврида». В состав республики вошел весь Крымский полуостров. Были созданы ЦИК и СНК. Его первым председателем был большевик Миллер. Утверждение Советской власти проходило в непрерывных столкновениях с националистами, бандами офицеров. Работники Советов ложились спать с револьверами под подушкой, не зная, что ожидать завтра.

Комиссар продовольствия города Ялты Борис Жадановский тоже не раз хватался за наган. Точно такой же он достал и для Лиды. А на юг, в благодатный Крым, по-прежнему стекались в надежде на бегство за границу все, кто имел основания опасаться Советской власти,— царские офицеры, помещики, фабриканты и заводчики, чиновники всех рангов и положений.

И они не сидели сложа руки в томительном ожидании, исподтишка вредили Советской власти. Во второй половине января 1918 года Ялтинский ревком обложил местную буржуазию контрибуцией на сумму в двадцать миллионов рублей.

Это была ответная мера. Оружие буржуазии — деньги изымались из ее рук.

Новым и очень важным элементом в политической борьбе на юге страны оказался так называемый мирный договор, заключенный контрреволюционным украинским правительством — Центральной Радой — с немцами. Этот договор, подписанный семнадцатого января, открыл германской армии на «законном основании» путь к оккупации Украины и Крыма. Надо было готовиться к вооруженной борьбе с сильным и жестоким врагом.

И снова Борис, в предвидении приближающейся грозы, пишет сестре:

«Дорогая Аня!

Как поживаешь? Я здоров, бодр, работаю много и, полагаю, не без толку. Сейчас веду очень трудное дело — продовольствие города Ялты и уезда. Работа у нас в Ялте вообще очень налаживается... Чувствуем, как строится новая жизнь.

Положение страшно трудное. В особенности с осложнениями вне Ялты, но все же я убежден, справимся мы... Мечтаю все проехаться как-нибудь в Харьков, да нет возможности вырваться, бросить всю работу...

Большая к тебе просьба, Аничка, сохрани те мои бумаги (особенно «дело»), карточки и прочие книги, тетради, которые я оставил дома, а также какое-нибудь воспоминание о дорогой мамочке. Ну, целую тебя крепко. Твой Боря. 24 марта 1918 г. Алушта. Адрес: Ялта, Военно-революционный комитет».

Положение в Крыму становилось все тревожнее и тревожнее. Неизвестно, что будет с каждым из немногочисленных защитников Советской власти на полуострове. Не о своем завтрашнем дне, который мог быть последним, думал Жадановский, его заботила сохранность бумаг, оставленных им в Харькове. Сохранность «дела», которое нужно «хранить вечно». Да, он думал о будущем тех, кто придет после него — они должны знать, чего стоило завоевание революции. Только так он мог передать им свою эстафету.

В середине апреля немцы и гайдамаки подобрались к Перекопу. Связь с Москвой была прервана. Советские организации Крыма готовились к эвакуации. На Южном берегу Крыма от Ялты до Судака зашевелились, наглели с каждым днем белогвардейские и националистические банды. Участились убийства советских работников. В Симферополе был убит комиссар продовольствия Глазов, непосредственный начальник Жадановского. 19 апреля немцы захватили Джанкой. А 20-го немецкие разъезды появились на подступах к Симферополю. 22 апреля оккупанты вошли в Симферополь и Евпаторию. Председатель Совнаркома Тавриды Антон Слуцкий и некоторые члены правительства Крымской Советской республики через горы Ай-Петри выехали в Ялту и прибыли в нее 20 апреля. Далее их путь лежал в Алушту. Вблизи деревни Биюк-Ламбат, их схватили татарские националисты.

Сообщение о том, что члены правительства находятся в руках у националистов, пришло в Ялту и тотчас же было передано в Севастополь. Немедленно в Ялту отбыл миноносец с десантом моряков. Они высадились в городе и вместе с ялтинскими красногвардейцами двинулись на Алушту. Продвижение отряда с моря прикрывалось миноносцем. В 12 километрах от Ялты произошел бой с татарскими мятежниками, которые были разгромлены. А 24-го на рейде Алушты появился красный миноносец и обрушил огонь на город. Контрреволюционеры не выдержали.

В Алушту вступили матросы и красногвардейцы. Но они опоздали. Палачи успели отправить представителей советского правительства Крыма в Симферополь. В трех километрах от Алушты бандиты решили расправиться со своими жертвами. Их расстреляли. Еще дышавших добивали прикладами. Чудом остались живы лишь два члена

правительства Тавриды Семенов и Акимочкин. Тяжело раненных, их укрыли местные жители, а потом переправили в Алушту.

25 апреля состоялись похороны расстрелянных.

Недолго продержались в Алуште ялтинские красногвардейцы. Со стороны Симферополя на Южный берег Крыма надвигались немцы и гайдамаки. Пала Алушта. Отряд гайдамаков двинулся к Ялте. Сообщение об этом было получено в Совете рабочих и солдатских депутатов, когда Бориса в Совете не было. Целыми днями он занимался организацией дружины из бывших политкаторжан, лечившихся в Ялте. Обучение дружинников военному делу продвигалось туго. Получив сообщение об угрожающем положении на фронте, Жадановский через несколько часов во главе дружины выступил по направлению к Алуште. Уже в ближайших к Ялте селах — Ай-Василь и Деренкой — социалистическая дружина, как ее назвали в Ялте, подверглась обстрелу засевшими в горах белогвардейцами. Отбивая нападение контрреволюционных банд, дружинники пробивались к Алуште. И пробились, объединившись там с красногвардейцами города. Это была временная передышка.

Но отдыхали дружинники не долго. Из Алушты они выступили на север вдоль Симферопольского шоссе. Продвигались осторожно, выставив заставы на флангах и в авангарде. Ведь силы противника не были известны.

Борис был бесконечно утомлен. Он мало спал эти последние дни. Больной, он прошел добрую сотню верст. Лидия видела, что он едва держится на ногах. Но он и слышать не хотел об отдыхе.

И в разведку он тоже должен пойти сам, ведь его бойцы еще такие неопытные.

Утро было светлое-светлое. Борис несколько минут стоял, опираясь на плечо Лиды, затем крепко пожал ей руку и тихо, тихо сказал:

— Ну, Лидочка, смелей, не бойся! Я скоро!

И ушел.

Лида пошла следом за ним на таком расстоянии, чтобы не терять Бориса из виду. Вот он скрылся за поворотом, и в то же мгновение Лида услышала выстрел. Рванулась вперед и увидела гайдамака, тот удирал, бросив винтовку.

Где Борис?

Он лежал на обочине шоссе.

Голова его была разбита прикладом, и он не подавал признаков жизни. Лида бросилась за санитарной повозкой, которая находилась недалеко. Бориса уложили. Он, едва дыша, шевелил губами, что-то силясь сказать, но слов разобрать было невозможно.

Санитарная повозка направилась к алуштинской больнице. По дороге Борис скончался.

Немцы и гайдамаки заняли Алушту, затем Ялту.

Тело Бориса Жадановского осталось в алуштинской больнице. И только много лет спустя Лидия Иннокентьевна Трофимова узнала, что Борис похоронен на Алуштинском кладбище.

В кармане его тужурки была обнаружена записка севастопольского матроса:

«Дорогой друже, Боря! Я никогда тебя не забуду. Вы сделали меня другим человеком. Алим».

Да, многих он сделал «человеками». И «вечно хранимая» память об узнике «Косого капонира» — Борисе Петровиче Жадановском, еще многих сделает людьми.

Иллюстрации художника И. УШАКОВА

Оформление художника В. СМИРНИЦКОГО

Для старшего школьного возраста

Борис Львович Могилевский

Вадим Александрович Прокофьев

УЗНИК «КОСОГО КАПОНИРА»

Редактор К. Покровская
Художественный редактор Е. Ельская
Технический редактор И. Капитонова
Корректор Н. Бучарова

Сдано в набор 28/XII-73 г. Подп. к печ. 6/IX-74 г. Формат бум. 70X90¹/₁₆. Физ. печ. л. 14,0. Уч.-изд. л. 15,13. Усл. печ. л. 16,38. Изд. инд. ЛД-280. А05755. Тираж 100 000 экз. Цена 61 коп. в переплете. Бум. № 3.

Издательство «Советская Россия», Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25. Заказ 2168.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит отзывы об этой книге и пожелания присылать по адресу: Москва, проезд Сапунова, 13/15, издательство «Советская Россия»





Борис Могилевский
Вадим Прокофьев

Узник „Косого Капонира“